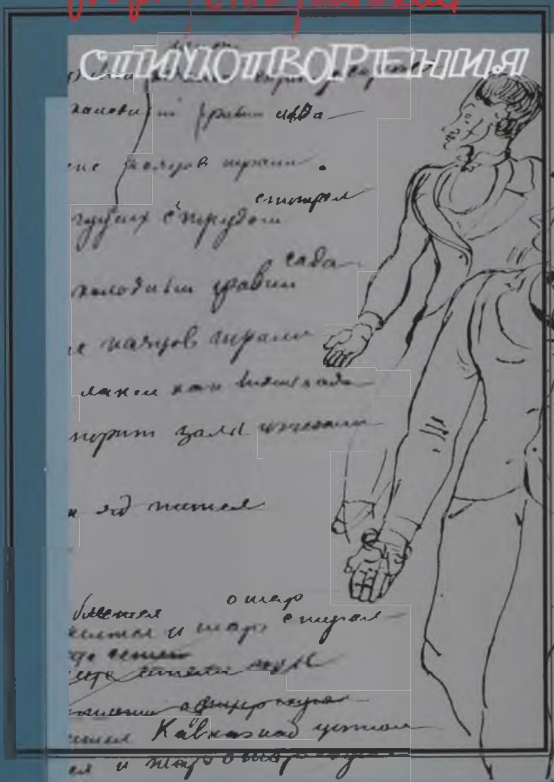
Борис Поплавский

Борис Поплавский

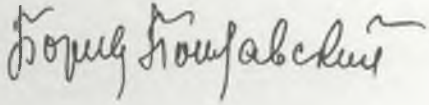
стихотворения



СТИХО-
ТВОРЕНИЯ

Борис Поплавский

1



Борис Поплавский

Собрание сочинений в трех томах

Борис Поплавский

Борис Поплавский

Том первый

СТИХОТВОРЕНИЯ

Книжница • Русский путь • Согласие
Москва • 2009

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
П57

СОСТАВЛЕНИЕ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, КОММЕНТАРИИ
Е.Менегальдо

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА
А.Н.Богословского, Е.Менегальдо

РЕДАКТОР
В.П.Кочетов

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
С.А.Стулова

В оформлении использованы рисунки и рукописи Б.Поплавского

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

ISBN 978-5-903081-07-3 (Т. 1)
ISBN 978-5-86884-055-5

© Русский путь, 2009
© Е.Менегальдо, составление, вступительная статья, комментарии, 2009

Завершая многолетний труд над литературным наследием Бориса Поплавского — о философском наследии речь еще впереди, — хотелось бы упомянуть всех тех, кто был причастен к этому делу и кого уже нет с нами: Дину и Николая Татищевых, сохранивших архив и спасших память Поплавского от забвения, Степана Татищева, Наталию Столярову, Софью Лаффит (Сталинскую). Хотелось бы также выразить глубокую благодарность Анне Татищевой, Екатерине Столяровой, Семену Карлинскому, Жан-Клоду Маркадэ, Режису Гейро, Луи Аллену, Альбине Леонтьевой, Клеопатре Агеевой.

Александр Богословский и Елена Менегальдо

За свою любовь к эмигрантской литературе, и к Поплавскому в частности, Александр Николаевич Богословский заплатил длительной болезнью и преждевременной смертью: три года лагерей строгого режима, которые он получил в середине 1980-х годов за изучение и сохранение архива Поплавского, не прошли бесследно, однако не сломили ни силы его духа, ни желания вернуться к любимому делу. Это издание, в которое он вложил столько сил и труда, посвящается его светлой памяти.

Елена Менегальдо

МОНПАРНАСА РУССКОГО ОРФЕЙ

И, на кладбищах двух погребен,
Ухожу я под землю и в небо.
И свершают две разные требы
Две богини, в кого я влюблен.

Борис Поплавский. «Двоецарствие»

Весь Поплавский в этом стихотворении 1924 года: разрыв между землей и небом, между обрядами православной и католической церкви, между разными идеалами женщины...

Поплавский рано испытал раздвоение личности под воздействием наркотиков. Позже, в моменты удачной медитации, он познал отделение от «астрального тела». Еще более радикальное раздвоение принесла сама жизнь: эмиграция раскалывает надвое и личное время, и пространство. *Там* — покинутая родина, потерянная юность; *здесь* — другая страна, другой язык, другая культура. В России генеалогия двойника включает «Мелкого беса», Хлестакова, пушкинских соблазнителей — во «Флагах» можно встретить их различные ипостаси. На Западе под влиянием Нерваля, Эдгара По, сюрреалистов тема двойника получает иную трактовку. Во втором сборнике своих стихотворений поэт постоянно беседует с самим собой, обращается к любимой женщине или взывает к Богу: «Снежный час» насквозь диалогичен. В прозе собеседник превращается в Аполлона Безобразова и живет самостоятельной жизнью, а лирическое «я» становится повествователем Васенькой. Оба романа образуют диптих — двойное зеркало, где до бесконечности раздваиваются и теряются в своих отражениях разные ипостаси авторского «я»: «Это мучительный, иногда прямо невыносимый, сжимающий сердце водоворот отражений, в котором, как перышко, вращается сознание» («По поводу... Джойса»).

Желанием преодолеть глубокие противоречия своей натуры, стремлением к единству, по сути, объясняются и жизнь, и творчество Бориса Поплавского, учившего, что бытие совершается сразу в двух параллельных планах, «но чаще всего мы совершенно глухи к явственному в небе пению звезд и довольствуемся лишь их анекдотически мигающей во мраке формой» (письмо к И.Зданевичу № 5)[1].

[1] *Поплавский Б.* Покушение с негодными средствами: Неизвестные стихотворения, письма к И.М.Зданевичу / Сост. и предисл. Р. Гейро. Москва: Гилея; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1997. С. 100.

* * *

Борис Поплавский родился 24 мая 1903 года в Москве в довольно зажиточной и культурной семье. Отец Бориса Юлиан Игнатьевич Поплавский происходил из польских крестьян. Мать Софья Валентиновна, урожденная Кохманская, принадлежала к прибалтийской стародворянской семье. Родители Поплавского познакомились в консерватории: мать играла на скрипке, а отец на фортепиано. Ю.И.Поплавский — чрезвычайно оригинальная и колоритная фигура для Москвы того времени, человек несколько эксцентричный — был одним из любимых учеников П.И.Чайковского. Но для того чтобы лучше обеспечить материальное благополучие семьи, он переменил карьеру дирижера на доходное место в Обществе заводчиков и фабрикантов Московского округа. Судя по портрету Ю.И.Поплавского, выведенному П.А.Бурышкиным в книге «Москва купеческая», Борис многое унаследовал от отца: «Говорить он мог на любые темы, и самый серьезный сюжет трактовал иногда в легком тоне. Его манера говорить, — а она соответствовала его манере одеваться, — очень раздражала многих, особенно людей старой складки... Когда нужно было набросать какой-нибудь письменный документ, проект обращения или резюме беседы, он был незаменим. Делал это с величайшей ловкостью и изяществом»[1].

Мать поэта Софья Валентиновна приходилась дальней родственницей Е.П.Блаватской и сама увлекалась антропософией, что оказало влияние на формирование личности Бориса и на его постоянный интерес к теософии и оккультизму. В семье, кроме Бориса, было еще трое детей: старшие Наталия и Всеволод и младшая Евгения. Воспитывали их иностранные гувернеры.

Евгения болела туберкулезом. Для ее лечения вся семья — за исключением отца — переехала в 1906 году в Европу и прожила три года в Швейцарии и Италии. Италия произвела сильнейшее впечатление на Бориса. Открытие античного мира отразилось позднее на его поэзии, в которой часто встречаются образы римских городов и итальянские пейзажи («Римское утро», «Стоицизм», «Древняя история полна...», «Орфей» и др.).

За границей Борис настолько забыл родной язык, что по возвращении в Москву ему пришлось поступить во фран-

[1] *Бурышкин П.А.* Москва купеческая. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. С. 255, 257.

цузский лицей Филиппа Неррийского, где он и учился до революции.

Он рано пристрастился к чтению и рисованию. Учился и музыке, впрочем не проявляя к ней особой склонности.

По воспоминаниям отца поэта, первое стихотворение Борис написал в возрасте двенадцати-тринадцати лет из чувства соперничества с сестрой Наталией, «лихорадочной меховой красавицей» — Марина Цветаева оставила такой ее портрет: «Вижу одну [поэтессу] высокую, лихорадочную, сплошь танцующую — туфелькой, пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках. Она была страшна и очаровательна тем десятого сорта очарованием, на которое нельзя не льститься, стыдно льститься, на которое бесстыдно, во всеуслышание — льщусь»[1].

До сих пор считалось, что Борис Поплавский критически относился к своим юношеским опытам и безжалостно их уничтожал, во всяком случае, не стремился печатать свои ранние стихи. Однако в архиве нашлись и те ученические тетради, в которых Борис записывал «свои стихосложения, сопровождавшиеся фантастическими рисунками»[2]: две толстые тетради 1917 года, «стихи» и «черновики», с «иллюстрациями художника Б.Веселова» (то есть самого же Бориса). Вторая тетрадь, где собраны шуточные стихи, «куплеты к ученическому вечеру» и стихи «на злобу дня» («Славный 1914 г.», «Азбука»), была частично разобрана Степаном Татищевым в ходе работы над задуманным им изданием литературного наследия Б.Поплавского. Первая представляет собой нечто вроде «Дневника в стихах», где совсем юный поэт (ему тогда было всего четырнадцать лет) записывает подряд свои мысли, переживания, первые поэтические опыты и прозаические фрагменты, подобные следующему: «А теперь, роясь в полупаноптикуме, полугардеробе моей фантазии, я нахожу иногда между трафаретным, запыленным бурой пылью самоубийцей и затканной голубой паутиной несовременности эротической идиллией странную искушенную жизнью женщину, ту самую, которую трафарет назвал когда-то голубой девочкой, неумело и неестественно напудренной полупрозрачной эмалью из блеклого лунного камня. Я останавливаюсь здесь, надеваю на тот же шаблонный скелет машинальнос-

[1] *Цветаева М.* Проза. Нью-Йорк, 1953. С. 239.

[2] *Поплавский Ю.* Борис Поплавский // Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. Санкт-Петербург: Logos; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993. С. 78.

ти эту полугрезу, полуамулет и заставляю двигаться приводные ремни памяти». В этой тетради, как видим, представлен своеобразный опыт «автоматического письма», уже тогда изобретенный московским учеником, что был «одержим стихами» и состояние это переживал мучительно:

А как надоело мне это писание!
А стихи уже прямое мучение!
А пишу, от стихов не могу я себя оторвать —
Каждый раз говорю: это последний,
Но на следующий день опять собираюсь писать...

Прямых упоминаний о детстве в прозе и стихах Поплавского чрезвычайно мало в отличие от писателей «старшего поколения» с их культом прошлого или даже от сверстников — вспомним хотя бы «Вечер у Клэр» Газданова или же «Другие берега» Набокова, — Борис стремился позабыть свои юные годы. «О, разорвите памяти билет...» — умоляет он в стихотворении «Допотопный литературный ад», где есть и такие строки:

О нет, не надо, закатись, умри,
Отравленная молодость, на даче!
Туши, приятель, елки, фонари,
Лови коньки, уничтожай задачи.

Но порой в запахе мандариновой кожуры или в случайно услышанном мотиве вдруг воскресает исчезнувшая Атлантида, вырывая у поэта крик души: «Как это было давно, и как мал и несчастен я тогда был, и как мал и несчастен опять человек, когда он любит!» («Аполлон Безобразов»).

О том, что детство Бориса было несчастным, кроме откровения из «Аполлона Безобразова» свидетельствуют и несколько строк из другого романа — «Домой с небес»: «Он — одиночка, вечно избиваемый полусумасшедшими родителями, узкоплечий гимназист, рано научившийся пудриться, красть деньги, нюхать кокаин, молиться, рано сразу ударившийся мордой об лед жизни...»

Эти литературные откровения подтверждаются и прямым признанием в письме Поплавского Юрию Иваску от 19 ноября 1930 года: «[Родители] жили богато, но детей притесняли и мучили, хотя ездили каждый год за границу и т.д. Дом был вроде тюрьмы, и эмиграция была для меня счастьем» (письмо Ю.П.Иваску от 19 ноября 1930 г.).

Дружба с отцом, вражда с матерью — женщиной властолюбивой и жесткой — вот биографические корни двойственности, столь характерной для личности и творчества поэта. Ю.И.Поплавский не понимал, быть может, своего сына полностью — по свидетельству Владимира Варшавского, он никогда не прочел ни одного из его стихотворений, — но с уважением относился к его художественному творчеству и доставлял ему возможность работать, обеспечивая относительную финансовую независимость: в течение всей жизни Бориса он ежедневно давал ему десять франков и всячески заботился о его благополучии. Борис, в свою очередь, обожал отца и, когда они стали жить раздельно, писал ему каждый день, — матери он за всю жизнь не послал ни одного письма.

Глубокий разлад с Софьей Валентиновной, начавшийся в ранние годы и продолжавшийся всю жизнь, ее постоянное недовольство сыном, вечные упреки были причиной многих тяжелых столкновений и сцен. Один такой случай, относящийся уже к парижскому периоду, запомнила художница Ида Карская: «Как-то я застала сцену, когда он катался по полу, сцепившись со своей матерью. И из-за чего — из-за какого-то колечка, может даже и медного, доставшегося от кого-то по наследству: мать хотела отдать его младшему сыну. Борис становился невменяем, когда сердился»[1].

Желанием утолить душевную муку и исцелить психическую травму объясняется и раннее пристрастие Бориса к наркотикам. В мир гашиша и кокаина, как и в мир поэзии, его ввела сестра Наталия, авангардная поэтесса, вращавшаяся в кругах литературной богемы. Сестре пятнадцатилетний Борис посвятил стихотворение «Караваны гашиша», вторая строфа которого уже предвещает атмосферу «Флагов»:

> За окном горевал непоседливый вечер,
> И на башне в лесах говорили часы,
> Приходили фантомы, улыбались предтечи
> Через дым на свету фонарей полосы.

«14-летним мальчиком, — пишет его отец, — Борис воспринял впечатления Февральской революции 1917 года»[2].

---

[1] *Карская И.* Из бесед с В.П.Чинаевым // Studies in modern Russian and Polish culture and bibliography / Essays in honor of Wojciech Zalewski, ed. by Lazar Fleishman. Stanford, 1999. С. 216.

[2] *Поплавский Ю.* Борис Поплавский. С. 78.

В сентябре того же года школьник посвящает любовные стихи М.И.Самарской, в стихах язвит над учителями и сочиняет шуточные куплеты для школьных вечеринок. Тогда же рождаются пародии на Игоря Северянина («Подражание Королевичу», «Стихотворения, смахивающие на поэмы») и на «декадентские стихи» — вероятнее всего, сестры Наталии, выпустившей накануне Октябрьской революции свой сборник «Стихи Зеленой Дамы».

Наряду с этими упражнениями и безделушками Борис пишет и стихи, полные гражданского пафоса (такие, как «Азбука»), выдержанные в стиле частушек:

Хамоправие в России
Утвердилось навсегда,
И спасет ее от смерти
Только власть Каледина.

Судя по «Гимну большевикам» (15 июля 1917 г.), юному поэту нельзя отказать ни в политической зрелости, ни в даре ясновидения:

Завтра мы войну закончим,
Мир устроим навсегда
И солдат пораспределим
Грабить церкви и дома.

И во всех дворцовых зданьях
Сделаем рабочий клуб,
А буржуям за дыханье
Таксу в час поставим рубль.

Летом 1918 года семья Поплавских временно разделилась. Софья Валентиновна со старшими детьми осталась в Москве (они жили в Кривоколенном переулке), а Борис вместе с отцом уехал на юг, навсегда покинув Москву.

В стихах Поплавского этого периода выражается тоска по оставленной столице, по ее осенним бульварам... и по докторам, торгующим кокаином. Многие стихи навеяны именно воспоминаниями о том волшебном мире привидений, который юный Борис познал в «дымных лавках гашиша», где «проходили привидений вереницы». Но наркотики обернулись к Борису и своим страшным ликом: удушьем, «исступлением небылицы», навязчивыми страхами, галлюцинациями:

Когда на фоне дребезжащей темноты
Зажгутся полисы бессмысленных видений,
Галлюцинации разинутые рты
Заулыбаются на каждом блике тени.

В константинопольском дневнике Поплавского можно прочесть следующее: «Я исповедовался священнику. Он отпустил мои грехи. Кок<аин> Я ему сказал об этом» (запись от 6 мая 1921 г.). В берлинском дневнике Поплавский описывает то состояние, до которого дошел «после четырех лет беспрерывной нервной судороги», когда «здоровый и нормальный сын человеческий был как веселым мертвецом»[1]. Он также называет причины воли к смерти, «Танатоса», в терминологии Фрейда — «активного нигилизма», отказа от пошлой, бесцельной жизни после «смерти Богов». Здесь, несомненно, сказывается влияние Ницше, автора «Заратустры», у которого Поплавский перенял также понятие «высшего человека». «Долгое время у меня хранилась фотография Поплавского, которую дал мне его отец для газеты. На обороте этой карточки, рукой самого Поплавского, было написано: "Если хочешь, я напал на след кокаина и т.д. (Далее два неразборчивых слова.) Героин 25 фр. грамм, кокаин 40 фр."»[2]. (Эта запись относится, вероятно, к тому периоду, когда у близкого друга Поплавского, поэта Бориса Заковича, умер отец, зубной врач, у которого имелось большое количество самых разных болеутоляющих средств.)

Итак, наркотики сыграли роковую роль в судьбе Бориса, однако можно ли говорить вслед за С.Карлинским[3], что «Флаги» написаны под влиянием наркотиков? Поэты и писатели, испытавшие на себе действие разных наркотических веществ, в один голос утверждают, что в таком состоянии не только творчество, но и любое движение становится пациенту не под силу (об этом см. «Искусственный рай» Ш.Бодлера и более близкое свидетельство другого крупного французского поэта и художника Анри Мишо — «Познание через спуск в пучины»). К тому же очнувшемуся, вернувшемуся «домой с небес» очень трудно воскресить в памяти видения, столь яркие еще совсем недавно, восстановить картины, столь живые и впечат-

[1] Так в тексте.

[2] *Седых А.* Далекие, близкие. М.: Московский рабочий, 1995. С. 263.

[3] *Karlinsky S.* In search of Boris Poplavsky: a collage // Triquaterly. № 27. Northwestern University, Chicago, 1973. P. 360.

ляющие, что, казалось, воспроизведи их на бумаге — и получится великолепное произведение. В то же время ежедневная жизнь становится невыносимой — растрачена вся жизненная энергия, ушедшая на создание эфемерных фантазий, и теперь ее не хватает на самое простое: встать, одеться, умыться — словом, снова начать жить. На это указывают многие высказывания Поплавского вроде следующего: «Как ужасно от снов пробуждаться, возвращаться на землю, переоценивать все побудничному».

И все же метод писания Поплавского, утверждает Н.Татищев, полностью несовместим с состоянием эйфории: «Секрет Поплавского в том, что отрыва от реальности у него не получилось: секрет работы над собой и внутренней боли»[1].

Литературный дебют Б.Поплавского состоялся в январе 1919-го в Ялте: он читает стихи в Чеховском литературном кружке. В марте того же года Борис с отцом уезжает в Константинополь, но летом, когда стратегическая обстановка меняется в пользу Добровольческой армии, Поплавские возвращаются в Россию. «И опять Б.П. пришлось в тягостных условиях гражданской войны пережить попятные этапы Новороссийск — Екатеринодар — Ростов-на-Дону», — пишет Ю.И.Поплавский[2].

Свидетельств о последнем периоде жизни Бориса на юге России осталось немного: известно, что в 1919 году он посещает литературный кружок «Никитинские субботники», основанный Е.Ф.Никитиной, женой министра Временного правительства, впоследствии расстрелянного большевиками. Там он знакомится с молодым поэтом Георгием Штормом, разделявшим интерес Поплавского к мистике и теософии. Шторм вспоминал, как они с Поплавским посещали библиотеку Мореходного училища, где Поплавский читал Герберта Уэллса.

Как установил в 1985 году исследователь русской поэзии XX столетия Л.Чертков, единственное стихотворение Б.Поплавского, опубликованное в России, увидело свет в Симферополе в 1920 году в альманахе «Радио», на обложке которого стоят четыре имени: Владимир Маяковский, Вадим Баян, Борис Поплавский, Мария Калмыкова. Всего в альманахе две-

[1] *Татищев Н.* Поэт в изгнании // Новый Журнал (Нью-Йорк). 1947. № 15. С. 199.

[2] *Поплавский Ю.* Борис Поплавский. С. 78.

надцать страниц текста и портрет Вадима Баяна, исполненный Маяковским. В.Баян и Б.Поплавский представлены поэтическими произведениями (В.Баян — «Вселенная на плахе», Б.Поплавский — «Герберту Уэллсу»), М.Калмыкова — статьей «Авангард мирового духа». В стихотворении Поплавского, справедливо отмечает Чертков, заметно влияние раннего Маяковского. «По сообщению того же Баяна, — пишет он, — прибыв в Ростов, Поплавский рекомендовался знакомым "одним из хулиганов, окружавших Маяковского". Напомним, что фантастика Уэллса пользовалась уважением у футуристов, и Хлебников только его и Маринетти — из иностранцев — включил в число т.н. "председателей земного шара"»[1].

Обыгрывая основные темы футуризма — космизм, мессионизм, машинизм — в первой части стихотворения, Б.Поплавский выступает от имени коллективного «Нового человека», «Мы». Вспомним, что свою поэму «Мы» Маяковский написал уже в 1913 году и что русские кубофутуристы утверждали, что стоят «на глыбе слова *мы*».

От Маяковского — и пафос разрушения, и громкие метафоры:

> А мы, на ступенях столетий столпившись,
> Рупором вставили трубы фабричные...

И в то же время вера в завоевание космоса, идущая от Циолковского, подсказывает юному поэту фантастические видения, близкие тем, которые художники-авангардисты вскоре попытаются воплотить в своих проектах летающих городов, летательных аппаратов, «проунов» и т.д.:

> По тучам проложим дороги понтонные
> И к Солнцу свезем на моторе людей!

В архиве сохранились еще две «поэмы»-упражнения в духе футуризма. Первая — «Воспоминание о сердце» — «имажионистическая (так в тексте! — *Е.М.*) трагедия. Ростов, 1919 г. Начало августа» со следующей концовкой вполне в стиле Маяковского:

---

[1] *Чертков Л.* Дебют Бориса Поплавского // Континент. 1986. № 47. С. 377.

И пепел осенний томительно печальных
Разбитых фонарей развеяло пучком,
И даже из кухни улыбок с сачком
Скачком
Бросилось клики крошить причальные.

Всё
Чтоб услышать
Краткое
«Поэт, раздень свой лик».
Поцеловав последний блик
Сердце
раздавил пяткою...

Вторая — «Поэма о революции — Кубосимволистический солнцдень (так в тексте. — *Е.М.*). Константинополь, апрель 1919 г. — Новороссийск, январь 1920 г.».

В этом довольно длинном произведении есть, например, такие строки:

Пятой шлифованной из облаков
Шагнет из вечности революционный год.
Смотри: у космоса икота
От прущих плеч и кулаков.

Но «добросовестное усвоение канонов футуристического письма (от образов до интонации), переходящее порою в откровенное подражание Маяковскому, не помешало Поплавскому уже в самом начале пути обозначить самостоятельность своей поэтической позиции»[1].

* * *

В декабре 1920 года «ростовское сидение» кончилось, и Б.Поплавский с отцом проделал «вторую эвакуацию». Прибыв в Турцию, Поплавские поселяются на острове Принкипо в доме армянского патриарха. Принкипо — «раскаленный рыже-красный островок среди июльского моря, похожего на разогретую патоку» — на всю жизнь останется связан у Поплавского с чувством ужаса, испытанным им в «эти минуты величайшего кризиса», когда он почувствовал: «не все во мне

[1] *Чагин А.И.* Орфей русского Монпарнаса: (О поэзии Бориса Поплавского) // Российское литературоведение. 1996. № 8. С. 171.

хочет умереть». Здесь из «безумной черной напряженности сверкнула молния Евангелия — я должен еще жить!». Борис перестает употреблять наркотики. «Мой возврат в Константинополь был возврат к жизни воскресшего», — записывает он в берлинском дневнике.

Константинопольский период нам хорошо известен благодаря дневнику самого Поплавского. С Принкипо Борис с отцом переезжает в турецкий квартал Бешик-Таш, рядом с живописным летним дворцом Фламур. В это время в Константинополе насчитывалось около 150 тысяч русских — и легко было вообразить, что это какое-нибудь предместье Одессы. Как свидетельствует дневник Поплавского, русская колония тотчас же обзавелась тем, что необходимо для материальной и духовной жизни общества: школами, библиотеками, ресторанами, различными ассоциациями, церквами, — и жила автономной жизнью.

По сравнению с тяжкой долей других эмигрантов жизнь для Бориса и его отца все же оставалась сносной. По свидетельству Ю.И.Поплавского, «все деньги, которые давал ему отец, вещи, а часто и свой обед, Б.П. раздавал бедноте, и в его комнате не раз ночевали на полу вповалку 3–5 бездомных: студентов, офицеров, монахов, моряков и иных в буквальном смысле слова беженцев»[1].

В Константинополе Поплавский посещает подготовительные курсы на аттестат зрелости, часами бродит по живописным улочкам, рисует с натуры, пишет стихи: он увлекается сочинением сонетов, о чем есть намек в его стихотворении 1925 года «Покушение с негодными средствами», адресованное Илье Зданевичу: «Венок сонетов мне поможет жить. / Тотчас пишу, но не верна подмога...» Помимо цикла сонетов «Константинополь», включающего тринадцать стихотворений, от этого периода сохранилась подборка стихов, озаглавленная «Пропажа».

В «Маяке», русском культурном центре, организованном Союзом христианской молодежи, Борис знакомится с Владимиром Дукельским (будущим американским композитором Верноном Дюком). Об этой встрече Дукельский рассказал впоследствии в поэме «Памяти Поплавского»[2]: «Я знал его в Константинополе, / На Бруссе, в «Русском Маяке» <...> / Что нас связало? Не Европа ли? / О нет, мы вскоре разошлись.

---

[1] *Поплавский Ю.* Борис Поплавский. С. 79.

[2] Впервые опубликована: Перекрестки (Филадельфия). 1979. № 3.

/ Но в золотом Константинополе / Мы в дружбе вечной поклялись».

Уже тогда Борис пленяет собеседника своими «сладкострунными» стихами, из которых «сочился странный яд». Юные любители поэзии создают свой «Цех поэтов», провозгласивший: «К черту кривлянье и хулиганскую истерику. Простота! Будем просты (в своей сложности), как царьградские фрески. Долой школу (акмеистов, имажинистов и проч.), ибо революция утвердила личность!»[1]

Тогда же подружился Поплавский и с Лазарем Воловиком, будущим участником парижской группы «Через».

Кроме литературных занятий, Борис берется за изучение творений отцов Церкви и пытается вернуться к православию. Он посещает церковные службы, становится вегетарианцем. «Еще мальчиком в Константинополе, — пишет Н.Татищев, — в 1920–1921 годах, вероятно, почти бессознательно, набрел он на тяжкий путь молитвы. Почти все записи в дневнике заканчиваются так: "Молился... молился неудачно... опять плохо" и т.д.»[2]. Тогда же Борис увлекся теософией и скаутизмом, он «водится с волчатами» все в том же «Маяке», где знакомится с теософом и оккультистом Петром Демьяновичем Успенским, учеником Г.И.Гурджиева. В «Маяке» Успенский читает доклады, где пытается «соединить всеобщие идеи психологии и философии с идеями эзотеризма». Вскоре вокруг него собирается группа прилежных слушателей, примерно человек тридцать молодых людей. В ту пору Поплавский вступает в теософскую организацию «Звезда на Востоке». Этот мистический орден был создан Анни Безант — сподвижницей Р.Штейнера и Е.Блаватской — для Кришнамурти, которого теософы считали новоявленным Христом. По приезде в Париж Поплавский встретился с «Новым Мессией»: об этой встрече, сыгравшей решающую роль в его духовной жизни[3], он в восторженных словах рассказал в своем дневнике. Юный поэт вступает в Теософское общество (впоследствии он от него отдалился, хотя многочисленные записи свидетельствуют о том,

---

[1] Цит. по: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). Т. 2, ч. II. М., 1997. С. 40.

[2] *Татищев Н.* О Поплавском // Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 93.

[3] В дневнике 1922 г. Поплавский называет знакомство с теософическим учением «вторым большим кризисом жизни в Константинополе», поясняя, что это учение «есть раньше всего упорное воспитание интеллекта и чувства через сосредоточенное мышление и молитву».

что Поплавский продолжал интересоваться проблематикой «Тайной доктрины» — той мистической литературой, через которую до нас дошли различные религиозные учения, отвергнутые христианством). «Аполлон Безобразов», между прочим, дает довольно полное представление о прочитанном Поплавским в этой области: в романе упоминаются и гностик Маркион, и философ, астролог и поэт Барбезан, живший в Месопотамии и выступавший в своих трудах против маркионизма, и знаменитый оккультист Рамон Люль, и многие другие. В романе «Домой с небес» также упоминаются имена Рамона Люля, Мартинеца де Паскали, «всех этих ослепительных девственников неподкупности», которыми зачитывался Поплавский.

В мае 1921 года отец и сын Поплавские уезжают в Париж (Ю.И.Поплавский вызван на съезд представителей русской промышленности и торговли в Париже), где поселяются в бедной гостинице на улице Жакоб. Борис посещает Художественную академию «Гранд Шомьер» на Монпарнасе, сближается с группой молодых художников. Среди них — Сергей Карский, Лазарь Воловик, Исаак Добринский. Уже в июне Борис знаком с Александром Гингером, Марком Таловым, Яковом Цвибаком (Андреем Седых), Давидом Фиксманом (Довидом Кнутом), Валентином Парнахом и Виктором Бартом. Вскоре завязывается дружба юного поэта с Константином Терешковичем. Б.Поплавский рисует с натуры, но также пробует свои силы в модном тогда кубизме и пишет супрематические картины. По вечерам вся компания собирается в кабачке «Хамелеон», где, как вспоминает Андрей Седых, «за пиво брали всего несколько су и где можно было петь, танцевать, устраивать литературные вечера и чувствовать себя как дома»[1]. Здесь вскоре возник кружок «Гатарапак», явившийся, по словам Довида Кнута, «первым коллективным начинанием русской творческой молодежи в Париже»[2].

22 июля 1921 года Поплавский записывает в дневнике: «Гатарапак. Я читал доклад... Потом были прения. Футуристические танцы. Шел обратно с Карским. Говорили о Терешковиче. О его магнетизме». «Осенью 1921 года, — пишет Довид Кнут, — в "Хамелеоне" появился поэт-кавказец Евангулов. С присущей его землякам энергией он сплотил вокруг себя "праздно-

[1] *Седых А.* Далекие, близкие. С. 268.

[2] *Кнут Д.* Собр. соч. Иерусалим, 1997. Т. 1. С. 263.

шатающихся" поэтов, приобрел поддержку у известных критиков и художников и дал новой группе имя[1] "Палата поэтов"»[2].

В газетах стали появляться одобрительные отзывы, стены «Хамелеона» тотчас же заполнили портреты участников группы, выполненные самим Судейкиным, а потолок расцвечивала всеми цветами радуги модернистская эротика Гудиашвили (который вскоре вернулся в Россию), и «"Палата поэтов" гостеприимно распахнула двери перед широкой публикой»[3], но не перед Поплавским, который тщетно пытался в нее вступить, о чем свидетельствует дневниковая запись от 28 сентября 1921 г.: «Обедал, пошел к Барту, говорил о "Гатарапаке" и что я хочу попасть в "Палату поэтов" (в которую так и не попал)», — текст в скобках приписан Поплавским в 1935 году. Однако в «Палате» Борис читает свои «адские» стихи — «Морского змея» и «Трагедию луны».

Приехав из Константинополя в Париж в ноябре 1921 года с целью пропагандировать русскую авангардистскую поэзию, Илья Зданевич, живший в то время у своего друга художника Михаила Ларионова, уже в начале декабря выступает в кружке в качестве оппонента (вместе с В.Бартом, М.Ларионовым и С.Ромовым) по поводу доклада К.Терешковича «Позор русского искусства (Русские в Осеннем салоне)». Зданевич вскоре возобновляет свой «Университет 41°» — объединение футуристов, созданное им еще в Тифлисе.

Судя по дневнику Поплавского, именно на Монпарнасе он познакомился и со Зданевичем, чья незаурядная личность сразу привлекает его, и с Ларионовым, который сочувственно отнесся к опытам начинающего художника. Эта дружба с годами не ослабевала: в архиве Поплавского сохранился рисунок Ларионова с дарственной надписью на французском языке («Моему дорогому другу Поплавскому»). К тому же Н.И.Столярова рассказывала А.Н.Богословскому, что они с Поплавским ходили в гости к Михаилу Ларионову и Наталье Гончаровой в Фавьере, местечке на юге Франции (т.е. в 1932 и 1934 гг.). И наконец, известно, что Ларионов оказал изрядную финансовую помощь для посмертного издания стихотворного сборника Поплавского «Снежный час» (1936).

---

[1] На самом деле «Палата поэтов» возникла в августе. «Первый вечер русской поэзии» с участием Георгия Евангулова состоялся 7 августа 1921 г.

[2] *Кнут Д.* Собр. соч. Т. 1. С. 263.

[3] Там же.

Среди начинаний «Палаты поэтов» можно назвать «Вечер Сергея Шаршуна», известный под названием «Дада Лир Кан», состоявшийся 21 декабря 1921 года. На нем выступали французские поэты-дадаисты (впоследствии принявшие название «сюрреалистов»), среди которых Луи Арагон, Андре Бретон, Филипп Супо и американский дадаист Ман Рэ; знаменитая пианистка Жермен Тайфер, жена художника Леопольда Сюрважа, исполняла «музыку-дада», Сергей Шаршун читал доклад о дадаизме, Валентин Парнах представлял «графические танцы». И это еще неполная программа вечера. Впрочем, судя по записи Поплавского, дело не обошлось без скандала: «французские дадаисты ругали публику».

Последний — семнадцатый — вечер «Палаты...» предложил публике «Новогоднюю трепанацию акробата» по случаю выхода в свет книги В.Парнаха «Карабкается акробат» (с портретом автора работы П.Пикассо и «фаллическими» поэмами).

Несмотря на эту кипучую деятельность, на новые знакомства и впечатления, Поплавский сильно страдает от одиночества: отец его подолгу отсутствует, писем из дома — из Москвы — нет, иногда ему не хватает денег даже на кашу в русской столовой.

Постоянное состояние крайней бедности удручает Бориса. Он носит старое длинное пальто отца с белым воротником, из-за которого многие сторонятся его, принимая за гомосексуалиста. Он влюблен, едет в Академию, надеясь на встречу с любимой девушкой, а «из ботинка высовывался палец», и ему «было стыдно». Случались, однако, и минуты веселья: 17 января 1922 года он записывает: «Пошли в кафе, играли в снежки на rue de Rennes, потом у Maine строили бюст Карла Маркса из снега...» И вдруг ловишь себя на мысли, что Поплавскому в это время всего восемнадцать лет, а Терешковичу, который два года скитался по голодной, охваченной Гражданской войной родине, — двадцать.

Все первые месяцы своей парижской жизни Поплавский неразлучен с Терешковичем. Они вместе ездят в пригород Парижа рисовать, проводят вместе неделю в нормандской деревне, где состязаются в беге и занимаются живописью, питаясь одними яблоками. В деревенской тишине Борис часами молится, порой доводя себя до головокружения. Именно в это время он отмечает в дневнике: «Н.К.[1] и Терешкович — главные люди месяца. Т. прочел мне свой дневник, где пишет, что я бездарный

[1] «Н.К.» — не Кришнамурти, как говорил мне Николай Татищев, а, судя по дневнику, девушка — очередное увлечение юного поэта.

художник — было больно — через несколько дней я победил его примером моей поэзии». Строгое суждение, по-видимому, не обескураживает Поплавского: он по-прежнему рисует карандашом портреты друзей (Парнаха, Евангулова, Ларионова), пишет портрет Блока «гуашью под Врубеля», упражняется в орнаментальном кубизме («Наклеенные бумажки») и в супрематизме (композиции «Сферы и ангелы», «Летящий ангел весь в желтом»), что свидетельствует о том, что юный поэт хорошо осведомлен о разных течениях в авангардном искусстве[1].

К тому времени Сергей Ромов, окрыленный успехом выставки, организованной им в кафе «Парнас» в июне 1921 года, помышляет о создании «своего» журнала — художественно-литературной хроники «Удар». Финансовые средства для его издания должны были приносить благотворительные балы. Особый успех имел костюмированный бал в конце июня 1922 года в декорациях С.Судейкина и М.Кислинга в зале Бюлье; известную афишу создал Андре Лот. Цель журнала С.Ромов видел в объединении русских и французских представителей авангардного искусства, стремящихся к обновлению языка и изобразительных средств.

В первом номере (вышел в феврале 1922 г.) С.Ромов утверждал, что футуризм и дадаизм заставили «произвести ту переоценку ценностей, без которой все новые эстетические теории превратились бы в схоластику и мертвую букву»[2]. В этом же номере К.Терешкович публикует текст доклада, прочитанного им в «Гатарапаке» 4 декабря 1921 года, «Позор русского искусства (Русские в Осеннем салоне)», в котором обвиняет «мирискусственников» в повторяемости, а всю группу русских художников обзывает «Миром искусственности». Став заведующим литературной частью «Удара», Терешкович, хотя они с Поплавским друзья, юного «футуриста» в сотрудники, однако, не приглашает, на что последний крайне обижается[3].

«Ударники» занимают просоветские позиции — они, в частности, желают сблизиться с московскими группами «Маковец» и «Леф» — и крайне снисходительно относятся к «беженскому Парижу» с его «белоэмигрантами». Зато они при-

[1] Из дневника явствует, что Поплавский участвует как художник в выставках, организованных «Гатарапаком» в «Хамелеоне» в ноябре-декабре 1921 г.

[2] Цит. по: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). Т. 2, ч. III. М., 1998. С. 74.

[3] См. запись в дневнике от 26 января 1922 г. (т. 3 наст. изд.).

ветствуют первую выставку русского искусства, которая открывается в Берлине в ноябре 1922 года — Поплавский отзывается на нее своей первой рецензией («О русской выставке в Берлине»), которую пишет в надежде на публикацию в «Ударной хронике».

К тому времени матери Поплавского и его старшему брату Всеволоду удалось вырваться из советской России и приехать в Париж. Младшая сестра Бориса Женя уже умерла от туберкулеза, а другая сестра, Наталия, жила в Шанхае, где оказалась в бедственном положении и попала в тюрьму[1]. Видно, родителям Бориса не удалось помочь дочери: «лихорадочная меховая красавица» вскоре скончалась от крупозного воспаления легких, осложненного злоупотреблением опиумом. Впоследствии Борис будет обвинять мать в том, «что она своей властностью добилась ухода из дома дочери, и в ее наркомании»[2].

В Париже брат Всеволод, бывший офицер-летчик, будет работать шофером такси[3]. Отец, работавший в начале в Бюро защиты прав русских граждан за границей, станет давать уроки музыки в Русском музыкальном обществе и работать тапером в одном из захудалых парижских кинотеатров[4]. Матери же Бориса, как многим русским женщинам, придется взяться за иглу, стать портнихой. Ида Карская вспоминает: «Когда в Париж приехала моя сестра (Дина Шрайбман. — *Е.М.*), мы покупали такие шубки (на толкучке, старые, изъеденные молью. — *Е.М.*) для матери Поплавского — она их с нашей помощью чинила, и так мы зарабатывали себе на жизнь»[5].

* * *

Известно, что в Берлин Борис Поплавский отправляется вместе с Константином Терешковичем, которого все еще счи-

---

[1] См. запись Поплавского в дневнике 1922 года: «Наташа сидит в тюрьме за кражу, ибо теперь полковник ее муж, и они дошли до соседских [нрзб.]». В Китае русским беженцам жилось особенно тяжело из-за невозможности найти работу.

[2] Ответы Н.И.Столяровой на вопросы, заданные А.Н.Богословским // Поплавский Б. Неизданное: Дневники. Статьи. Стихи. Письма. М.: Христианское изд-во, 1996. С. 73.

[3] О нем см. там же и в дневниках Б.Поплавского, особенно запись от 10 декабря 1932 г.

[4] См.: Ответы Н.И.Столяровой на вопросы, заданные А.Н.Богословским.

[5] *Карская И.* Из бесед с В.П.Чинаевым. С. 216.

тает своим учителем. Эта поездка дает ему возможность хоть немного отдохнуть от гнетущей семейной атмосферы.

В начале двадцатых годов Берлин был «третьей русской столицей». «Весь мир тогда глядел на Берлин»[1], — писал в своих воспоминаниях И.Эренбург. Пользуясь послевоенной инфляцией и относительной дешевизной, в побежденную Германию хлынули русские беженцы: в одном только Берлине их проживало 70 тысяч. «На каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов — с балалайками, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневных газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств; выпускали Фонвизина и Пильняка, поваренные книги, труды отцов церкви, технические справочники, мемуары, пасквили»[2]. Марк Шагал утверждал, что за всю свою жизнь он нигде не видел столько конструктивистов и столько замечательных раввинов, как в Берлине в 1922 году. Блестящая культурная жизнь, возможность общаться как с немецкими дадаистами и экспрессионистами, так и с русскими авангардистами привлекает сюда и художников, ранее обосновавшихся в Париже, например С.Шаршуна и А.Архипенко. С введением в советской России нэпа многие представители советской интеллигенции получают разрешение на выезд за границу, и таким образом в Берлине возобновляются контакты между «двумя берегами» русской культуры: в большом берлинском кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе происходят заседания «Дома искусств», созданного по образцу петроградского. Здесь с чтением своих произведений выступают Андрей Белый, А.Ремизов, И.Эренбург, В.Шкловский и многие другие.

Борис Поплавский становится завсегдатаем «Дома искусств». Здесь он встречается с Маяковским[3] (в берлинском дневнике сохранился портрет автора «Облака в штанах», исполненный карандашом) и с Андреем Белым, чье творчество

---

[1] *Эренбург И.* Люди, годы, жизнь. М.: Советский писатель, 1990. Т. 1. С. 388.

[2] Там же. С. 389.

[3] 24 ноября 1922 г. на Монпарнасе в ресторане «Ля Патт д'Уа» («Гусиная Лапка») И.Зданевичем и С.Ромовым был организован банкет в честь приехавшего в Париж В.Маяковского, который на следующий же день отбыл в Берлин. И.Зданевич вскоре последовал за ним. Все «ударники», по всей видимости, общались с Маяковским в Берлине. (Приносим благодарность Режису Гейро за предоставленную информацию.)

высоко ценил. (Кстати, не является ли Аполлон Безобразов незаконным сыном Аполлона Аполлоновича Аблеухова?[1]) В связи с открытием в Берлине первой Русской художественной выставки 3 ноября здесь выступает перед представительной аудиторией Иван Пуни с докладом «Современное русское искусство и выставка в Берлине». Во время чтения доклада и после него разгорелись ожесточенные споры между Маяковским и Андреем Белым (что позднее было отражено в докладе Маяковского «Что делает Берлин?») и другими участниками вечера (Н.Альтман, Д.Штеренберг, Эль Лисицкий, М.Осоргин, П.Муратов, В.Лурье, А.Бахрах).

Первую свою статью Поплавский написал именно по поводу этой выставки, где Европа смогла познакомиться с работами русского авангарда. Хотя к «левацкому» искусству Поплавский относится отрицательно, поражает его глубокое знание всех царивших тогда в изобразительном искусстве течений.

В Берлине художники — русские и немцы — встречаются в мастерской Ивана Пуни и его жены Ксении Богуславской, расположенной недалеко от Ноллендорфплац. Другим очагом русской культуры служит мастерская Николая Зарецкого, где, по словам Вадима Андреева, «изредка устраивались литературные вечера. Здесь бывали Архипенко, Ларионов, Богуславская, Пуни, Минчин, Терешкович, Шаршун, который писал не только дадаистические рассказы, но и картины»[2]. Наверное, здесь произошло знакомство Поплавского с Абрамом Минчиным, который тогда увлекался кубизмом и работал сценографом Еврейского театра.

Берлинский период знаменует собой новый этап в жизни будущего автора «Флагов»: именно здесь он ставит крест на своей художнической карьере и окончательно выбирает стихотворное ремесло: «Пастернак и Шкловский меня обнадежили», — напишет он позднее, 19 ноября 1930 года, в письме к Юрию Иваску. Однако, даже разочаровавшись в своем таланте художника, Поплавский продолжал рисовать. В 1923 году он

---

[1] Поплавского неоднократно сравнивали с Андреем Белым — Мережковский, Адамович, Бердяев. Так, Бердяев писал в своей статье «По поводу "Дневников" Поплавского»: «У Б.Поплавского есть некоторое сходство с Андреем Белым, от которого всегда можно было ожидать измен, у которого была яркая индивидуальность с проблесками гениальности, но не было личности» (Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 154–155).

[2] *Андреев В.* История одного путешествия. М.: Советский писатель, 1974. С. 300.

выставляется в галерее «Ликорн», где одновременно выступает и как поэт на вечере, организованном группой «Через» в честь Бориса Божнева. В 1928 году выставляется вместе с А.Араповым, М.Блюмом и А.Минчиным (предисловие к каталогу написал С.Ромов), а незадолго до смерти, 28 мая 1935 года, устраивает выставку своих акварелей в галерее «Солей». Поплавский продолжает вращаться в среде авангардных художников и скульпторов, как художник отвечает на анкету журнала «Числа», посещает выставки своих друзей и пишет о них рецензии. По этому поводу друг Поплавского Бронислав Сосинский замечает в своих воспоминаниях: «[Поплавский был] и талантливым искусствоведом: его статьи в альманахе "Числа" о Марке Шагале, Сутине, Терешковиче, Минчине, Фужита, Юрии Анненкове, Ларионове, Гончаровой навсегда остались в истории мирового искусствоведения»[1].

Эти статьи в самом деле поражают проявлением безошибочного чутья и меткостью суждений, отличаются тонкостью восприятия, как бы вживания их автора в разбираемые полотна. Слова Поплавского о Сутине до сих пор вызывают удивление своей глубиной:

«Любовь к чудовищному, к беспрерывному надрыву и ужасам кажется нам, как это ни странно, чем-то уже не столь существенным в Сутине.

У него есть какие-то любимые, бесконечно для него важные взаимоотношения между красным и зеленым цветами, например, над которыми он методически трудится всю жизнь, и общеизвестный в художественном мире анекдот о том, что Сутин плачет над своими холстами, относится скорее к чисто формальным трудностям необыкновенно ядовитых его цветочных сочетаний».

* * *

Где-то в начале 1923 года Поплавский оставляет Берлин и возвращается в Париж, в котором будет жить, не покидая его (за исключением двух летних поездок в Фавьер), вплоть до самой смерти. Отныне Париж становится его второй родиной. «Готические соборы оказались ему ближе, чем наши пузатые храмы», — писал Н.Д.Татищев, напоминая, что именно в Париже Поплавский созрел и сформировался[2]. Позже, размышляя о значении «Чисел» для младшего поколения, сам По-

[1] *Сосинский Б.* Конура // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 189.

[2] *Татищев Н.* О Поплавском. С. 95.

плавский признается: «Не Россия и не Франция, а Париж [наша] родина, с какой-то только отдаленной проекцией на русскую бесконечность...» («Вокруг “Чисел”»).

Девять последних лет своей жизни Поплавский живет с семьей — сначала на правом берегу Сены[1], а затем на улице Барро около площади Италии — в маленьком павильоне под номером 76-бис, примостившемся на крыше огромного гаража фирмы «Ситроен». На верхнем этаже здесь же проживает Дина Шрайбман, которая в 1928 или 1929 году станет подругой Бориса.

После Берлина Борис, по воспоминаниям отца, «методически учился, занимался спортом и писал. Как и прежде... увлекался поэзией, литературой, экономикой, философией, социологией, историей, политикой и авиацией, музыкой и всем, всем, торопясь жить и работать, и мечтал иногда стать профессором философии в России... когда там не только колхозники “будут носить цилиндры и ездить на ‘Фордах’, — говорил он, — но и кончатся гонения на веру, и начнется свободная духовная жизнь”»[2]. А пока — «полуголодное существование... на мизерное шомажное пособие от Синдиката французских художников, членом которого он состоял»[3], так как Поплавский отказывается от «черной» работы: «Не могу смириться на скучную и бессодержательную работу, а только на “интересную”» — в этой дневниковой записи от 1 августа 1932 года выражена жизненная позиция, от которой Поплавский никогда не отрекался. Даже делая предложение Наталии Столяровой, он предупредил ее: «Денег у меня не будет никогда, я обречен на нищету, но свободой не поступлюсь»[4]. Отсюда его «неизменная манера носить костюм, представляющий собой смесь матросского и дорожного»[5] и вызывающая манера как бы щеголять своей бедностью: «В совершенном покое, до отказа “выкатив” коричневую грудь, прохожу я одною ногою по воде (левая подошва пьет воду), другою ногою в огне (правый резиновый башмак греет), нарочно усиливая, сгущая нищету своего лица (не бреюсь) и своего платья (люблю рванье)...» (запись

[1] С 1923 по 1929 г. Поплавские живут в доме № 72 на Ке-дез-Орфевр в первом округе Парижа.

[2] *Поплавский Ю.* Борис Поплавский. С. 80.

[3] Там же.

[4] Ответы Н.И.Столяровой на вопросы, заданные А.Н.Богословским. С. 75–76.

[5] *Варшавский В.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 206.

в дневнике от 10 октября 1932 г.). «Нищета постепенно возводилась им в некую степень совершенства и добродетели, в ней видел он очищение от греховности», — вспоминал Андрей Седых[1].

Ценой тяжких лишений Поплавский сумел остаться «свободным для работы в библиотеках, для писания»[2], и теперь, когда обнаружилась совершенно неизвестная часть его архива, приходится признать: за свою короткую жизнь Поплавский сумел сделать столько, что для полного исследования его наследия потребуется еще много лет кропотливой работы: до сих пор остаются неразобранными более двадцати тетрадей, включающих дневниковые записи и философские трактаты.

Не будучи связан утомительной службой, Поплавский мог позволить себе проводить время самым фантастическим образом. Как правило, часть дня он спал, в остальное время работал, вечерами посещал монпарнасские кафе. Этот разрыв с «нормальной» жизнью не только оправдывал неумение Поплавского «работать», но и позволял ему избежать столкновений с членами своей семьи. Однако отчуждение и непонимание оставались: «Все считают, что я сплю, on croit que je dors[3], так иногда целый день подряд, в то время как родные с осуждением проходят мимо моего дивана» (запись в дневнике от 10 июля 1935 г.). Рассказывают, что, когда Борису случалось задремать ночью, мать даже приходила будить его, чтобы он по крайней мере не спал, раз не работает.

Понятно, что Поплавский не любил оставаться дома. Долгие часы проводил он в библиотеке Сент-Женевьев — по многочисленным свидетельствам, Поплавский был одним из самых образованных писателей своего поколения, прочитал ошеломляющее количество книг, умел с блеском вести беседу (Мережковский, например, очень любил вступать с ним в спор на философские темы). Если библиотека была закрыта, Поплавский шел в кафе, в частности в кафе «Ла Болле» около площади Сен-Мишель. Это было старое кафе, которое некогда, по преданию, посещал Франсуа Вийон. По субботам здесь собирались представители различных направлений русской поэзии, объединившиеся в «Цех поэтов». Об атмосфере этих собраний довольно подробно рассказал Ю.Терапиано: «В этом

[1] *Седых А.* Далекие, близкие. С. 261.

[2] Ответы Н.И.Столяровой на вопросы, заданные А.Н.Богословским. С. 75.

[3] Думают, что я сплю, а я молюсь *(фр.)*.

бурном, прихотливом, страстном и не всегда объективном потоке речей, среди общего спора и шума, читавшие, особенно новички, чувствовали себя "как на страшном суде" и очень переживали успех или неуспех своих выступлений.

Старые, опытные участники собраний в "Ла Болле" давно привыкли не считаться ни с кем, ничем не огорчаться и мужественно отстаивать свои стихи и свое мнение наперекор всем, порой — даже наперекор очевидности.

Враждующие поэтические направления имели своих "ведет" и яростно защищали их от всяких нападок.

Борис Поплавский, В.Мамченко и некоторые другие поэты, умевшие хорошо и талантливо говорить на любую литературную тему, чувствовали себя во время этих собраний "как рыба в воде"...»[1].

Это кафе было вотчиной литературной молодежи, стремившейся к полной свободе выражения. Однако в собраниях, регулярно проводившихся здесь в 1920–1925 годах, случалось, принимали участие и представители «старшего поколения» — Г.Адамович, Г.Иванов, И.Одоевцева, Н.Оцуп.

Вскоре, с образованием Союза молодых поэтов и писателей, значение кафе «Ла Болле» стало уменьшаться. Чуть позже о себе заявили и другие объединения, и прежде всего «Кочевье» и «Перекресток». А с появлением журнала «Числа» молодое поколение, получившее наконец право на гражданство в литературной жизни, полностью покинуло «Ла Болле».

И все же только в монпарнасских кафе («Селект» и «Наполи», только что отстроенная «Ротонда»), Поплавский чувствует себя по-настоящему дома:

Я не участвую, не существую в мире,
Живу в кафе, как пьяницы живут.

Разочаровавшись в своем призвании художника и в дружбе с Терешковичем, Поплавский по возвращении в Париж попадает под влияние нового учителя — Ильи Зданевича: «Моя душа искала чьего-то присутствия, которое окончательно освободит меня от стыда, от надежды и от страха, и душа нашла его», — признается Вася, двойник Поплавского, на страницах «Аполлона Безобразова».

Следует заметить, что при первом знакомстве юный футурист не был покорен тифлисским заумником: «Ларионов хва-

[1] *Терапиано Ю.* Встречи. 1926–1971. М.: Intrada, 2002. С. 84–85.

лил за фразу: "Зданевич за чертой оседлости довоенного футуризма"», — записывает тогда Поплавский в дневнике. И далее: «...поехал слушать Зданевича. Путнак Фалус, бя, боливар, бульвар, от декабристованус... храм Тютчева, клозет, уход из жизни...» (дневник 1922 года). Однако с 1923 года Поплавский вместе с Шаршуном и Зданевичем оказывается в рядах «русского дадаизма». Влияние Зданевича сказывается в некоторых стихах Поплавского. Но параллельно этим по сути подражательным стихам Поплавский развивает и чисто свою тему: это «адские» стихи вроде «Морского змея» («По улице скелеты молодые / Идут в непромокаемом пальто...») или «Сентиментальной демонологии».

Так начинается то литературное затворничество, о котором Поплавский впоследствии напишет: «Долгое время был резким футуристом и нигде не печатался» (письмо Ю.П.Иваску от 19 ноября 1930 г.). К тому времени по инициативе Ильи Зданевича, Виктора Барта и Сергея Ромова «Гатарапак» и «Палата поэтов» уже слились в одну группу — «Через», созданную с целью установления связи между русскими поэтами и художниками эмиграции, с одной стороны, и представителями французского авангарда, с другой, а также для поддержания контактов с собратьями, живущими в советской России (недаром «Через» был задуман во время банкета, организованного 24 ноября 1922 года И.Зданевичем и журналом «Удар» в честь приезда В.Маяковского).

Несомненно, никто лучше Поплавского не описал русскую довоенную жизнь на Монпарнасе, никто лучше не почувствовал, насколько она была хрупкой и искусственной — жизнь в постоянном ожидании изменения, чуда. То была легендарная эпоха Монпарнаса — во внутренних залах кафе собиралось иногда до сорока человек, и страстные споры на художественные, философские и религиозные темы не смолкали до утра.

Однажды в кафе «Клозри де Лиля» во время литературной вечеринки, организованной С.Ромовым, Поплавский знакомится с Виктором Мамченко. В письме к московскому литератору Н.П.Смирнову Мамченко вспоминает: «Ныне знаменитый на Западе художник Терешкович, когда-то в начале 20-х годов на голодный желудок сильно избил Поплавского (было 2–3 часа ночи, на Монпарнасе такое тогда бывало и с Эренбургом), я вмешался в драку, и вот тогда Поплавский сказал мне, что впредь он не будет бить. В скором времени он "сделался" подлинным атлетом. Скандалил на литературных балах: входил в... тельнике, задирал "буржуев", но, как дитя,

потерянно улыбался, когда дружеская рука его уводила от скандала»[1].

Эта новая установка на спорт и физическую силу подтверждается устами Олега, двойника писателя: «Не получив никакого образования, он вырвал его, отсиживая зад на неудобных скамейках, из замусоленных, унизительно плохо освещенных библиотечных книг. Будучи худ и малокровен, воздержанием, каторжной ежедневной борьбой с чугуном вырвал у жизни куполообразные плечевые мускулы, железный зажим кисти. Будучи некрасив, неуверен в себе, осатанением одиночества, всезнайства, доблестью аскетизма овладел тем свирепым механизмом очей, склонявшим, подчинявшим, часто к его удивлению, сияющие молодостью женские головы. Ибо Олег, как и все аскеты, необычайно нравился, и уродство, грубость, самоуверенность только усугубляли его шарм» («Домой с небес»).

Тяга «молодой пишущей братии» к художникам объясняется невозможностью печататься и отсутствием среды. «Среди художников мы провели безвыходно пять лет, писали для художников, читали для художников, увлекались живописью больше, чем поэзией, ходили на выставки, не в библиотеки. Жили же мы стихами Поплавского», — вспоминал И.Зданевич[2].

Этот «нищий рай друзей» описан Поплавским в романе «Аполлон Безобразов», в котором, по признанию самого автора, много прямого влияния И.Зданевича и А.Гингера. «Аполлон Безобразов» — это «вообще попытка оправдать нашу жизнь, роскошную и тайную, необыкновенно трогательную и значительную и вместе с тем никакую — со стороны смотря, — и встать выше своей и социальной судьбы...» (письмо Б.Поплавского И.Зданевичу от 16 марта 1928 г.). Сам образ героя является как бы синтезом обоих друзей Поплавского: у Зданевича автор, несомненно, заимствовал внешний облик, его магнетизм, шарм, а также и страсть к мистификациям и перевоплощениям; у Гингера — полное безразличие к внешним успехам, скептицизм, отрешенность: «Не стоит ли Гингер уже “по ту сторону”, “не воскрес” ли он в самом деле от людей?» — задается вопросом Поплавский (письмо И.Зданевичу № 4).

---

[1] Письма В.А.Мамченко Н.П.Смирнову // Поплавский Б. Неизданное. С. 84.

[2] *Зданевич И.* Борис Поплавский // Поплавский Б. Покушение с негодными средствами. С. 113.

В своем издательстве «41°» Зданевич собирался выпустить в 1925 году сборник стихотворений своего младшего собрата «Граммофон на Северном полюсе», однако ему так и не суждено было выйти в свет. Та же участь постигла и второй сборник — «Дирижабль неизвестного направления»: у Сергея Ромова не хватило средств, чтобы заплатить издателю. К счастью, многие из этих стихотворений сохранились в архиве Зданевича и в 1997 году были опубликованы Режисом Гейро[1], а в архиве Татищева недавно были обнаружены верстки «Дирижабля» 1927 года и единственный сохранившийся экземпляр сборника стихов, из которого Н.Татищев впоследствии извлекал стихотворения для посмертных сборников поэта.

К тому времени «лирическое величие уже... выделяло Поплавского»[2]: он признан в тесном кругу друзей и гремит на Монпарнасе, но доступ к «толстым» журналам ему закрыт — так же как и Гингеру — из-за его «левизны» и экспериментов в области языка. Но Поплавскому не хочется «умереть в неизвестности», о чем он заявляет Зданевичу: отказываясь от этой «эстетики небытия», он бунтует против своего учителя, выходит «на большую дорогу человеков» (письмо № 4), то есть вырывается из замкнутого, заколдованного круга, где царила «та особенная бледно-голубая атмосфера нашей взаимной спокойной экзальтации, высокого европейского стоицизма» («Домой с небес»). Так кончилось то «легендарное время», о котором Зданевич вспомнит после смерти друга: «Это поэтическое затворничество позволило Поплавскому развиться вдали от беженской пошлости, предохраняло его долгие годы, но оно же и усилило в нем пессимизм, неприятие мира, усилило тему смерти, которую он так и не преодолел»[3].

1925 год оказался во многом переломным. Новоизбранный председатель Союза русских художников Илья Зданевич организует «Бал Большой Медведицы» по поводу Международной выставки декоративных искусств, позволившей русским конструктивистам (в том числе и А.Родченко) прибыть в Париж. Бал этот окажется последним из знаменитых «русских балов»,

---

[1] «Несколько стихотворений из планировавшегося совместно с Ильяздом сборника Поплавский все же успел увидеть напечатанными, — замечает Режис Гейро, — шесть текстов в конечном итоге вошли в его единственную прижизненную книгу "Флаги"» («Твоя дружба ко мне — одно из самых ценных явлений моей жизни...» // Поплавский Б. Покушение с негодными средствами. С. 17).

[2] *Зданевич И.* Борис Поплавский. С. 111.

[3] Там же. С. 113–114.

ежегодно собиравших на Монпарнасе всю франко-русскую элиту: в Советском Союзе авангардное искусство, «слишком далекое от народа», уже подвергается критике, а в Париже, отказываясь от прежних крайностей, оно постепенно «входит в колею»: даже Иван Пуни возвращается к фигуративному искусству. К тому же на Монпарнасе происходит «политическое оформление»: «оторванные от действительности, отягощенные нашим эстетическим багажом идеологи поэзии как "покушения с негодными средствами", мы только воображали себя попутчиками, на деле же ими вовсе, оказывается, не были. Впрочем, надежда добиться чего-нибудь здесь, в Париже, еще не была утрачена», — пишет И.Зданевич[1]. (Сближение, хоть и мнимое, с «тем берегом» вызывает резкое осуждение и со стороны С.Шаршуна, поместившего в своем самодельном журнале «Перевоз[дада]» (№ 7) следующий вызов: «Божнев, Свешников, Туган-Барановский, Поплавский, Зданевич и пр., а когда срать ходите — тоже разрешения в Наркомпросе спрашиваете? Вдогонку, мой плевок справа — попутчики!»[2])

О дальнейшей дружбе Поплавского со Зданевичем свидетельствует доклад последнего «Покушение Поплавского с негодными средствами»[3], письма Бориса к своему «учителю», их совместная работа над проектом «Бала Жюля Верна» в 1929 году, статья Поплавского о романе Зданевича «Восхищение» и, наконец, статья-отклик Зданевича на смерть Бориса. Не зря Поплавский писал своему другу: «Твоя дружба ко мне — одно из самых ценных явлений моей жизни, хотя бы мы и не виделись годами. Являясь чисто метафизической вещью, она нисколько не меняется от этого» (письмо от 14 ноября 1928 г.).

Но Зданевич — агностик и мистификатор, а Поплавский — мистик, хотя в своей религиозной аскезе все же остается духовным анархистом, самостоятельным искателем, не доверяющим никаким авторитетам: «Церковь — это тот опьяняющий напиток, который иерусалимские жены давали распинаемым на крестах и который Христос не захотел пить». Поплавский упрекает православную церковь в подчинении

---

[1] *Зданевич И.* Борис Поплавский. С. 114–115.

[2] Эта вырезка из «Перевоза» бережно хранилась в «пресс-буке» Б.Поплавского. Через несколько лет в журнале С.Шаршуна приняли участие Б.Поплавский (№ 11) и А.Гингер (№ 10–12).

[3] Доклад под таким названием (текст утрачен) Зданевич прочел 14 января 1926 г. в кругу членов ассоциации «Канарейка».

мирской власти — что привело ее к окостенелости и догматизму — и, стремясь к личному «разговору с Богом», отказывается от опеки священника. Ему ближе русская народная вера с ее «кротким культом юродства и нищеты» и мистической поэзией вроде «Хождения Богоматери по мукам». «Главной и единственной темой размышлений, писаний и разговоров Бориса был страдающий, убиваемый и почти не понятый Христос», — пишет Татищев[1]. Зданевич же, учивший, что спасение лишь в тесном кругу друзей, разделяющих те же взгляды на жизнь и посвятивших себя открытию неведомых возможностей речи или живописи, дерзкому эксперименту в области русского языка и стихосложения, такую установку принять не мог.

* * *

В дневнике Поплавский записывает: «Внутренняя революция начинается с языка: не надо принимать слова в их привычном значении, особенно такие слова, как смех, плач, обида, нужно *найти язык, в котором все будет наоборот* (курсив мой. — *Е.М.*). Чтобы избежать застоя и гнили, надо каждое мгновенье умирать и воскресать по-новому. Мешать воздвижению новых зданий на прежних фундаментах...»[2]

Пройти через эту «лабораторию языка» было необходимо поэту, чтобы, отмежевавшись от русских классиков и символистов, найти свой собственный язык: «Надо помнить, что мы, начиная с Блока, пользуемся словами, каких не было во времена Пушкина и Лермонтова. Они и не нуждались в таких словах, как анализ и синтез или пришедшая из Индии карма. Мы отбросили многие слова Лермонтова, например, слово "мятежный". Такие слова, как томление, раздумье, блаженство нам кажутся бледными по причине их приблизительности. Подчинять ясность определения смутному ощущению, как делали ранние романтики, значит сводить, снижать поэзию, это — ослабление стиля и неуважение к жизни. Это не значит, что мы больше или сильнее Лермонтова или Эдгара По, но они жили в эпоху, когда казалось, что зло можно объяснить (демон? эгоизм?), а мы узнали, что принцип зла неуловим»[3].

---

[1] *Татищев Н.* Из статьи «В серебре пустынь» (см. т. 3 наст. изд. Приложение).

[2] См.: *Татищев Н.* Из разговоров с Борисом Поплавским (т. 3 наст. изд. Приложение).

[3] Там же.

Поплавский экспериментирует ныне в духе футуризма крученыховского толка. Если чисто заумных стихотворений сравнительно немного (см. «Убивец бивень нечасовый бой...», «Молитва слов», «Орегон кентомаро мао...», «Панопликас усанатео земба...»), то другие стихи иллюстрируют принципы примитива и алогизма:

Мне было девять, но я был девий.
Теперь дивись. Под шкапом удавись...

Или:

Но ан консьержа в ейной ложе нет...
И крик (так рвутся новые кальсоны).

Простонаречные «ан» («Ан по небу летает корова...») и «дабы» («Не забывал свободу зверь дабы») относятся к эстетике футуризма, так же как и алогизмы («Идет твой день на мягких лапах...» или же «Вертается умерший на бочок, / Мня: тесновато...»), доходящие иногда до абсурда:

Как медаль на шее у поэта
Как миндаль на дереве во рту
Белое расстегнутое лето
Поднималось на гору в поту.

Экспрессия, игра слов («Коль колокол колчан...»), странные, экзотические имена или слова, неологизмы, смысловые и грамматические неправильности свидетельствуют о том, что Поплавский учился у Хлебникова, Крученых и, конечно, у Зданевича.

Не прошло для Поплавского бесследно и общение с художниками — оно обогатило его поэтическую технику — вскоре это скажется во «Флагах». Известно, что авангардные течения стремились стереть границы между разными видами искусства: на полотнах художников буквы вступают в диалог с геометрическими фигурами или цветными пятнами, а порой складываются в «частушки» (см. полотна Ларионова, Пуни, Гончаровой); поэты же обрабатывают материю стиха наподобие кубистов, а позднее — сюрреалистов. Так, «примитивизму» Михаила Ларионова вполне отвечает примитивистская стилистика многих стихотворений Бориса Божнева, Александра Гингера или Бориса Поплавского. Поэты проповедуют ту же «эстетику отбросов», тяготеют к незавершенности, неуклюжести, дисгармонии.

Отказываясь от красоты, «младшее поколение» предпочитает «грубый» материал — старую бумагу, детские краски. «Искусства нет и не нужно», — утверждает Поплавский: его стихотворения вместе с картинами вывешиваются на стенах кафе или бального зала Бюлье. Н.Татищев вполне справедливо замечает: «Поплавский будто умышленно извлекал образы для своих сооружений из той свалки, куда за последние столетия бросали все самое ненужное и подозрительное. В алхимической колбе смешаны элементы магии и "оккультной макулатуры" средних веков»[1].

Хотя свои «видения» Поплавский часто заключал в традиционные формы, такая поэзия, естественно, не могла прийтись по вкусу ни широкой читающей публике, ни столпам "парижской ноты", которая, по свидетельству Э.Райса, в те годы "клеймила и высмеивала, как могла, Хлебникова" и объявляла сюрреалистов "мистификаторами" и чуть ли не жуликами»[2].

Желая сблизиться с эмигрантской прессой и обрести читателя, Поплавский решает «"сбавить тону", сделать себя понятным (сделаться самому себе противным), потому что "мысль изреченная..." и т.д.» (письмо И.Зданевичу № 4).

* * *

В 1927 году Б.Поплавский переживает свое первое серьезное увлечение: он влюбляется в Татьяну Шапиро. Ей посвящены стихотворения, включенные в «Дополнение к "Флагам"». Дневниковые записи Поплавского приоткрывают нам, как «бедная буржуазная девочка» превращается в его воображении то в «божественного ребенка», то в «прекрасную даму», то в «софическую иллюминанту». Кратковременность их отношений объясняется сложным характером Поплавского, его максимализмом, и тем не менее на всю жизнь они оставляют в душе поэта «тоску по чернокрылому ангелу», «ни с чем не сравнимую боль соприкосновения двух вечностей»[3].

Из «Дневника Татьяны» мы узнаем о работе Поплавского над романом «Аполлон Безобразов»: 21 ноября 1927 года он читает фрагменты романа Татьяне.

После разрыва с любимой девушкой в письмах к Зданевичу Поплавский определяет свой роман как «опыт романа

---

[1] *Татищев Н.* Из статьи «В серебре пустынь» (т. 3 наст. изд. Приложение).

[2] *Райс Э.* О Борисе Поплавском (1903–1935) // Грани. № 114. С. 165.

[3] Летом 1928 г. Татьяна Шапиро вместе с семьей вернулась в Россию.

в сюртуке, хотя бы в сюртуке ярмарочного престидижитатора и астролога» (16 марта 1928 г.). Он утверждает, что «литература должна быть, в сущности, под едва заметным прикрытием — фактом жизни» (4 февраля 1928 г.), и видит в романе способ встать выше своей и социальной судьбы. Интересно, что метод писания Поплавский также перенял у своего «учителя» Зданевича: «я по Твоей системе пишу всегда гораздо больше, чем следует, и на каждое место несколько претендентов» (16 марта 1928 г.) — отсюда много редакционной работы.

По свидетельству Н.Татищева известно, что Поплавский, в отличие от сюрреалистов, не публиковал свои «автоматические» записи — свои тексты он перерабатывал и исправлял годами, иные стихотворения переписывал до сорока раз, «чтобы сохранить характер импровизации, чтобы все вылилось единым махом, без ретуши, которая в стихах так же заметна, как заплата на реставрированных картинах»[1]. Отсюда некая как бы неряшливость, «бесформенность», которую многие критики находили как в поэзии, так и в прозе Поплавского. Но эта небрежность нарочитая, умышленная (что заметил уже Г.Адамович), эта незавершенность принципиальная, она имеет целью сохранить живое дыхание стиха или создать такую прозу, которая утверждала бы читателя во мнении, «что литература есть документ тем более ценный, чем более полный, универсально охватывающий человека снимок, слепок, стенограмма, фотография» («Среди сомнений и очевидностей»).

Что же скрывается «под сюртуком» фабулы, что же автор желает передать своему читателю? «Задача просто в том, — записывает он в конце того же года, — чтобы как можно честнее, пассивнее и объективнее передать тот причудливо особенный излом, в котором в данной жизни присутствует вечный свет жизни, любви, погибания, религиозности». Акцент перенесен с событийности на внутреннюю жизнь, «роскошную и тайную». Именно эта особенность ускользнула от большинства критиков, склонных применять к этому экзистенциальному, метафизическому роману оценочные критерии, годные для русского классического романа.

Стремительная «общественная карьера» Поплавского начинается 10 апреля 1928 года с его с участия в прениях о «Ветхом Завете и христианстве», организованных «Зеленой лампой». О его «дебюте» сохранились очень интересные вос-

[1] *Татищев Н.* Борис Поплавский — поэт самопознания // Возрождение (Париж). 1965. № 165. С. 26.

поминания Иды Карской: «Вдруг прибегает Поплавский, сестра вместе с ним. "Пойдем на заседание 'Зеленой лампы'. Я хочу там выступить: сегодня я решил стать знаменитым". Из присутствующих помню Оцупа, Раевского, Ходасевича. И вот слово попросил Поплавский. Он выступал с запалом, с азартом. Речь его была о проблеме Христа в современном мире. Когда он произнес фразу: "Если бы Христос жил в наши дни, он танцевал бы шимми или чечетку", это произвело эффект разорвавшейся бомбы — тогда ведь все танцевали эти танцы, но связать это с Христом!.. Его хотели прервать, нам с сестрой было неловко за его выходку... Мережковский был крайне раздражен. Но рыжеволосая Гиппиус была в восторге: "Оставьте его, оставьте! Пусть он продолжает говорить. Очень интересно! Очень!" Когда Поплавский закончил, половина зала разразилась смехом, а половина была, действительно, в восторге. Сказал ли он про шимми нарочно, продуманно, или это было счастливое чувство вседозволенности от равнодушия к тем философским проблемам, которыми занимались Мережковский и его единомышленники? Как бы там ни было, речь эта, действительно, сделала его знаменитым...»[1]

В том же 1928 году Поплавский начинает печататься. Его стихотворения опубликованы в журналах «Воля России», «Современные записки», в газете «Последние новости». Критики (Г.Адамович, В.Вейдле) отметили романтическую стихию поэзии Поплавского, волшебный фантастический мир, возникающий из снов, близкий сюрреалистической живописи, влияние Рембо и «глубокое сродство» с Блоком. Отдавая дань оригинальному таланту поэта, другие критики отмечают необычную музыкальность его стихов, их «иррациональную логику». Евразиец Д.Святополк-Мирский приветствует в Поплавском «первого эмигрантского поэта, живущего не воспоминаниями о России, а заграничной действительностью»[2]. Встречаются, однако, и опасения: Марк Слоним — единственный, кто заметил, что Поплавский «учился у Хлебникова, Пастернака и всей молодой школы русской поэзии», — пишет, что его «манера готова перейти в манерность»[3], а Н.Рейзини утверждает, что «Поплавский еще очень далек от непосредственного ощущения подлинной миссии

[1] *Карская И.* Из бесед с В.П.Чинаевым. С. 218–219.

[2] Евразия. 1929. 5 января. № 7. С. 7.

[3] *Слоним М.* Молодые писатели за рубежом // Воля России. 1929. № 10/11. С. 110.

поэта»[1], хотя в чем именно состоит эта миссия — он читателю не поясняет.

Образуется сразу же лагерь, враждебный молодому поэту: берлинский «Руль», Глеб Струве и В.Унковский, призывающий печатать стихи Поплавского «на страницах журналов душевнобольных, выпускаемых в домах умалишенных»[2].

Подобные высказывания не мешают Поплавскому стать монпарнасской знаменитостью и даже учителем жизни: его почитатели уверены, что Борис наделен даром ясновидения, они восхищаются его начитанностью, приписывают ему изобретение «парижской ноты». Вскоре Поплавский становится идеологом «Чисел», развивая основные темы журнала — темы смерти, осознания трагизма жизни, тяготения к «самому главному» (недаром Георгий Федотов упрекал «числовцев» в «похоронных настроениях»).

«Числа» — журнал, созданный в 1930 году по инициативе Н.Оцупа, — стал трибуной «младшего поколения». Напечатанный на роскошной бумаге, прекрасно иллюстрированный репродукциями художников «парижской школы», это, по выражению Поплавского, «журнал авангардистов новой послевоенной формации... не формальное течение, а новое совместное открытие, касательное метафизики "темной русской личности"... В "Числах" впервые кончился политиканский террор эмигрантщины, и поэтому новая литература вздохнула свободнее» («Вокруг "Чисел"»). В этом журнале Поплавский напечатает большинство своих статей, стихи и отрывки из «Аполлона Безобразова».

Одновременно он принимает активное участие в дискуссиях на литературные темы, в поэтических вечерах и собраниях «Зеленой лампы», «Кочевья», «Чисел». Он выступает с чтением докладов на философские и религиозные темы. Речь его, по свидетельству Ирины Одоевцевой, «лилась неудержимо, удивляя блеском, остротой мыслей и главное — парадоксами, а иногда просто ошарашивая слушателей»[3]. Каждое выступление Поплавского было не просто чтением доклада, а, по существу, настоящим словесным творением, рождающимся при контакте с публикой. Сохранились отчеты о некоторых докла-

[1] Воля России. 1929. № 7 (из «пресс-бука» Поплавского, страница не указана).

[2] Новое Русское Слово. 1929. 1 декабря. № 6153. Этой позиции В.Унковский будет постоянно придерживаться.

[3] *Одоевцева И.* На берегах Сены // Избранное. М.: Согласие, 1998. С. 804.

дах, а он их прочитал более десятка[1]. К примеру, о любви: «В.К.Поплавский[2] определял любовь как расточение, мотовство чувства. Молодой поэт, всегда находящий парадоксальные мысли в своих ораторских экспромптах, пространно рассказал о "фатальных женщинах", которых тут же подразделил на несколько разновидностей. Речь В.Ю.Поплавского[3], блиставшая неожиданными примерами, неоднократно вызывала смешки слушателей»[4].

Многие его выступления вызывают полемику, так же как и статьи, «острые, блестящие по форме и часто тоже парадоксальные»[5], которые позволяют нам увидеть в Поплавском весьма талантливого художественного и литературного критика и своеобразного мыслителя, всегда стремившегося придать своим суждениям необычное, оригинальное выражение. Из литературных статей критика особенно отметила «По поводу... Джойса», где Поплавский, одним из первых открыв автора «Улисса», описывает «автоматическое письмо», изобретенное еще Лотреамоном. Помимо Джойса этим способом пользовались и французские сюрреалисты. Вскоре сам Поплавский, подчиняясь «навязчивому демону», станет записывать «в чистой их алогичной сложности» свои «Автоматические стихи». В статьях Поплавский развивает свои излюбленные темы, рассуждая о творческом процессе, о новой эмигрантской литературе, о живописи. Он проявил себя знатоком современного искусства, и в особенности творчества русских художников-авангардистов, осевших в Париже[6].

В те же годы Поплавский пытается выпустить сборник стихов, о чем свидетельствует его переписка с Ю.Иваском. В 1931 году наконец выходят «Флаги», единственная книга, которую Поплавскому удалось издать. Поэт включил в нее стихи

---

[1] В том числе «Блок и Рембо», «Джойс или Пруст», «Молодой эмигрантский человек против отцов и за разрыв культурной традиции». Полный список см.: *Поплавский Б.* Неизданное. С. 475–479.

[2] Так в тексте.

[3] Так в тексте.

[4] Отчет беседы в «Зеленой лампе» // Возрождение. 1929. 27 мая. № 1455. С. 2.

[5] Там же.

[6] К представителям «парижской школы» в последнее время пробудился повышенный интерес искусствоведов и публики. Не так давно состоялась выставка Абрама Минчина, где комментарием к полотнам «безвременно погибшего гения» (выражение В.Сосинского) послужили стихи и выдержки из статей Поплавского.

1923–1930 годов «на вкус публики». Это издание осуществилось благодаря помощи Лидии Харлампиевны Пумпянской, вдовы состоятельного рижского дельца, — все расходы по изданию она взяла на себя. По свидетельству Ильи Зданевича, «издатели искромсали текст, как могли, ввели старую орфографию, выбросили все, что было мятежного или заумного, дав перевес стихам, в которых сказывалось влияние новых кругов. Книга успеха не имела»[1]. С последним утверждением Зданевича можно не согласиться: «Флаги» вызвали много откликов, восторженных (Г.Иванов, Г.Адамович) или уничтожающих (Вл.Набоков), но никого из критиков не оставили равнодушным.

«Очарование стихов Поплавского — очень сильное очарование, — констатировал Георгий Иванов. — Настоящая новизна стихов Поплавского заключается совсем не в той "новизне" (довольно, кстати, невысокого свойства), которая есть и в его стихах и которой, очень возможно, сам поэт и придает значение, хотя совершенно напрасно. Ни то, что показано в стихах Поплавского, ни то, как показано, не заслуживало бы десятой доли внимания, которого они заслуживают, если бы в этих стихах почти ежесекундно не случалось — необъяснимо и очевидно — действительное чудо поэтической "вспышки", удара, потрясения, того, что неопределенно называется frisson inconnu...[2] Во "Флагах" Поплавского frisson inconnu ощущается от каждой строчки, и, я думаю, надо быть совсем невосприимчивым к поэзии, чтобы, едва перелистав книгу Поплавского, тотчас же, неотразимо, это не почувствовать... Силу "нездешней радости", которая распространяется от "Флагов", можно сравнить безо всякого кощунства с впечатлениями от симфоний Белого и даже от "Стихов о Прекрасной Даме"»[3].

Критики расходились в определении движущего элемента поэзии Поплавского. Глеб Струве, например, считал, что «сюрреалистический мир Поплавского создан "незаконными" средствами, заимствованными у "чужого" искусства, у живописи»[4]. Другие же, полагавшие, что «поэзия Поплавского часто и по существу более живописна, чем музыкальна» (М.Цетлин), не ограничивались констатацией внешнего сход-

[1] *Зданевич И.* Борис Поплавский. С. 115.

[2] Неведомый трепет *(фр.)*.

[3] *Иванов Г.* Борис Поплавский. «Флаги». Париж, изд. «Числа», 1931 // Числа. 1931. № 5. С. 231–233.

[4] *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 339.

ства, т.е. общих с Шагалом, Пикассо или Де Кирико тем (цирк, акробаты, ангелы, башни), а шли глубже, отмечая это родство на уровне творческой техники. М.Цетлин писал: «...стремление к своей поэтической "фактуре" роднит поэзию Поплавского с современными живописными исканиями»[1]. В противовес ему Марк Слоним подчеркивал: «Связь между понятиями и словами очень часто бывает утеряна в стихах Поплавского — да и не важны для нее понятия, и не логического смысла надо искать в этом пестром мире, населенном условными образами. Вся эта игра воображения, все эти то смутные, то неожиданно яркие сны живут и движутся стихией музыки, плывут по воле тех ритмических комбинаций, которыми владеет Поплавский». «Музыка, — по мнению М.Слонима, — то есть тот элемент поэзии, который составляет ее первичную природу, все то, что словом сказать невозможно, что выше или ниже, но во всяком случае *вне* понимания рассудком и пятью чувствами — вот это и есть самое замечательное в стихах Поплавского. Его нельзя не заслушаться: этот голос, богатый интонациями нежными и вкрадчивыми, поет так чудесно, что забываешь обо всем, кроме обольстительного напева»[2].

Говоря о поэтической манере Поплавского, В.Вейдле называл его «самым своеобразным из молодых поэтов, выдвинувшихся в эмиграции. В лучших его стихах сочетаются очень особенным образом воспоминания о раннем Блоке с влияниями французской поэзии, больше всего Рембо». Но «звуковое своеобразие поэзии Поплавского, — считал Вейдле, — таит для поэта серьезную опасность. Он так увлечен, так убаюкан немного расплывчатой музыкой своего стиха, что сплошь и рядом для него становится безразличным, каким словесным материалом заполнить эти ритмические периоды»[3].

«Если бы среди парижских писателей и критиков произвести анкету о наиболее значительном поэте младшего эмигрантского поколения, — замечал Глеб Струве, — нет сомнения, что большинство голосов было бы отдано за Поплавского. По свидетельству Г.В.Адамовича, Мережков-

---

[1] *Цетлин М.* Борис Поплавский. «Флаги» // Современные записки. 1931. № 46. С. 504.

[2] *Слоним М.* Книга стихов Б.Поплавского // Воля России. 1931. № 1/2. С. 190.

[3] *Вейдле В.* Три сборника стихов // Возрождение. 1931. 12 марта. № 2109.

ский на одном собрании после смерти Поплавского сказал, что для оправдания эмигрантской литературы на всяких будущих судах с лихвой достаточно одного Поплавского»[1].

Остальные сборники стихов поэта вышли уже посмертно. На деньги, собранные благодаря продаже картин из личной коллекции Поплавского и щедрой помощи его друга художника Михаила Ларионова, Н.Татищев выпустил книги «Снежный час» (1936) и «В венке из воска» (1938). Почти через три десятка лет, в 1965 году, он же издал сборник «Дирижабль неизвестного направления», куда помимо вариантов ранее опубликованных стихов вошло и несколько удивительных мистических стихотворений («Комната во дворце далай-ламы», «Учитель») — их, как нам теперь известно, Татищев извлек из папок и тетрадей, где хранились «Автоматические стихи». Даже «угомонившись», Поплавский продолжал писать «для себя» стихи экспериментальные, в том числе и «автоматические»: тридцать из них в слегка переработанном виде были включены им в «Дневник Аполлона Безобразова» и напечатаны в 10-м номере «Чисел», но публика не приняла их — она отдавала предпочтение более традиционным образам поэтического творчества Поплавского; вот почему поэту все чаще приходилось писать «в стол», становясь и в России зарубежной «внутренним эмигрантом». «Эмиграция не только ничего не могла дать, но и взяла у него все, что сумела»[2].

* * *

Главной привязанностью Поплавского была Дина Шрайбман, давшая ему «материнскую нежность еврейских женщин». Борис нуждался в ней, искал в ней утешения, но считал эту любовь, основанную на взаимной жалости, неправильной. Возможно, он бы и женился на Дине, если бы не встретился в 1931 году с Наталией Столяровой. Он пишет: «Я теперь скромнее и честнее, я понял свою люциферическую природу, и я ищу другого Люцифера, который бы растаял в моем присутствии, тогда и я обращусь, но не раньше» (из дневника 1932 года).

Эта страсть, захватив его всего, усиливает амплитуду колебаний «между небом и землей»: то взлеты до метафизических высот, то спады до «каторги» ревности, томительного одиночества. Сильнее, чем когда-либо, в Поплавском проявляется

[1] *Струве Г.* Русская литература в изгнании. С. 337–338.

[2] *Зданевич И.* Борис Поплавский. С. 115.

процесс мифотворчества, превращающий любимую девушку в мифологическое существо: «Это посвящается тебе, авантюрист, дикарь, не девушка, а сущий кентавр, чистый зверь-дух, великая охотница за душами, вдруг умаявшаяся, скитаясь по своим мифологическим болотам и взывающая к концу мира звучным и отчаянным гласом, ибо вся жизнь твоя греховна, жестокая, демоническая нимфа. Очнешься ты пещерной девственницей, и только тогда голос твой напомнит легкий дальний звон из глубины светло-голубого пейзажа Моне, подобно утру в день возврата блудного сына» (из дневника 1934 года).

Душевные переживания Поплавского отразились в его дневниках, в письмах к Дине Шрайбман и в романе «Домой с небес», где многие страницы навеяны воспоминаниями о днях, проведенных в Фавьере, где летом гостила Наташа.

В 1934 году Н.Столярова уезжает к отцу в Россию, где ее ожидает трагическая судьба — арест и долгие мытарства по лагерям. Эту судьбу с удивительной точностью ей предсказал Борис. Ознакомившись к концу своей жизни с романом «Домой с небес», Столярова напишет: «Не ожидала она [Таня], что странствие в родную страну, к которому она готовилась, откроет ей не только страшное дно жизни, но и высоту, доселе ей не знакомую. Не знала она тогда и самого главного, — что чувство, охватившее в 1932 году не только Олега, но и ее, на всю жизнь так и останется высшей точкой отпущенного на ее долю счастья... Жизнь — любовь, ностальгия, смерть, неволя, война и потери, потери — разбросала их всех в разные стороны. Но у тех, кто остался, — не может не дрогнуть сердце при чтении этих напряженных солнечных страниц»[1].

Не случайно и весь стихотворный цикл «Над солнечною музыкой воды», посвященный Наталии Столяровой, — о радости души, которая пробуждается после долгого зимнего сна и открывает для себя любовь и жизнь как противодействие смерти и уничтожению (мотивы, характерные для стихотворений «Снежного часа»):

> Я понял вдруг, что, может быть, весенний
> Прекрасный мир и радостен, и прав.

В 1932 году Поплавский завершает работу над романом «Аполлон Безобразов» и пытается его опубликовать, но тщетно. Первые главы, напечатанные в «Числах» в 1930 году, привлекли внимание критики, в большинстве своем положитель-

[1] *Столярова Н.* Вместо послесловия // Русская мысль. 1982. 26 марта.

но отозвавшейся о прозе молодого писателя. Даже в «Руле» Д.Савельев признает, что «в этих главах великолепная местами ткань», хотя и прибавляет: «Но сделаны они совсем по Прусту»[1]. Однако А.Бем видит в романе «проявление типичного декаданса»[2], а Лоллий Львов толкует его как «раскрытие "падения" эмигранта и отрады времяпровождения его среди интернациональной монпарнасской богемы»[3]. Подобные суждения свидетельствуют о неподготовленности читающей публики к «восприятию романа в сюртуке», столь необычного на фоне беллетристики, печатающейся в «толстых» журналах. «Признания он не получил, — пишет Ю.Фельзен, — чрезмерная замкнутость и новизна мешали установлению связи, затрудняли необходимую подготовку»[4]. Немудрено, что в «Ответе на литературную анкету журнала "Числа"» затаенное желание Поплавского звучит так: «Но только бы выразить, выразиться. Написать одну "голую" мистическую книгу вроде "Les chants de Maldoror" [«Песни Мальдорора»] Лотреамона и затем "assommer" [избить] несколько критиков и уехать, поступить в солдаты или в рабочие».

«Избить несколько критиков» автору «Аполлона Безобразова» не удалось, зато написать «голую» мистическую книгу он успел. Поплавский закончил роман «Домой с небес» в 1935 году, но единственный журнал, регулярно печатавший его стихи, прозу и статьи, — «Числа» — прекратил свое существование (последний, десятый номер вышел в 1934 году). Редакция другого большого литературно-общественного журнала «Современные записки», неохотно публиковавшая молодых авторов и делавшая исключение только для В.Сирина-Набокова, вернула роман Поплавскому. Оставалась надежда, что «Домой с небес» сможет издать объединение молодых писателей, но и здесь автора ждала неудача — рукопись была отвергнута «по экономическим соображениям» (роман слишком велик и не окупится подпиской). «Это было для Поплавского ударом», — вспоминал Василий Яновский[5]. Вскоре последовал

---

[1] *Савельев А.* // Руль. 5 ноября 1930. № 3024 (из «пресс-бука» Поплавского, название статьи не указано).

[2] *Бем А.* Письма о русской литературе. Числа (из «пресс-бука» Поплавского, источник не указан, по всей вероятности — «Руль»).

[3] *Львов Л.* // Россия и славянство. 1930. 4 октября (из «пресс-бука» Поплавского, название статьи не указано).

[4] *Фельзен Ю.* Поплавский // Круг (Берлин). 1936. № 1. С. 175.

[5] *Яновский В.* Поля Елисейские // Воздушные пути (Нью-Йорк). 1967. Кн. 5. С. 195.

еще один удар — неожиданный и особенно болезненный, ибо нанесли его друзья. По инициативе И.И.Бунакова в Париже возникло сообщество поэтов, писателей и философов «Круг», проводившее собрания на литературно-философские, общественно-политические и религиозные темы. В «Круг» вступали по отзывам и рекомендациям — личным и коллективным. И «вот тогда, — пишет В.Яновский, — мы все, в одиночку и коллективно, дали Поплавскому такую рекомендацию, что он в "Круг" не попал»[1]. «Вся моя жизнь — это вечное "не пустили" — то родители, то большевики, а теперь эти эмигрантские безграмотные дегенераты», — констатирует Поплавский в конце второго романа.

Многие критики в уже посмертных отзывах о прозе «монпарнасского царевича» выражали мнение, что именно в ней он «должен был дать свое полное отражение». Но истинное значение прозы Поплавского открылось значительно позднее, когда почти шесть десятилетий спустя оба романа были наконец изданы полностью. По сути дела, романы образуют дилогию; в первом — «Аполлоне Безобразове» — чувствуется влияние Эдгара По, Лотреамона и «черного романа», а во втором — «Домой с небес» — Джойса и сюрреалистов. В этом экспериментальном произведении автор пытался выразить всю многогранность своего онтологического опыта. Обе части дилогии связывает, в сущности, голос повествователя то «вдохновенными словами», как Сибилла, передающий «амуры субъекта с объектом», то с надрывом, жалующийся на «одиночество», заброшенность, то неистово взыскующий о Божьей благодати. С перебоями ритма, с переходами от вздоха до задыхания вездесущий голос провожает читателя до заключительного диалога, где сливаются обе ипостаси авторского «я»: этот диалогический роман передает внутренний мир современной личности, раздвоенной, вечно двоящейся.

Тема двойника — отражения, тени, зажившей собственной жизнью, — проходит через весь роман. Двойник часто выступает в роли собеседника, активизирующего скрытые потенции личности, в данном случае — демоническую, люциферическую сторону, о которой автор сознается в своем дневнике. Диалог — это тоже «разговор музыки с живописью (проявленного духа со сферой отражения и замирания)», из которого рождается искусство. В письме к Зданевичу Поплавский заме-

[1] *Яновский В.* Поля Елисейские. С. 195.

чает, что в его «психическом обиходе конкурируют между собой два способа информации о жизни: зрительный и слуховой». В прозе его, как и в поэзии, живописная метафоричность оживляется музыкальностью фразы, строфы. Причем общая композиция также музыкальна: основные мотивы разрабатываются как бы в разных ключах, некоторые — как мотив жалости — звучат дольше, явственнее других. О слуховом восприятии своего произведения автор, несомненно, заботился: «постоянно писать на самой высокой ноте своего голоса неправильно, в этом какое-то неумение пользоваться контрастами», которые необходимы, чтобы передать «тайное, подспудное, подводное звучание [бытия]».

Однако тяготение к изобразительному искусству проявляется в многочисленных ссылках на этот пластический медиум. Тут и описания городских или морских пейзажей, и портреты, и умелое пользование красками. Писатель — он же и художник — приглашает читателя вместе с ним любоваться фрагментом окружающего мира, вырванным из контекста и введенным в ранг произведения искусства: «Так шли мы, наслаждаясь красотою тепло окрашенных поверхностей ставен и стен, этих шедевров малярного искусства, изображающих невиданные каррарские мраморы или редкостные разрезы заокеанского дерева, которым солнце, слегка обесцвечивая и смывая краски, придавало монументальную условную прелесть так же, как и всем этим точкам, полосам, слоям и завиткам воображаемой древесины или порфира, над которыми со средневековой тщательностью трудилась рука современного маляра» («Аполлон Безобразов»).

Городская улица — это всем доступный бесплатный музей; стоит лишь уметь, подобно Аполлону Безобразову, погружаться в стихию зрения.

Материя текста у Поплавского — монтаж разнородных элементов, коллаж (см. описание бала в главе IV «Аполлона Безобразова»). С «эстетикой отбросов» романы Поплавского сближает отказ от «красивого», от выдумки, от выбора: все явления действительности имеют право на изображение.

Многоплановость произведения позволяет и разные к нему подходы, однако основной темой, как всегда у Поплавского, является его «роман с Богом»: в «Аполлоне Безобразове» аскеза, мнимая святость — непосильное умерщвление плоти — приводит героя в «зловещий нищий рай», освещенный «подземным солнцем» Аполлона, а во втором романе описы-

вается попытка вернуться «домой с небес», но «земля не принимает» неизвестного солдата русской мистики.

Сквозные образы и автоцитаты соединяют прозу Поплавского с его поэзией: пространственная организация, мотивы воды, фантастические путешествия сближают «Аполлона Безобразова» и «Флаги», а в «Над солнечною музыкой воды», как и в «Домой с небес», восприятие мира выражается в преобладании мотивов воды, свежести, «слияния воздушных и водных миров», когда «души рвутся из зимней неволи в страшной, радостной жизни земной».

Николай Татищев совершенно верно заметил, что «все, написанное для печати, а также письма и дневники Поплавского легко перепутать, одно принять за другое — пример редкого обнажения себя в искусстве»[1]. Откровенность поэта была также оценена Бердяевым, когда тот ознакомился с отрывками из дневников, изданными Н.Татищевым в 1938 году. Философ увидел в этой книге «документ современной души, русской молодой души в эмиграции», потерявшей вместе с родной землей все привычные ориентиры. По словам Бердяева, к этой внешней трагедии прибавляется и личная драма — она связана с религиозными исканиями Поплавского, не сумевшего отделить аскезу от надрыва. Бердяев считает эту трагедию закономерной, так как она связана с противоречивой сущностью современной души. Поэтому, в отличие от многих читателей, усмотревших в дневниках лишь «литературу», хвастливую позу, философ уверен в искренности Поплавского.

«Героизм откровенности», который Поплавский усматривает у героев Достоевского, а также у Пруста и Джойса, характерен и для его дневниковых записей 1932–1934 годов. В них вырисовывается облик автора, заставляющий критически отнестись к «каноническому» портрету Поплавского как неудачника, дилетанта, растратившего свой талант в бесплодных религиозных исканиях. Вспомним, что в описаниях друзей Борис часто предстает как личность сильная, незаурядная, почти гениальная. Эммануил Райс видел в Поплавском человека необъятной культуры, феноменальной интуиции, отказавшегося от всяких компромиссов: «Он был тверд и чист, жил в свирепой, невообразимой нужде, часто отчаянно голодал, но не сдавался. Жил так, как следовало жить гению — творя, мысля, учась, работая над собой»[2]. Этим словам вторит Лидия

[1] *Татищев Н.* Поэт в изгнании. С. 199.

[2] *Райс Э.* О Борисе Поплавском (1903–1935). С. 159.

Червинская: «Главное его определение — борьба с самим собой, которой он и не стеснялся»[1].

Исключительная сила воли, натренированная благодаря теософии, помогла ему бороться с неврозом, унаследованным от детства, освободила его от наркотического отравления — хотя здесь были и срывы. В борьбе с трудными условиями эмигрантской жизни поэт развивался «физически и психически»: «Занимаюсь метафизикой и боксом», — любил он ошеломлять своих собеседников. Он никогда не поступился «самым главным» — своей свободой — ради хлеба насущного и даже ради любви, и других учил: «Не сдавайтесь перед фабрикой или канцелярией, боритесь, идите странствовать, ночуйте под мостами, питайтесь подаяниями». И далее: «Нищенствуйте, блуждайте по дорогам, боритесь за дух, сидите под арестом...»[2] На страницах «Чисел» Поплавский боролся за правду в искусстве и жизни, как он ее понимал, и отстаивал права личности. Этой установкой на личность и объясняется в конечном счете его отказ от политики в пользу настоящей общественности, соборности, которая возможна лишь в «узком кругу друзей». В выступлениях и статьях автор «Песни безумца о свободе камней» выглядит как неумолимый борец за свободу и восстает против всех видов цензуры, которой сам неоднократно подвергался. Он призывает эмигрантского молодого человека выступать «против отцов и за разрыв культурных традиций», отстаивает право писать «как и о чем хотим, но с западной откровенностью» и посмеяться «над теми, кто думают, что если нет земско-городского союза, березок за окном и "Русских ведомостей", — счастье и любовь больше невозможны» («Вокруг "Чисел"»).

Младшее поколение, научившееся в эмиграции «французскому уважению к себе и к своей личной жизни», должно стремиться к «личному счастью в эмиграции», отказываясь от бесплодной ностальгии и чувства вины за грехи отцов. Утверждая, что «числовцы» — авангард русского западничества, писатель защищает демократическую свободу, которую эмигранты, в том числе и Бердяев, были склонны высмеивать как «буржуазную». Чутко реагируя на подземные толчки, извещающие о приближающейся катастрофе, Поплавский учит, что пора идейной борьбы с большевиками и фашистами миновала. Проникшись

[1] *Червинская Л.* Письма А.Богословскому // Поплавский Б. Неизданное. С. 83.

[2] *Татищев Н.* В дальнюю дорогу. Париж: YMCA-Press, 1974. С. 203.

стоической бодростью, «рядовой эмигрант, практикующийся спортсмен, должен готовиться к сопротивлению "темным силам"»: «только самые физически сильные, самые образованные, самые стоически-настроенные смогут выжить. Вновь посеять древние семена, возродить сперва тайные союзы, немногочисленные секты; потом, двенадцать часов "ударно" работая, — петь гимны и псалмы; уничтожаемые, но непреклонные, — вынести вновь на свет наше абсолютное утверждение Свободы и Духа» («Среди сомнений и очевидностей»).

Для поэта эмиграция — это апокалипсическое тайное общество, а «Париж — Ноев Ковчег для будущей России». К мысли о высокой миссии эмиграции Поплавский возвращается в конце своего романа «Домой с небес», где звучит такой призыв: «Ты, атлетический автор непечатного апокалипсиса, радуйся своей судьбе». Последние слова романа перекликаются с последней записью, занесенной поэтом в свой дневник: «Рай и царство друзей». Круг замкнулся. Поплавский, очевидно, мечтает полностью уйти в религиозную философию и каббалу, что подтверждается близко знавшими его людьми, в том числе и Н.Столяровой. Нигде нет намека на свободно выбранный уход из жизни. Ида Карская замечает: «Было ли это сознательное желание уйти из жизни? О нет! У него бывала депрессия, но он верил в силу своего таланта. Он, как всякий художник, хотел что-то доказать миру».

Довольно загадочные обстоятельства смерти Поплавского породили легенду о его самоубийстве, но свидетельства близких — отца, И.Зданевича, а также письмо Сергея Ярко — соблазнителя, предоставившего ему яд под видом героина, — не оставляют ни малейшего сомнения: лишь трагический случай позволил поэту слишком рано «расправиться, наконец, с отвратительным удвоением жизни реальной и описанной».

Кто твой учитель пенья?
Тот, кто идет по кругу.
Где ты его увидел?
На границе вечных снегов.
Почему ты его не разбудишь?
Потому что он бы умер.
Почему ты о нем не плачешь?
Потому что он — это я!

Елена Менегальдо

В ВЕНКЕ ИЗ ВОСКА

Книга первая „Плавление"

1923-1924 „В венке из воска"

Гершин Париж

1922-1924.

„Какъ холодны общественныя воды"

„У оптика я покупалъ монокль"

„На выступъ юлитъ дождя изла"

„Овалъ стекла томитъ вино"

„Надъ бѣдностью земли расшитое узоромъ"

1922

„Вѣнокъ сонетовъ мнѣ поможетъ жить"

„Въ зерцалѣ дыхъ еще живетъ, живетъ"

„Стояли мы какъ въ сатени брова"

„Мы бережемъ свой ласковый досугъ"

„Я прохожу. Тщеславенъ ея и сиръ"

„Мы вышли. Но вѣсы невольно опускались"

„День вѣтренный посредственно высокъ."

„Надъ статуей ружье на перевѣсъ"

„Душа въ пріютѣ для глухонѣмыхъ"

„Вскипаетъ въ колдень"

„Я Шиллера читать ладумалъ передъ сномъ"

„Я помню лаковыя крылья экипажа"

„Твоя душа какъ здание сената"

„Сабля слезъ"

„Утромъ городъ труба разбудила"

„Разбухаетъ печалью душа"

„Колечки дней пускаетъ мой курильщикъ"

„Я такъ привыкъ не замѣчать опасности"

„В зерцале дых еще живет живет"

„Разбухает печалью душа"

„Как будет прожить в Гренне"

„Я так привык не замечать опасности"

„Надвигающей ружье на шлевес"

* * *

«Как холодны общественные воды», —
Сказали Вы и посмотрели вниз.
Летел туман за каменный карниз,
Где грохотали мерзлые подводы.

Над крышами синел четвертый час,
Спустились мы по мостовой морены,
Казалось мне: я закричу сейчас,
Как эти пароходные сирены.

Но дальше шел и веселил Тебя —
Так осужденные смеются с палачами;
И замолкал спокойно за плечами
Трамвая конь, что подлетал, трубя.

Мы расставались; ведь не вечно нам
Стыдиться близости, уже давно прошедшей,
Как осени, по набережной шедшей,
Не возвратиться по своим следам.

* * *

Над бедностью земли расшитое узором
Повисло небо. Блеск его камней
Смущает нас, когда усталым взором
Мы смотрим вдаль меж быстринами дней.

И так всю жизнь павлином из павлинов
Сопровождает нас небесный свод,
Что так сиял над каждым властелином
И каждый на смерть провожал народ.

Торжественно обожествлен когда-то,
Вещал ему через своих жрецов,
И уходили на войну солдаты —
В песках терялись на глазах отцов.

Но конь летит, могучий конь столетий,
И варвары спокойною рукой
Разрушили сооруженья эти,
Что миру угрожали над рекой.

И новый день увиден на вершинах
Людьми и сталью покоренных гор, —
Обсерватории спокойные машины,
Глядящие на небеса в упор,

Где, медленно считая превращенья,
Как чудища, играющие праздно,
Вращаются огромные каменья,
Мучительно и холодно-напрасно.

1922

ПОКУШЕНИЕ С НЕГОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Илье Зданевичу

Венок сонетов мне поможет жить.
Тотчас пишу, но не верна подмога.
Как быстро оползает берег лога.
От локтя дрожь на писчий лист бежит.

Пуста души медвежая берлога,
Бутылка в ней, газетный лист лежит.
В зверинце городском, как вечный жид,
Хозяин ходит у прутов острога.

Так наша жизнь, на потешенье века,
Могуществом превыше человека,
Погружена в узилище судьбы.

Лишь пять шагов оставлено для бега,
Пять ямбов, слов мучительная нега —
Не забывал свободу зверь дабы.

1925

* * *

В зерцале дых еще живет, живет,
Еще гордится конькобежец павший.
Еще вода видна, видна сквозь лед.
Еще храпит в депо вагон уставший.

Напрасно небо жидкое течет
И снег-чудак сравниться хочет с камнем.
Напрасно ливень головы сечет,
Ведь не ответит искренне дока мне.

И не протянет древо ветвь к земле,
Чтоб раздавить, как пальцем, злую скуку.
И не раздастся бытия вовне
Зов синих звезд, что писк богатых кукол.

Безмолвно чары чалят с высоты
Знакомою дорогой без сомненья,
Как корабли большие на ученье
Большой, но неприятной красоты.

* * *

Стояли мы, как в сажени дрова,
Готовые сгореть в огне печали.
Мы высохли и вновь сыреть почали:
То были наши старые права.

Была ты, осень, медля, не права.
Нам небеса сияньем отвечали,
Как в лета безыскусственном начале,
Когда растет бездумье, как трава.

Но медленно отверстие печи,
Являя огневые кирпичи,
Пред нами отворилось и закрылось.

Раздался голос: «Топливо мечи!»
К нам руки протянулись, как мечи,
Мы прокляли тогда свою бескрылость.

В ВЕНКЕ ИЗ ВОСКА

Александру Браславскому

Мы бережем свой ласковый досуг
И от надежды прячемся бесспорно.
Поют деревья голые в лесу,
И город, как огромная валторна.

Как сладостно шутить перед концом.
Об этом знает первый и последний.
Ведь исчезает человек бесследней,
Чем лицедей с божественным лицом.

Прозрачный ветер неумело вторит
Словам твоим. А вот и снег. Умри.
Кто смеет с вечером бесславным спорить,
Остерегать безмолвие зари.

Кружит октябрь — как белесый ястреб,
На небе перья серые его.
Но высеченная из алебастра
Овца души не видит ничего.

Холодный праздник убывает вяло.
Туман идет на гору и с горы.
Я помню, смерть мне в младости певала:
Не дожидайся роковой поры.

1924

* * *

Я прохожу. Тщеславен я и сир,
Как нищие на набережной с чашкой.
Стоит городовой, как кирасир,
Что норовит врага ударить шашкой.

И я хотел спросить его, увы,
Что сделал я на небольшом пути.
Но, снявши шляпу скромно с головы,
Сказал я: «Как мне до дворца пройти»?

И он, взмахнув по воздуху плащом —
Так поднимает поп епитрахиль,
Сказал: «Направо и чрез мост потом».
Как будто отпустил мои грехи.

И стало мне легко от этих слов,
И понял я: городовой, дитя,
Не знает, нет, моста к созданью снов,
Поэту достижимому хотя.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В КАМЕНЬ

Мы вышли. Но весы невольно опускались.
О, сумерков холодные весы.
Скользили мимо снежные часы,
Кружились на камнях и исчезали.

На острове не двигались дома,
И холод плыл торжественно над валом.
Была зима. Неверящий Фома
Персты держал в ее закате алом.

Вы на снегу следы от каблука
Проткнули зонтиком, как лезвием кинжала.
Моя ж лиловая и твердая рука,
Как каменная, на скамье лежала.

Зима плыла над городом туда,
Где мы ее, увы, еще не ждали,
Как небо, многие вмещая города,
Неудержимо далее и дале.

НЕПОДВИЖНОСТЬ

День ветреный посредственно высок,
Посредственно безлюден и воздушен.
Я вижу в зеркале наследственный висок
С кружалом вены и пиджак тщедушный.

Смертельны мне сердечные болезни,
Шум крови повышающийся — смерть.
Но им сопротивляться бесполезней,
Чем заграждать ползучий сей четверг.

Покачиваясь, воздух надо мной
Стекает без определенной цели
Под видимою среди дня луной
У беспощадной скуки на прицеле.

И ветер опускается в камин,
Как водолаз в затопленное судно,
В нем видя, что утопленник один
В пустую воду смотрит безрассудно.

* * *

Над статуей ружье наперевес
Держал закат; я наблюдал с бульвара.
Навстречу шла, раскланиваясь, пара:
Душа поэта и, должно быть, бес.

Они втекли через окно в кафе.
Луна за ними — и расселась рядом.
На острове, как гласные в строфе,
Толпились люди, увлекшись парадом.

Луна присела, как солдат в нужде,
Но ан заречье уж поднялось к небу.
И, радуясь, как и всегда, беде,
Сейсмографы уже решили ребус.

Переломился, как пирог, бульвар.
Назад! на запад, конница небес!
Но полно, дети, это просто пар,
Чей легче воздуха удельный вес.

ОТВРАЩЕНИЕ

Душа в приюте для глухонемых
Воспитывалась, но порок излечен;
Она идет, прощаясь с каждым встречным,
Среди больничных корпусов прямых.
Сурово к незнакомому ребенку
Мать повернула черные глаза,
Когда, усевшись на углу на конку,
Они поехали с вещами на вокзал;
И сколько раз она с тех пор хотела
Вновь онеметь или оглохнуть вновь,
Когда стрела смертельная летела
Ей слишком хорошо понятных слов.
Или хотя бы поступить на службу
В сей вышеупомянутый приют,
Чтоб слов не слышать непристойных дружбы
И слов любви, столь говорливой тут.

1923

* * *

Вскипает в полдень молоко небес,
Сползает пенка облачная, ежась.
Готов обед мечтательных повес.
Как римляне, они вкушают лежа.

Как хорошо у окружных дорог
Дремать, задравши голову и ноги.
Как вкусен непитательный пирог
Далеких крыш и черный хлеб дороги.

Как невесомо сердце бедняка,
Его вздымает незаметный воздух,
До странного доводит столбняка
Богатыми неоцененный отдых.

Коль нет своей, чужая жизнь мила,
Как ревность, зависть родственна любови.
Еще сочится на бревне смола —
От мертвеца же не исторгнешь крови.

Так беззаботно размышляю я,
Разнежившись в божественной молочной.
Как жаль, что в мать, а не в горшок цветочный
Сошел я жить. Но прихоть в том Твоя.

* * *

В.К.

Я Шиллера читать задумал перед сном.
Но ночь прошла; я не успел раздеться.
Всё та же ты на языке ином,
Трагедия в садах Аранжуэца.

Хоть Карлосу за столиком пустым
Уж не дождаться королевы детства
И, перейдя за Сенские мосты,
Он не увидит лошадей для бегства.

Хоть безразличнее к сыновьим слёзам
Отец наш, чем король Филипп Второй.
Хоть мы казненному завидуем порой:
Вставая в саване и с обостренным носом.

Чтоб вновь, едва успев переодеться,
В кофейне, разукрашенной стеклом,
Играть на скудном языке родном
Трагедию в садах Аранжуэца.

ОРЛЫ

Я помню лаковые крылья экипажа,
Молчание и ложь. Лети, закат, лети.
Так Христофор Колумб скрывал от экипажа
Величину пройденного пути.

Была кривая кучера спина
Окружена оранжевою славой.
Вилась под твердой шляпой седина,
А сзади мы, как бы орел двуглавый.

Смотрю, глаза от солнца увернув;
Оно в них все ж еще летает, множась.
Напудренный и равнодушный клюв
Грозит прохожим, что моргают, ежась.

Ты мне грозила восемнадцать дней,
На девятнадцатый смягчилась и поблекла.
Закат оставил, наигравшись, стекла,
И стало вдруг заметно холодней.

Осенний дым взошел над экипажем,
Где наше счастье медлило сойти,
Но капитан скрывал от экипажа
Величину пройденного пути.

1923

* * *

О.К.

Твоя душа, как здание сената,
Нас устрашает с возвышенья, но
Для веселящегося мецената
Оно забавно и едва важно.

Над входом лань, над входом страшный лев,
Но нам известно: под зверинцем этим
Печаль и слабость поздних королев.
Мы льву улыбкою едва ответим.

Как теплый дождь паду на вымпел Твой,
И он намокнет и в тоске поникнет,
И угрожающе напрасно крикнет
Мне у ворот солдат сторожевой.

Твоя душа, как здание сената,
Нас устрашает с возвышенья, ах!
Для веселящегося мецената
Оно еще прекрасней в ста шагах.

ДВОЕЦАРСТВИЕ

Юрию Рогале-Левицкому

Сабля смерти свистит во мгле,
Рубит головы наши и души,
Рубит пар на зеркальном стекле,
Наше прошлое и наше грядущее.

И едят копошащийся мозг
Воробьи озорных сновидений.
И от солнечного привидения
Он стекает на землю, как воск.

Кровью черной и кровью белой
Истекает ущербный сосуд.
И на двух катафалках везут
Половины неравные тела.

И, на кладбищах двух погребен,
Ухожу я под землю и в небо,
И свершают две разные требы
Две богини, в кого я влюблен.

1924

* * *

Утром город труба разбудила,
Полилась на замерзший лиман,
Кавалерия уходила
В разлетающийся туман.

Собирался за всадником всадник,
И здоровались на холоду,
Выбегали бабы в палисадник,
Поправляя платки на ходу.

Проезжали обозы по городу,
Догоняя зарядные ящики,
И невольно смеялись в бороду
Коммерсанты и их приказчики.

Утром город труба разбудила,
Полилась на замерзший лиман.
Кавалерия уходила
В разлетающийся туман.

1923–1924

* * *

Разбухает печалью душа,
Как дубовая пробка в бочонке.
Молоток иль эфес бердыша
Здесь подстать, а не зонтик девчонки.

Черный сок покрепчает от лет,
Для болезного сердца отрава.
Опьянеет и выронит славу
В малом цирке неловкий атлет.

В малом цирке, где лошади белые
По арене пригоже кружат
И где смотрят поэты, дрожа,
То, что люди бестрепетно делают.

Где под куполом лампы, и тросы,
И качели для храбрецов,
Где сидим мы, как дети матросов,
Провожающие отцов.

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

Колечки дней пускает злой курильщик,
Свисает дым бессильно с потолка:
Он может быть кутила, иль могильщик,
Или солдат заезжего полка.

Искусство безрассудное пленяет
Мой ленный ум, и я давай курить,
Но вдруг он в воздухе густом линяет,
И ан на кресле трубка лишь горит.

Плывет, плывет табачная страна
Под солнцем небольшого абажура.
Я счастлив без конца по временам,
По временам, кряхтя, себя пожурю.

Приятно строить дымовую твердь.
Бесславное завоеванье это.
Весна плывет, весна сползает в лето,
Жизнь пятится неосторожно в смерть.

* * *

А.Присмановой

Я так привык не замечать опасность.
Со всяческим смирением смотрю:
Сгорбилась ты, дела приведши в ясность.
Сгорбилась ты, похожая на труп.

Мы вместе ждем пришествия судьбы.
Вот дверь стучит: *она* идет по лестнице.
Мы вместе ждем. Быть может, час ходьбы,
Быть может, месяц. Сердцу месяц лестней.

Но, ох, стучат! Мы смотрим друг на друга.
Молчание... Но, ох, стучат опять.
Быть может, от ужасного досуга
Не сможем дверь отверзть, отнять от полу пят.

Но ты встаешь. И — шасть — идешь, не к двери —
К окну, в окно, над крышами кружа...
И я, едва освобожденью веря,
Берусь за ключ, действительно дрожа.

* * *

Неудача за неудачами.
В сентябре, непогоде чета,
Мы идем под забытыми дачами,
Где сидит на верандах тщета.

Искривленные веники веток
Подметают пустырь небес.
Смерть сквозь солнце зовет однолеток
И качает блестящий лес.

Друг природы, больной соглядатай,
Сердце сковано хладной неволей
Там, где голых деревьев солдаты
Рассыпаются цепью по полю.

Но к чему этих сосен фаланга?
В тишине Ты смеешься светло,
Как предатель, пришедшая с фланга
На судьбы моей Ватерлоо.

* * *

Китайский зонт над золоченой рамой,
Где зеркало тускнеет день за днем,
Нас покрывает. Так сидим с утра мы
До вечера — и потом с огнем.

В провал двора спускается сочельник,
Шурша о стекла синей бородой.
Без зова март приходит, как отшельник,
За негой — кот, собака — за едой.

И Вы пришли, как инвалид музейный
За запоздалым зрителем, сердясь.
Ложились лужи беззаботно в грязь,
Пузырились, как фартук бумазейный.

И вдоль пожарных лестниц на чердак
Белье летит, махая рукавами.
Вы всё журите, я молчу, простак,
И зонтик счастья приоткрыт над нами.

ОНО

Спокойный сон — неверие мое,
Непротивленье счастию дремоты,
В сем ваше обнаженье самоё,
Поэзии блистательные моты.

Необорима ласковая порча:
Она свербит, она молчит и ждет,
Она вина картофельного горче
И слаще, чем нерукотворный мед.

Приятно лжет обакула любви
И счастья лал, что мягко греет очи,
И дальних путешествий паровик,
Заслышав коий, ты забыл о прочем.

Приятно пишет Александр Гингер,
Достоин лучше, чем теперь, времен,
И Кемецкий, нежнейший миннезингер,
И Божнев божий с неба обронен.

Но жизнь друзей от нас навеки скрыта,
Как дальних звезд столь равнодушный свет.
Они, быть может, временем убиты,
И то, что зрю, того давно уж нет.

Всё нарастает неживая леность,
На веки сыпля золотой песок.
Уж стерлась берегов определенность,
Корабль в водах полуночи высок.

На смутный шум воды нерукотворной
Ответит голос тихий и чужой,
Так мимо глаз утопшего проворный
Акулы бег иль киль судна большой.

Ах, это звали мы небытием,
Не разумея: это плавно дышит;
Мы так не плачем здесь и не поем
Как се молчит, сна пред рассветом тише.

Прекрасный чад, блистательная гиль.
Благословенна неживая одурь.
О Спарта Спарт, где гении илоты,
Свободы семиверстны сапоги.

* * *

Александру Гингеру

Бело напудрив красные глаза,
Спустилась ты в назначенное время.
На чьих глазах к окну ползет лоза?
Но результаты очевидны всеми.

Нас учит холод голубой, внемли.
Ах, педагоги эти: лето, осень.
Окончили на небесах мы восемь
И в первый класс возвращены Земли.

Рогатой лошади близки ли лоси?
Олень в сродстве, но, ах, олень не то, —
Мы носим холодом подбитое пальто,
Но харч точим, они же, блея, просят.

Непредставимо! Представляюсь вам.
Но ударяет вдруг огромный воздух.
Писать кончаю! Твари нужен отдых,
Он нужен Богу или даже львам.

1924

* * *

Как в ветер рвется шляпа с головы,
Махая невидимыми крылами,
Так люди, перешедшие на Вы,
Стремятся разойтись к своим делам.

Как башмаки похожи на котурны,
Когда сквозь них виднеются персты.
Доходит жизнь до неурочной урны,
И станет тень твоя, чем не был ты.

Как любим мы потертые пальто —
Что пулями пробитые мундиры.
Нам этой жизни тление свято
И безразличны неземные клиры.

И как лоснятся старые штаны
Подобно очень дорогому шелку,
Докучливые козни сатаны
Вместим в стихи — не пропадут без толку.

Прекрасен наш случайный гардероб,
Взошлем хвалы небесному портному.
Как деревянный фрак скроит он гроб,
Чтоб у него мы не смущались дома.

1924

* * *

На выступе юлит дождя игла,
Один другого усекает выступ.
Здесь обессиленно душа легла,
Отбившая последний приступ.

Отчаянье, как океан, росло,
То отступало, обнажая скалы.
Входили реки вновь в свое русло,
Земля дышала и цвести искала.

Так жизнь прошла, упорная волне,
Как камень скал, но сей, увы, бесплоден.
Враждебен ветру вешнему вполне,
Что не уверен и бесплотен.

На Ахиллеса иногда похожа,
Но на неверного Улисса чаще,
К морской волне, к людской опасной чаще
Она пришла как смерть и как прохожий.

И здесь изнемогла, где усекает выступ
Один другого под юлой дождя
Изображением неложного вождя,
Отбившего последний приступ.

ДИРИЖАБЛЬ НЕИЗВЕСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Борись Поплавский

Дирижабль неизвестного
направления

Вторая книга стихов

Посвящается

Александру Гингеру
Анне Присмановой
Илье Здановичу

Париж 1925 - 1926.

ДОЖДЬ

Владимиру Свешникову

Вздувался тент, как полосатый парус.
Из церкви выходил сонливый люд.
Невесть почто входил вдруг ветер в ярость
И затихал. Он самодур и плут.

Вокруг же нас, как в неземном саду,
Раскачивались лавры в круглых кадках,
И громко, но необъяснимо-сладко
Пел граммофон, как бы Орфей в аду.

«Мой бедный друг, живи на четверть жизни.
Достаточно и четверти надежд.
За преступленье — четверть укоризны
И четверть страха — пред закрытьем вежд.

Я так хочу, я произвольно счастлив,
Я, произвольно черный свет во мгле,
Отказываюсь от всякого участья,
Отказываюсь жить на сей земле».

Уже был вечер в глубине трактира,
Где чахли мы, подобные цветам.
Лучи всходили на вершину мира
И, улыбаясь, умирали там.

По временам, казалось, дождь проходит.
Не помню, кто из нас безмолвно встал
И долго слушал, как звонок у входа
В кинематограф первый стрекотал.

1925–1929

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ ПЕРВАЯ

Я ждал любовь и аккуратно верил.
Я слишком добр: она обманный пес.
Закроешь дверь — она сидит за дверью,
Откроешь дверь — ее уж черт унес.

Мне стало скучно хитростью тягаться
С котом. И вот четвероногий стол
Пришел ко мне и лег в углу пластом.
Не стал лягаться, можно полагаться.

Непритязательный не безобразит зверь.
Я посылаю — он бежит к любимой.
Нет разбитней собачки и резвей,
И верной столь же, столь же нелюдимой.

Но ан, сегодня не вернулся он.
Его ты гладишь жидкою рукою,
И он, забыв про верности закон,
Слегка трещит дубовою доскою.

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ ВТОРАЯ

Георгию Адамовичу

Стоит печаль, бессменный часовой,
Похожая на снегового деда.
Ан мертвецу волков не страшен вой,
Дождется он безвременной победы.

Мы бесконечно медленно едим,
Прислушиваясь к посторонним звукам.
От холода ползет по снегу дым,
И дверь стучит невыносимым стуком.

Дрожь суеверная, присутствие любви.
Отсутствие — спокойный сон и счастье.
Но стёкла вдруг, звеня, летят на части.
Хлад прыг в окно, и ан как черт привык.

Он прыгает по головам сидящих,
Те выпрямляются, натянуто белея.
Стал дом похожим на стеклянный ящик
С фигурами из сахара и клея.

Ребенок-смерть его понес, лелея.

В БОРЬБЕ СО СНЕГОМ

Над белым домом белый снег едва,
Едва шуршит, иль кажется, что белый...
Я приходил в два, два, и два, и два —
Не заставал. Но застывал. Что делать!

Се слов игра могла сломать осла,
Но я осел железный, я желе
Жалел всегда, желал, но ан ослаб.
Но, ах, еще! Пожалуй, пожалей!

Не помню. О, припомни! Нет, умру.
Растает снег. Дом канет бесполезно.
Подъемная машина рвется в бездну.
Ночь мчится к утру. Гибель — поутру.

Но снова я звоню в парадный ход.
Меня встречают. — Вера, чаю! — чаю,
Что кончится мой ледяной поход.
Но Ты мертва. Давно мертва!.. Скучаю.

* * *

Т. Татиде

Труба — по-русски, по латыни — тромба.
Тромбон житейский — во, во, вот что я!
На части рвусь, как шоколадна бомба,
Бьюсь медным лбом, но крепко бытие.

Ах, счастья репка — как засела крепко!
Ах, рыбка счастья — в глубину пошла!
Где, Степке, мне ее добыть, растрепке,
Кой мой не может разорить шалаш!

Шалишь, мне грит, мир то есть говорит:
Пора с старши́м на мире замиряться.
А я в ответ: мол, не хочу мараться.
А те все хором: Степка, нагорит.

Тубо! Табу! Бо-ом, — в ответ тромбон.
Джаз-банд на сеновале. Валит банда.
Крестьяне век не слышали джаз-банда,
Бьют радостно меня по голове.

Лежу в гробу. И вдруг из гроба: боом!
Танцует причт, танцует поп — что делать!
Колокола танцуют тили-бом,
Все землепашцы на своих наделах.

Все самодержцы на земли пределах.

* * *

Глаза, как голубые губы,
А губы — красные глаза.
Зима души пошла на убыль
Пред Рождеством, а вот и за.

На верблюда́х и на собаках
Санями о песок и снег
По льду, блестящему к весне,
Как стекло иль седина на баках.

Пустыня снежная — как душно!
Под айсбергами дремлют львы.
Тюлени на песке! Увы!
Тропический мороз — как в душах.

И вдруг приехали: сто-оп.
Написано на звездах: полюс.
О, слово важное, как полис.
Ползу по полюсу, как клоп.

Пустует белое именье.
Собачки смотрят. Я молчу,

На это обижаясь мене,
Чем на хлопок — пок! — по плечу.

О фамильярности судьбы!
Пора привыкнуть! Умираю.
Подите в лавку, где гробы.
Какие шляпы носят в рае.

БОРЬБА СО СНОМ

Ан по небу летает корова
И собачки на крылышках легких.
Мы явились в половине второго
И вздохнули всей емкостью легких.

Ой, как велосипедисты, быстро
Под окном пробегают дни —
Лишь мы оба, что знаки регистра,
Бдим случайности вовне одни.

Понижаясь и повышаясь,
Пальцы нот шевелятся достать нас: о крючья!
Ты, скрипичная, выше, рогатка кривая,
Ниже я, круглый басовый ключ.

Ноты разны, как ноты разны государств,
Но судьба утомилась сидеть за роялью.
Вот тетрадка захлопнулась: бац! без вреда.
В темноте мы заснули в ночи борсальной.

Электрической лампы полуночное солнце
Лишь скользит вдоль страницы, белесой, как снег.
Вижу сон: мы пюпитр покинули, сон!
Мы оделись, как люди. Вот мы вышли. Нас нет.

Только пара шагов меж скрипичным и басовым,
Но линейка бежит в ресторан. Ан стена.
Что ж, как дачны соседи, поболтаем
через изгородь, ба!
Недоступны и близки на ощупь, как истина.

ШЕСТЬ СЕДЬМЫХ БОЛЬШЕ ОДНОЙ

В.Поплавскому

Отъездом пахнет здесь: смердит отъезд
Углем подводным, кораблем железным.
Оркестр цыганский перемены мест
Гимн безобразный затянул к отъезду.

Одно из двух, одно из трех, из этих:
Быть на земле — иль быть на море, там,
Где змей... змей выплывает на рассвете,
Которого боится капитан,

Там, где качается железный склеп двухтрубный,
Там, где кончается шар беспардонно круглый.

Где ходит лед, как ходит человек,
Гоняется за нами в жидком мраке.
И ударяет челн по голове,
Ломая нос, как футболисты в драке.

Где есть еще крылатые киты,
Чтобы на них поставить дом торговый,
И где в чернильной глубине скоты
Живут без глаз. Ты жить без глаз попробуй.

Где в обморок впадает водолаз,
Как в море впал без звука ручеишко,
Пока над ним, лишь для отвода глаз,
Его корабль уносит ветр под мышкой.

Идет судно вдоль по меридиану.
Спускается за выпуклость воды.
Бесславны мореходные труды
В давно открытом, но в открытом океане.

Но хорошо в машинном отделенье
Тонуть, тонуть в бессилье роковом,
Пока над в воздухе вертящимся винтом
Еще трудится пар без замедленья.

Иль хорошо зреть, как горбатый лед
Проход наутро задавил последний,
И знать, как каждый на борту умрет
И станет судно что огромный ледник.

Иль хорошо: придя счастливо в порт,
Погибнуть, сев на кресло-электричку.
Малец земной орудует отмычкой,
Матрос морской ножом огромным горд.
Тверд сердцем чёрт, хоть на ногу нетверд.

О жидкий мир и мир густой и твердый,
Кто есть надежный, грешный кто из вас?
Как ледяные горы, ходят лорды,
Блестя, и тонут, как матрос, слова,

Что прыгают на сю неверну почву,
Как письма на испорченную почту.
А в море оны всё ж идут на дно.
Уж в этом преимущество одно.

1925

ПИФОН-ТАЙФУН

Вадиму Андрееву

Чудесное морское избавленье,
Соизволенье. Ба! Да, се циклон,
Антициклон. В пониженном давленье
Усматриваем мы: мотоцикл он.

Цыц, вы, матросы, всякие отбросы,
Пожните клевер, кливер в вышине;
Но выше не носите папиросы,
Плавучей поручившись хижине.

Гремучею змеею ветр ползет,
Слегка свистит на реях, как на ветках.
Слегка молчит, прикрывши рот.
Мы в кубрик лезем, как в песок креветки.

Но вдруг Пифон на палубу упал,
Шарахнулись испуганные снасти,
И, повторяя слабости гопак,
Судно колени клонит пред ненастьем.

Склоняет разны капитан слова.
Но по пятам за ним летают волны.
И, как мотается у мертвых голова,
Орудия катаются по челну.

Развертываясь, паруса летят,
Насос огромный их вбирает — ветер,
Мяучат блоки, как семья котят,
Но кошка-смерть спешит, бежит ответить.

И, набок лапой положив корабль,
Его облизывает языком, любя,
И видят даже те, кто очень храбр,
Как скачет пена на ее губах.

Ломающийся треск и босый топот.
Ползем на мачту — на бревно дыбы.
И я, заканчивая стихотворный опыт,
Смотрю — корма привстала на дыбы,
Перевернуться медленно дабы.

Потом немало выпил я воды.

АРМЕЙСКИЕ СТАНСЫ

А.Папазулову

Ты слышишь, колокол гудет, гудет,
Солдаты пришли домой.
Прав, кто воюет, кто ест и пьет,
Бравый, послушный, немой.
Прав, кто оправился, вышел и пал
Под терновой проволокой, сильно дыша,
А после — в госпиталь светлый попал,
В толстые руки врача.

В толстые руки — на белый стол,
В синие руки — под белый плащ.
Сладкую маску не снять, хоть плачь,
Хоть издай человек последний свисток.
Лежат солдаты в сырой земле,
Но в атаку идти — из землянки долой.
Идут солдаты в отпуск, как в бой,
Возвращаются навеселе.
С легоньким треском кончают вшей,
С громким стуком Господь их ловит и давит.
А потом, поевши холодных щей,
Ложатся спать — не спать не заставишь.
Или по линии прямой —
Равняясь, стоят вдоль своей казармы.
Но — время. Прощай, действительная армия,
Солдаты пришли домой.
Солдаты пришли в рай.
Летит солдат на белых крылах,
Хвостиком помахивает,
А внизу сидят старики в домах, —
Им черт твердит: скорей помирай,
И трясет за плечо прозрачной рукой,
Будто пьяного милицейский какой.

АРМЕЙСКИЕ СТАНСЫ-2

Александру Гингеру

Как в зеркало при воротах казармы,
Где исходящий смотрится солдат,
Свои мы в Боге обозрели бармы
И повернули медленно назад.

Добротолюбье — полевой устав
Известен нам. Но в караульной службе
Стояли мы, и ан легли, устав.
Нас выдало врагам безумье дружбы.

Проходим мы, парад проходит пленных,
Подошвою бия о твердый снег.
По широтам и долготам вселенной
Мы маршируем; может быть, во сне.

Но вот стучат орудия вдали,
Трясутся санитарные повозки,
И на дороге, как на мягком воске,
Видны таинственные колеи.

Вздыхает дождь, как ломовая лошадь,
На небесах блестят ее бока.
Чьи это слезы? Мы идем в калошах.
Прощай, запас, уходим мы. Пока.

Идут нам вслед не в ногу облака.
Так хорошо! Уже не будет плоше.

1925

* * *

Брониславу Сосинскому

Листопад календаря над нами.
Белых листьев танцы без конца...
Сплю с совком, уборщик, ни при чем я.
Сын мне руку подает отца.

Возникаю на краю стола,
Возникаю у другого края,
По обоям ползаю, играя,
И сижу на потолке без зла.

Без добра по телефонной нитке
Я бегу, игла, вонзиться в ухо.
Я опасный слух, плеврит, бронхит.
Под столом открытка о разлуке.

Вылезаю, прочь, почтовый ящик.
Разрезаюсь, что твое письмо.
Развеваюсь, как твой черный плащ.
Вешаюсь на вешалку безмолвно.

Шасть, идет чиновник. Я надет.
Прилипаю ко спине, как крылья.
Бью его — он плачет, жук бессильный.
Обжигаю — он бежит к воде.

Превращаюсь в пар и испаряюсь.
Возвращаюсь, не спросясь, дождем.
Вот иду, о други, подождем —
Вот и я, и я идти стараюсь.

Как листы идут с календаря
И солдат — за дурака-царя.

* * *

Воинственное счастие души
Не принимает ложности искусства.
Коль есть враги, беги врагов души,
Коль есть любовь, скачи к объекту чувства.

Я прыг на лошадь, завожу мотор.
Он ан стучать и прыгать с легким ржаньем.
Вскачь мы пересекли души плато,
Снижаемся в долину между зданий.

И ан с разбега в тесное кафе.
Трещат посуда и пустые люди.
Конь бьет хозяина рукой по голове,
Мнет шинами, надутыми как груди.

Живых вбирая чрез ноздрей насос,
В проход назад выбрасывает мертвых.
Но Вы знак вопросительный на морду
Ему накидываете как лассо.

Он рвется, выпуская синий дым,
Он бьется под шофером молодым.

И как кузнечик прыгает огромный
К шестому этажу, где Вы живете скромно.

И застывает на большом комоде
В летящей позе, по последней моде.

Берешь Ты статуэтку на ладонь,
Но ах, увы! роняешь, не в огонь,

А лишь на твердый пол, на крепкий на пол —
Гребут осколки красны девы лапы.

Нас бросили в помойное ведро,
Но оное взорвалось, как ядро.

Мы вновь летим искусства вопреки,
Со брега прыгаем, лови! любви реки,

Пока бензин дымящийся сей чувства
В лед мрамора полярный ветр искусства

Не обратит; чтоб конь, авто и я
На длинной площади Согласия

Недвижно встали, как для любопытства,
Для ванны солнечной иль просто из бесстыдства.

* * *

Александру Гингеру

Скучаю я и мало ли что чаю.
Смотрю на горы, горы примечаю.
Как стражник пограничный, я живу.
Разбойники мне снятся наяву.

Светлеют пограничные леса,
Оно к весне — а к вечеру темнеют,
И черные деревьев волоса
Расчесывает ветер — рвать не смеет.

Бежит медведь: я вижу из окна.
Идет контрабандист: я примечаю.
Постреливаю я по ним, скучая.
Одним что меньше? Пропасть их одна!

Они несут с усилием кули.
Медведи ищут сладкие ульи.
Влачат свои табаки, как надежды.
Пред медом, что пред модой, щурят вежды.

Так чрез границу под моим окном
Товары никотинные клубятся.
А им навстречу храбрые ребятца
Несут молитвы, вздохи прут равно.

И я, нескучной отдаваясь лени,
Торговли незаконной сей не враг,
Промеж страной гористою добра
И зла страной, гористою не мене.

1925

ПОДРАЖАНИЕ ЖУКОВСКОМУ

Обнаженная дева приходит и тонет,
Невозможное древо вздыхает в хитоне.

Он сошел в голубую долину стакана,
Огнедышащий поезд, под ледник — и канул.

Синий мир водяной неопасно ползет,
Тихий вол ледяной удила не грызет.

Безвозмездно летает опаснейший сон —
Восхищен, фиолетов и сладостен он.

Подходи, приходи, неестественный враг,
Безвозвратный и сонный товарищ мой рак.

Раздавайся, далекий, но явственный шум,
Под который, нежнейший медведь, я пляшу.

Отступает поспешно большая стена,
И, подобно змее, уползает она.

Но сей мир всё ж как палец в огромном кольце
Иль как круглая шляпа на подлеце.

Иль как дева, что медленно входит и тонет,
Там, где дерево горько вздыхает в хитоне.

ЗЕЛЕНЫЙ УЖАС

На город пал зеленых листьев снег,
И летняя метель ползет, как пламя.
Смотри, мы гибель видели во сне —
Всего вчера, и вот она над нами.

На лед асфальта, твердый навсегда,
Ложится день, невыразимо счастлив,
И медленно, как долгие года,
Проходят дни, солдаты синей власти.

Днесь наступила жаркая весна
На сердце мне до нестерпимой боли,
А я лежал, водою полон сна,
Как хладный труп, — раздавлен я, я болен.

Смотри, сияет кровообращенье
Меж облаков, по венам голубым,
И я вхожу в высокое общенье
С небесной жизнью, легкою, как дым.

Но мир в жару, учащен пульс мгновенный,
И все часы болезненно спешат.
Мы сели только что в трамвай без направленья,
И вот уже конец, застава, ад.

Шипит апрельской флоры наваждение,
И пена бьет из горлышка стволов.
Весь мир раскрыт в весеннем нетерпении,
Как алые уста нагих цветов.

И каждый камень шевелится глухо,
На мостовой, как головы толпы,
И каждый лист полураскрыт, как ухо,
Чтоб взять последний наш словесный пыл.

Темнеет день, весна кипит в закате,
И музыкой больной зевает сад.
Там женщина на розовом плакате,
Смеясь, рукой указывает ад.

Восходит ночь, зеленый ужас счастья
Разлит во всем, и лунный ад кипит.
И мы уже, у музыки во власти,
У грязного фонтана просим пить.

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ

Михаилу Ларионову

Снижался день, он бесконечно чах,
И перст дождя вертел прозрачный глобус.
Бог звал меня, но я не отвечал.
Стеснялись мы и проклинали робость.

Раскланялись. Расстались. А раз так,
Я в клуб иду: чертей ищи, где карты.
Нашел, знакомлюсь чопорно, простак,
А он в ответ: «Я знаю вас от парты.

Вы помните, когда в холодный день
Ходили вы за городом на лыжах,
Рассказывал какую дребедень
Я, гувернер курчавый из Парижа.

Когда ж в трамвай садились вы во сне,
Прижав к груди тетрадь без промокашки,
Кондуктор, я не требовал билет,
Злорадствуя под синею фуражкой.

Когда же в парке, с девою один,
Молчали вы и медленно краснели,
Садился рядом щуплый господин
В застегнутой чиновничьей шинели.

Иль в мертвый час, когда ни пьян, ни трезв,
Сквозь холод утра едет полуночник,
К вам с грохотом летел наперерез
С невозмутимым седоком извозчик.

Иль в бесконечной улице, где стук
Шагов барахтался на вилке лунной,
Я шел навстречу тихо, как в лесу,
И рядом шел, и шел кругом бесшумно.

И в миг, когда катящийся вагон
Вдруг ускорял перед лицом движенье,
С любимой рядом сквозь стекло окон
Лицо без всякого глядело выраженья.

Лицом к лицу и вновь к лицу лицом,
До самой смерти и до смерти самой,
Подлец встречается повсюду с подлецом,
В халат одетым, или даже дамой.

Пока на грудь и холодно и душно
Не ляжет смерть, как женщина в пальто,
И не раздавит розовым авто
Шофер-архангел гада равнодушно».

ВОСЬМАЯ СФЕРА

Сергею Ромову

Еще валился беззащитный дождь,
Как падает убитый из окна.
Со мной шла радость, вод воздушных дочь, —
Меня пыталась обогнать она.

Мы пересе́кли город, площадь, мост,
И вот вдали — стеклянный дом несчастья.
Ее ловлю я за пушистый хвост
И говорю: давайте, друг, прощаться!

Слезой блестел ее багровый зрак.
И длинные клыки стучат от горя.
Своей клешней грозит она во мрак,
Но враг не хочет с дураками спорить.

Я подхожу к хрустальному подъезду,
Мне открывает ангел с галуном.
Дает отчет с дня моего отъезда.
Поспешно слуги прибирают дом.

Встряхают эльфы в воздухе гардины,
Толкутся саламандры у печей.
В прозрачной ванной плещутся ундины,
И гномы в погреб лезут без ключей.

А вот и вечер: приезжают гости,
У всех мужчин под фалдами хвосты.
Как мягко блещут черепа и кости,
У женщин — рыбьей чешуи пласты.

Кошачьи, птичьи пожимаю лапы,
На нежный отвечаю писк и рев.
Со мной беседует продолговатый гроб
И виселица с ртом открытым трапа.

Любезничают в смокингах кинжалы,
Танцуют яды, к женщине склонясь.
Болезни странствуют из залы в залу,
А вот и алкоголь — светлейший князь.

Он старый друг и завсегдатай дома.
Жена-душа, быть может, с ним близка.
Вот кокаин: зрачки — два пузырька.
Весь ад в гостиной у меня, как дома.

Что ж, подавайте музыкантам знак,
Пусть кубистические запоют гитары,
И саксофон, как хобот у слона,
За галстук схватит молодых и старых.

Пусть барабан трещит, как телефон:
Подходит каждый, слышит смерти пищик...
Но медленно спускается плафон,
И глухо стены движутся жилища.

Всё уже зал, всё гуще смех и смрад.
Похожи двери на глазные щели,
Зажатый в них, кричит какой-то франт,
Как девушка под чёртом на постели.

Стеклянный дом, раздавленный клешней
Небесной радости, чернильной брызжет кровью.
Трещит стекло в безмолвии ночном
И в землю опускается, как брови.

И красный зрак пылает дочки вод,
Как месяц полный над железнодорожной катастрофой.
И я, держась от смеха за живот,
Ей на ухо нашептываю строфы.

(Ведь слышал я, как он свистал во мгле,
Ужасный хвост, я хвать его и замер.
Лечу! Чу, лед грохочет на земле,
Земля проваливается на экзамене.)

Ах, радость, на тебе я как блоха
Иль как на шаре человек. Ха-ха!
Так кружатся воры вдоль камер — во! —
Или солдатик, пораженный замертво.

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

Ольге Каган

Очищается счастье от всякой надежды.
Черепичными крыльями машет наш дом
И по-птичьему ходит. Удивляйтесь, невежды,
Приходите к нам в гости, когда мы уйдем.

На высоком балконе, над прошлым и будущим,
Мы сидим без жилетов и молча жуем.
Возникает меж звезд пассажирское чудище,
Подлетает. И мы улетаем вдвоем.

Воздух свистнул. Молчит безвоздушный прогон.
Вот земля провалилась в чернильную лузу,
Застегните, механик, воздушную блузу.
Вот Венера, и мы покидаем вагон.

Бестолков этот мир четырех величин.
Мы идем, мы ползем, мы взлетаем, мы дремлем;
Мы встречаем скучающих дам и мужчин,
Мы живем и хотим возвратиться на землю.

Но таинственный мир, как вода из-под крана,
Нас толкает и ан, исчезает сквозь пальцы.
Я бросаюсь к Тебе, но шикарное зальце
Освещается, — и я перед белым экраном.

Перед синей водою, где круглые рыбы,
Перед воздухом: вертится воздух, как шар.
И над нами, как черные айсбергов глыбы,
Ходят духи. Там будет и Ваша душа.

Опускаются с неба большие леса.
И со свистом поют исполинские травы.
Водопадом ужасным катится роса,
И кузнечик грохочет, как поезд. Вы правы.

Нам пора. Мы вздыхаем, страшимся и машем.
Мы кружимся, как стрелка, как белка в часах.
Мы идем в ресторан, где стоит на часах
Злой лакей, недовольный одеждою нашей.

И, как светлую и прекрасную розу,
Мы закуриваем папиросу.

ИСКУССТВО ПИТЬ КОФЕ

Моисею Блюменкранцу

Знаменитая жизнь выпадает и тает
В несомненном забвенье своих и чужих.
Представление: шпагу за шпагой глотает
Человек, и смотрите, он все-таки жив.

Вот поднялся и пьет замечательный кофе,
Вот подпрыгнул и, мертвенький, важно молчит.
Вот лежит под землей, как весенний картофель,
Вот на масле любовном он мягко шипит.

Восторгается облаком глаз на открытке,
Где большой пароход бестолково дымит.
Уменьшаюсь и прыгаю в воду — я прыткий.
Подымаюсь по трапу. Капитан, вот и мы.

Мы обедаем в качку в огромных столовых.
Мы танцуем, мы любим, мы тонем, как все.
Из открытки в кафе возвращаемся снова;
С нас стекает вода, нас ругает сосед.

Но опять приключенье: идите, иди.
Нам кивает сквозь дверь разодетая дама.
Мы встаем и уходим. Но снится другим:
Мы к трюмо подошли и шагнули чрез раму.

Мы идем по зеленым двойным коридорам.
Под прямыми углами, как в шахтах, как в трюмах.
А в стекле ходят круглые рыбы, как воры.
В синем льду мертвецы неподвижны — мне дурно.

Надо мною киваешь ты веером черным,
Разноцветным атласным своим плавником.
Подымаюсь на локте; прозрачно, просторно.
Вот разбитый корабль лег на гравий ничком.

Я плыву: между пальцев моих перепонки.
Я скольжу — настоящий морской человек.
Я сквозь пушечный люк проплываю в потемках.
Между палуб сигаю, искусный пловец.

Блещет злато, ну прямо твоя чешуя.
Ан скелет еще держит проржавую саблю.
Но прощайте! Вон спрут! Не смущаясь ни капли,
Юркнул я через люк, через кубрик — са у est.

Но огромные сети струятся во мгле.
Я попал! Я пропал! Нас стесняют! Нас тащат!
Вот мы падаем в лодку, мы вновь на земле,
Оглушенные воздухом, замертво пляшем.

И дивятся кругом на чудесный улов
В малом озере дум. Но на что чудеса нам?
Глянь: на мрамор запачканных малых столов
Опускается к нам теплый кофе с круассаном.

И куда же нас, чёрт, из кафе понесло?
Жарко в нем, как в аду, как на небе, светло.

ЖЮЛЮ ЛАФОРГУ

С моноклем, с бахромою на штанах,
С пороком сердца и с порочным сердцем,
Иду, ехидно радуясь: луна
Оставлена Лафоргом мне в наследство.

Послушай, нотра дама де ла луна!
Любительница кошек и поэтов,
Послушай, толстая и белая фортуна,
Что сыплет серебро фальшивое без счета.

Вниманье! тыквенная голова,
Ко мне! ко мне! пузатая невеста.
Бегут, как кошки, по трубе слова;
Они, как кошки, не находят места.

И я ползу по желобу, мяуча.
Спят крыши, как чешуйчатые карпы,
И важно ходит, завернувшись в тучу,
Хвостатый чёрт, как циркуль вдоль по карте.

Лунатики уверенно гуляют.
Сидят степенно домовые в баках.
Крылатые собаки тихо лают.
Мы мягко улетаем на собаках.

Блестит внизу молочная земля,
И ясно виден искрометный поезд.
Разводом рек украшены поля,
А вот и море, в нем воды по пояс.

Но вот собаки забирают высоту,
Хвост задирая, как аэропланы,
И мы летим на спутницу, на ту,
Что нашей жизни размывает планы.

Белеет снежный неподвижный нос,
И глазы под зубчатыми тенями.
Нас радость потрясает, как понос:
Снижаемся с потухшими огнями.

На ярком солнце ко чему огни.
И ан летят, и ан ползут, и шепчут
Стрекозы-люди, бабочки они,
Легки, как слезы, и цветка не крепче.

И шасть жужжать, и шасть хрустеть, пищать,
Целуются, кусаются; ну ад!
И с ними вместе, не давая тени,
Зубастые к нам тянутся растенья.

Как жабы, скачут толстые грибы,
Трясясь, встают морковки на дыбы.
Свистит трава, как розовые змеи,
А кошки... описать их не сумею.

Мы пойманы, мы плачем, мы молчим,
Но вдруг с ужасной скоростью темнеет.
Вот дождь и хлад, а вот и снега дым,
А вот и воздух уж летать не смеет.

Пропала надоедливая рать,
А мы — мы вытянулись умирать.
Привстали души, синий морг над нами.
Стоят собаки в ряд со стременами.

И вот летим мы, сонные, домой.
К тебе, читатель непонятный мой.
И слышим, как на утренней земле
Мильон будильников трещат во мгле.

ВЕСНА В АДУ

Георгу фон Гуку

Это было в тот вечер, в тот вечер...
Дома закипали, как чайники.
Из окон рвалось клокотанье любви.
И «любовь не картошка»,
И «твои обнаженные плечи»
Кружились в паническом вальсе,
Летали и пели, как львы.
Но вот грохнул подъезд и залаял звонок.
Весна подымалась по лестнице молча.
И каждый вдруг вспомнил, что он одинок.
Кричал — одинок! — задыхаясь от желчи.
И в пении ночи, и в реве утра,
В глухом клокотании вечера в парке,
Вставали умершие годы с одра
И одр несли, как почтовые марки.
Качалась, как море асфальта, река,
Взлетали и падали лодки моторов,
Акулы трамваев, завидев врага,
Пускали фонтаны в ноздрю коридоров,
И было не страшно, поднявшись на гребень,
Нестись без оглядки на волнах толпы
И чувствовать гибель в малиновом небе,
И сладкую слабость, и слабости пыл.
В тот вечер, в тот вечер, описанный в книгах,

Нам было не страшно галдеть на ветру.
Строенья склонялись и, полные криков,
Валились, как свежеподкошенный труп.
И полными счастья, хотя без науки,
Бил крыльями воздух в молочном окне
Туда, где, простерши бессмертные руки,
Кружилась весна, как танцор на огне.

РУЧЕЙ, НО ЧЕЙ?

Рассматривали ль вы когда, друзья,
Те вещи, что лежат на дне ручья,
Который через город протекает?
Чего, чего в ручье том не бывает...
В ручье сидит чиновник и скелет,
На нем штаны и голубой жилет.
Кругом лежат, как на диванах, пары,
Слегка бренчат прозрачные гитары.
Убийца внемлет с раком на носу,
Он держит револьвер и колбасу.
А на камнях фигуры восковые
Молчат, вращая розовые выи;
Друг друга по лицу перчаткой бьют,
Смущаются и не узнают...
Офелия пошла, гуляя, в лес,
Но уж у ног ее — ручей, подлец.
Ее обвил, как горничную сонник,
Журча, увлек на синий подоконник.
Она кружится, как письма листок,
Она взывает, как любви свисток.
Офелия, ты фея иль афера?
Венок над головою Олоферна!
В воде стоит литературный ад,
Открытие и халтурный клад.
Там храбро рыбы стерегут, солдаты,
Стеклянный город, где живешь всегда ты.
Там черепа воркуют над крылечком
И красный дым ползет змеей из печки.
Нырни туда, как воробей в окно, —
Увидишь: под водой сияют лампы
Поют скелеты под лучами рампы
И кости новые идут на дно.

О водяное странное веселье!
Чиновники спешат на новоселье,
Чета несет от вывески калач —
Их жестяной сапог скрипит, хоть плачь.
Но вот валятся визитеры-кегли,
Вкатился в желтом фраке золотой,
Хозяева среди столов забегали,
И повара поплыли над плитой.
И вот несут чешуйчатые звери
Архитектурные сокровища-блюдá.
И сказочное дефиле-еда
Едва проходит в золотые двери.
Вареные сирены с грудью женской,
Тритоны с перекошенным лицом,
Морские змеи бесконечной лентой
И дети, проданные их отцом.
И ты лежишь под соусом любови
С румяною картошкою вокруг
На деревянном блюде с изголовьем
Разваренных до пористости рук.
Стучит ножами разношерстный ад.
Танцует сердце, как лиловый заяц.
Я вижу: входит нож в блестящий зад,
Скрежещет вилка, в белу грудь втытаясь.
Я отрезаю голову себе.
Покрыты салом девичии губы,
И в глаз с декоративностию грубой
Воткнут цветок покорности судьбе.
Вокруг власы висят, как макароны,
На вилку завиваться не хотят.
Совсем не гнется кожа из картона.
Глазные груши точат сока яд.
Я чувствую: проглоченная спаржа
Вращается, как штопор, в животе.
В кишках картофель странствует, как баржа,
И щиплет рак клешнею в темноте.
Я отравился, я плыву средь пены,
Я вверх своей нечистотой несом,
И подо мною гаснет постепенно
Зловещий уголек — твой адский дом.
И в красном кубе фабрики над лужей
Поет фальшиво дева средь колес
О трудности найти по сердцу мужа,

О раннем выпадании волос.
А над ручьем, где мертвецы и залы,
Рычит гудка неистовый тромбон,
Пока штандарт заката бледно-алый
С мороза неба просится в альбом.
И в сумерках декабрьского лета
Из ядовитой и густой воды
Ползет костяк огромного скелета,
Перерастая чахлые сады.

ДОПОТОПНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АД

1

Зеленую звезду несет трамвай на палке.
Народ вприпрыжку вырвался домой.
Несовершеннолетние нахалки
Смеются над зимой и надо мной.

Слегка поет гармоника дверей,
В их лопастях запуталось веселье,
И белый зверь — бычок на новоселье —
Луна, мыча, гуляет на дворе.

Непрошеные мысли-новобранцы
Толпятся посреди казармы лет.
Я вижу жалкого ученика при ранце,
На нем расселся, как жокей, скелет.

Болтает колокольня над столицей
Развязным и тяжелым языком.
Из подворотни вечер бледнолицый
Грозит городовому кулаком.

Извозчики, похожие на фавнов,
Поют, махая маленьким кнутом.
А жизнь твоя — чужая и подавно —
Цветет тяжелым снеговым цветком.

Пускай в дыму закроет пасть до срока
Литературный допотопный ад!
Супруга Лота, не гляди назад,
Не смей трещать, певучая сорока.

2

Как лязгает на холоде зубами
Огромный лакированный мотор!
А в нем, едва переводя губами,
Богач жует надушенный платок.

Шагают храбро лысые скелеты,
На них висят, как раки, ордена.
А в небе белом белизной жилета
Стоят часы — пузатая луна.

Блестит театр золотом сусальным,
Ревут актеры, тыча к потолку,
А в воздухе, как кобель колоссальный,
Оркестр лает на кота-толпу.

И всё клубится ядовитым дымом,
И всё течет, как страшные духи,
И лишь во мгле, толсты и невредимы,
Орут в больших цилиндрах петухи.

Сжимаются, как челюсти, подъезды,
И ширятся дома, как животы,
И к каждому развязно по приезду
Подходит смерть и говорит на *ты*.

О нет, не надо, закатись, умри,
Отравленная молодость, на даче!
Туши, приятель, елки, фонари,
Лови коньки, уничтожай задачи.

О, разорвите памяти билет
На представленье акробатки в цирке,
Которую песок, глухой атлет,
Сломал в руках, как вазочку иль циркуль.

АНГЕЛЫ АДА

Алексею Арапову

Мне всё равно, я вам скажу, я счастлив.
Вздыхает ветер надо мной, подлец,
И солнце, безо всякого участья,
Обильно поливает светом лес.

Киты играют с кораблями в прятки,
А в глубине таится змей морской.
Трамваи на гору взлетают без оглядки.
И дверь стучит, как мертвецы доской.

А дни идут, как бубны арестантов,
Туда, где кладбище трефовое лежит,
Сидят цари, как толстые педанты,
Валеты держат палки и ножи.

А дамы — как красивы эти дамы!
Одна — с платком, соседняя — с цветком,
А третья — с яблоком, протянутым Адаму,
Застрявшим в глотке — нашим кадыком.

Они, шурша, приходят в дом колоды.
Они кивают с веера в руке.
Они приносят роковые моды —
Обман и яд в оранжевом чулке.

Шумят билетов шелковые юбки,
И золото звенит, как поцелуй.
Во мгле горят сигары, очи, трубки.
Вдруг выстрел! — как танцмейстер на балу.

Стул опрокинут. Черви уползают,
Преступник схвачен в ореоле пик,
А банкомет под лампой продолжает
Сдавать на мир зеленый цвет и пыль.

1926

МОРСКОЙ ЗМЕЙ

По улице скелеты молодые
Идут в непромокаемом пальто,
На них надеты башмаки кривые:
То богачи; иные — без порток.

А пред театром, где гербы, гербы,
Шкелет Шекспира продает билеты.
Подкатывают гладкие гробы,
На них валят белесые жилеты.

Скелеты лошадей бегут на скачках,
На них скелетыши жокеев чуть сидят.
Скелеты кораблей уходят в скачку.
Скелеты туч влачатся к нам назад.

На черепами выложенном треке
Идут солдаты, щелкая костьми.
Костями рыб запруженные реки
Остановились, не дождясь зимы.

А франты — бант, закрученный хитро,
Перчатки витиеватые — и вдруг
Зрю: в рукаве моем белесый крюк!
Ан села шляпа на нос, как ведро.

Болтаются ботинки на костяшках.
В рубашку ветер шасть навеселе.
Летит монокля на землю стекляшка.
Я к зеркалу бросаюсь: я — скелет!

Стою, не понимая; но снимает
Пред мною шляпу восковой мертвец.
И прах танцовщицы развязно обнимает
Меня за шею, как борца борец.

Мы входим в мавзолей автомобиля,
Где факельщик в цилиндре за рулем,
И мы летим средь красной снежной пыли,
Как карточная дама с королем.

Вот мюзик-холл... Неистовствуют дамы!
Взлетают юбок веера в дыму.
Разносят яства бесы с бородами,
Где яд подлит, подсыпан ко всему.

Охо! оркестр! закажите танец!
Мы водкою наполним контрабас.
Но лук смычка перетянул испанец,
Звук соскочил и в грудь его — бабац!

И вдруг из развороченной манишки
Полезли мухи, раки и коты,
Ослы, чиновники в зеленых шишках
И легионы адской мелкоты.

Скелеты музыкантов — на карачки,
И, инструменты захватив, обвив,
Забили духи в сумасшедшей качке,
Завыли, как слоны, как сны, как львы.

Скакали ноты по тарелкам в зале,
Гостей таская за усы, носы.
На люстру к нам, карабкаясь, влезали
И прыгали с нее на тех, кто сыт,

Запутывались в волосах у женщин,
В карманы залезали у мужчин.
Стреляли сами револьверы в френчах,
И сабли вылетали без причин.

Мажорные клопы кусали ноги.
Сороконожки нам влезали в рот.
Минорные хватали осьминоги
Нас за лицо, за пах и за живот.

Был полон воздух муравьями звуков.
От них нам было душно и темно.
Нас ударяли розовые руки
Котами и окороками нот.

И только те, что дети Марафона,
Как я, махая в воздухе пятой,
Старались выплыть из воды симфоний,
Покинуть музыкальный кипяток.

Но скрипки, как акулы, нас кусали.
Толкались контрабасы, как киты.
Нас били трубы — медные щиты.
Кларнеты в спину на лету вонзались.

Но всё ж последним мускульным броском
Мы взяли финиш воздуха над морем,
Где дружеским холодным голоском
Дохнул нам ветер, не желая спорить.

И мы, за голый камень уцепясь,
Смотрели сумасшедшими глазами,
Как волны дикий исполняли пляс
Под желтыми пустыми небесами

И как, блестя над корчами воды,
Вдруг вылетала женщина иль рыба
И вновь валились в длинные ряды
Колец змеи, бушующей игриво.

1925

ЗВЕЗДНЫЙ АД

Чу! Подражая соловью, поет
Безумная звезда над садом сонным.
Из дирижабля ангелы на лед
Сойдя, молчат с улыбкой благосклонной.

В тропическую ночь над кораблем
Она огнем зеленым загорелась.
И побледнел стоящий за рулем,
А пассажирка в небо засмотрелась.

Блуждая в звуках, над горой зажглась,
Где спал стеклянный мальчик в платье снежном,
Заплакал он, не раскрывая глаз,
И на заре растаял дымом нежным.

Казалось ей: она цветет в аду.
Она кружится на ночном балу.
Бумажною звездою на полу
Она лежит среди разбитых душ.

И вдруг проснулась: холод плыл в кустах,
Она сияла на руке Христа.

1926

PAYSAGE D'ENFER

Георгию Шторму

Вода клубилась и вздыхала глухо,
Вода летала надо мной во мгле —
Душа молчала на границе звука,
Как снег, упасть решившийся к земле.

А в синем море, где ныряют птицы,
Где я плыву — утопленник готов, —
Купался долго вечер краснолицый
Средь водорослей городских садов.

Переливались раковины-крыши,
Сгибался поезд, как морской червяк.
А выше, то есть дальше, ближе, ниже,
Как рыба, рыскал дирижабль-чудак.

Светились чуть медузы облаков,
Оспариваемые торопливой смертью.
Я важно шел походкой моряков
К другому борту корабля над твердью.

И было всё на малой глубине,
Куда еще доходит яркий свет.
Вот тонем мы, вот мы стоим на дне.
Нам медный граммофон поет привет.

На глубине летающего моря
Утопленники встретились, друзья.
И, медленно струясь по плоскогорью,
Уж новых мертвецов зовет заря.

Вода вздыхает и клубится тихо,
Как жизнь, что Бога кроткая мечта.
И ветра шар несется полем лихо,
Чтоб в лузу пасть, как письма на почтамт.

1926

ДОН КИХОТ

Сергею Шаршуну

Надо мечтать! Восхищаться надо!
Надо сдаваться! Не надо жить!
Потому что блестит на луне колоннада,
Поют африканцы и пропеллер жужжит.

Подлетают к подъезду одер Дон Кихота
И надушенный Санчо на красном осле.
И в ночи возникают, как стих, как икота,
Беспредметные скачки, парад и балет.

Аплодируют руки оборванных мельниц,
И торговки кричат голосами Мадонн,
И над крышами банков гарцует бездельник,
Пляшет вежливый Фауст, святой Купидон.

И опять на сутулом горбу лошадином,
В лунной опере ночи он плачет, он спит,
А ко спящему тянутся руки ундины,
Льются сине-сиреневых пальцев снопы,

На воздушных качелях, на реях, на нитках
Поднимается всадник, толстяк и лошак,
И бесстыдные сыплются с неба открытки
(А поэты кривятся во сне натощак).

Но чернильным ножом, косарем лиловатым
Острый облак луне отрубает персты.
И, сорвавшись, как клочья отравленной ваты,
Скоморохи валятся чрез ложный пустырь.

И с размаху о лед ударяют копыта.
Останавливаются клячи, дрожа.
Спит сиреневый полюс, волшебник открытый,
Лед бессмертный, блестящий, как белый пиджак.

В отвратительной неге прозрачные скалы
Фиолетово тают под ложным лучом,
А во льду спят замерзшие девы-акулы,
Шелковисто сияя покатым плечом.

И остряк-путешественник, в позе негибкой,
С неподвижным секстантом в руке голубой,
Сузив мертвый зрачок, смотрит в небо с улыбкой,
Будто Северный Крест он увидел впервой.

И на белом снегу, как на мягком диване,
Лег герой приключений, расселся денщик,
И казалось ему, что он в мраморной ванне,
А кругом орхидеи и Африки шик.

А над спящим всё небо гудело и выло,
Загорались огни, полз прожектора сноп,
Там летел дирижабль, чье блестящее рыло
Равнодушно вертел чисто выбритый сноб.

И смотрели прекрасные дамы сквозь окна,
Как бежит по равнине овальная тень,
Хохотали моторы, грохотали монокли,
И вставал над пустыней промышленный день.

1926

АРТУРУ РЕМБО

Никто не знает,
Который час,
И не желает
Во сне молчать.

Вагон левеет.
Поет свисток.
И розовеет
Пустой восток.

О! Приснодева,
Простите мне.
Я встретил Еву
В чужой стране.

Слепил прохожих
Зеленый газ.
Была похожа
Она на Вас.

Галдел без толку
Кафе-шантан,
И без умолку
Шипел фонтан.

Был полон Лондон
Толпой шутов.
И ехать в Конго
Рембо готов.

Средь сальных фраков
И кутерьмы
У блюда раков
Сидели мы.

Блестит колено
Его штанов,
А у Верлена
Был красный нос.

И вдруг по сцене,
По головам,
Подняв колени,
Въезжает к нам

Богиня Анна,
Добро во зле,
Души желанный
Бог на осле.

О день забытый...

С посудой битой
Людей родня,
Осел копытом
Лягнул меня.

Но знак удара
Мне не стереть
И от удава
Не улететь.

О дева, юный
Погиб твой лик.
Твой полнолунный
Взошел двойник.

Небес богиня,
Ты разве быль?
Я даже имя
Твое забыл.

Иду у крупа
В ночи белесой
С улыбкой трупа
И папиросой.

1926—1927

RONDEAU MYSTIQUE

Георгию Адамовичу

Священная луна в душе
Взойдет, взойдет.
Зеленая жена в воде
Пройдет, пройдет.

И будет на пустом морозе
Кровь кипеть,
На тяжкой деревянной розе
Птица петь.

Внизу вращается зима
Вокруг оси.
Срезает с головы сама
Сирень власы.

А с неба льется черный жар,
Мертвец сопит,
И падает на нос ножа
Актер, и спит.

А наверху кочует лед,
И в нем огонь,
И шелест золотых колод —
Рукой не тронь!

Прозрачный, нежный стук костей;
Там — игроки.
Скелеты с лицами гостей —
Там дно реки.

Утопленники там висят
На потолке,
Ногами кверху входят в сад
И налегке.

А выше — черный странный свет
И ранний час.
Входящий медленно рассвет
Из-за плеча.

И совершенно новый день,
Забвенье снов,
Как будто и не пела тень,
Бренча без нот.

DIES IRAE

Голубая модная Мадонна
Надевает соболя и бусы,
Покидает север беспардонный,
Улетает на аэробусе.

По оранжевой свинцовой туче
Алюминиевый крест скользит,
А влюбленный падает в падучей,
На дорожке парка егозит.

И поют сверкающие сферы,
С контрабасами крестов-винтов,
Над смешным цилиндром Агасфера,
Что танцует средь полярных льдов.

Пролетает совершенный голубь,
Гидроаэроплан Святого Духа,
Над водой лазурною и голой,
Как брачующаяся молодуха.

Абсолютный, совершенный, ложный,
Простирается воздушный путь
Освиставшего балет наложниц,
Избежавшего чудес и пут.

А внизу, где вывеска играла,
Где гремел рояльный автомат,
Рыцарь, тонкое подняв забрало,
Пил у стойки изумрудный яд.

И, с гармоникой четырехрядною,
В сапогах, в манишке колесом,
Пляшет дьявол, старый друг порядка,
С отвращением землей несом.

И, насмешливо потупив взоры
На оранжевые сапоги,
Стихотворные идут танцоры,
Человеческие враги.

И красавцы-черти на машинах,
На шарах, кивая с высоты,
Расточают молодым мужчинам
Розовые тихие цветы.

А бесстрашный мир глядит назад
И свистит, скользя и уплывая,
По лиловому асфальту в ад,
В преисподнюю шутя вливаясь.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНСЫ

А.Минчину

На вешалке висит печаль и счастье:
Пустой цилиндр и полное пальто.
Внизу сидит, без всякого участья,
Швейцар и автор, зритель и не то.

Танцуют гости за перегородкой.
Шумит рояль, как пароход, как лед.
И слышится короткий рев, короткий
Сон музыканта, обморок, отлет.

Застигнутые нотами робеют,
Хотят уйти, но вертятся, растут,
Молчат в сердцах, то фыркают, слабея,
Гогочут: раз мы в мире, ах, раз тут!..

И в белом море потолков, плафонов
Они пускают дым шикарных душ.
Заводят дочь, стихи и граммофоны,
В пальто и в университет идут под душ.

Потом, издавши жизнеописанье,
Они пытаются продать его комплект.
Садятся в сани, запрягают сами
И гордо отстраняют дым котлет.

И бодро отъезжают на тот свет...

В шикарной шубе, что швейцар плюгавый
Им подал за мизерный «на чаёк»,
Которую он сшил рукой лягавой,
Мечась страницы белой поперек.

Спеша исчезнуть, чтоб напоминаньем
Необъяснимым на странице всплыть,
Доподлинно счастливые сознаньем,
Что всё прошло, что всё устало быть.

1926

ЮНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ

Путешественник хочет влюбиться,
Мореплаватель хочет напиться,
Иностранец мечтает о счастье,
Англичанин его не хотел.

Это было в стране синеглазой,
Где танцуют священные крабы
И где первый, первейший из первых,
Дремлет в розовых нежных носках.

Это было в беспочвенный праздник,
В отрицательный, високосный
День, когда говорят о наборе,
В день, когда новобранцы поют

И махают своими руками,
Ударяют своими ногами,
Неотесанно голос повыся,
Неестественно рот приоткрыв.

Потому что над серою башней
Закружил алюминиевый птенчик
И над кладбищем старых вагонов
Полыхнул розовеющий дым.

Потому что военная доля
Бесконечно прекраснее жизни.
Потому что мечтали о смерти
Души братьев на крыше тайком.

А теперь они едут к невесте
В красной кофте, с большими руками,
В ярко-желтых прекрасных ботинках,
С интересным трехцветным флажком.

Хоть известно, что мир сепаратный
Заключили министры с улыбкой,
Хоть известно, что мирное время
Уж навеки вернулось сюда.

И прекрасно женат иностранец,
И навеки заснул англичанин,
Путешественник не вернется,
Мореплаватель мертв давно.

* * *

Безвозмездно, беспечно, бесправно,
Беззащитно гуляет мой сон.
Оттопырив короткие пальцы.
Отославши за борт котелок.

Он является зрелищем, равным
Лучшей фильме с количеством метров,
Превышающим хилую память,
Восхищающим шар паровой,

Важно входит в каюту бесправный.
Он садится и тонет со всеми.
Пробуждается в царстве подводном,
Мня, что прямо попал в мюзик-холл.

И опять улетает китаец.
И опять возникает испанец.
И опять рассуждает трактирщик.
И опять веселится еврей —

Вольным голосом с спорным акцентом,
С черным центом в немытой руке,
С отвратительным приват-доцентом
И с пощечиною на щеке.

* * *

Михаилу Решоткину

Отрицательный полюс молчит и сияет.
Он ни с кем не тягается, он океан.
Спит мертвец в восхитительном синем покое,
Возвращенный судьбой в абсолютную ночь.

С головой, опрокинутой к черному небу,
С неподвижным оскалом размытых зубов,
Он уже не мечтает о странах, где не был,
В неподвижном стекле абсолютно паря.

На такой глубине умирает теченье,
И слова заглухают от нее вдалеке.
На такой глубине мы кончаем ученье,
Боевую повинность и матросскую жизнь.

Запевает машина в электрической башне,
И огромным снопом вылетает огонь.
И с открытыми ртами оглохшие люди
Наклоняются к счастью совместно с судном.

И прожектор ложится на плоскую воду
И еще полминуты горит под водой.
Металлический дом, точно колокол духов,
Опускается тихо, звонит в синеве.

И айсберг проплывает над местом крушенья,
Как Венера Милосская в белом трико.

1927

ДОПОЛНЕНИЕ К «ДИРИЖАБЛЮ НЕИЗВЕСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ»

* * *

Друзья мои, природа хочет,
Нас не касаясь, жить и цвесть.
Сияет гром, раскат грохочет,
Он не угроза и не весть.

Сам по себе цветет терновник
На недоступных высотах.
Всему причина и виновник —
Бессмысленная красота.

Белеет парус на просторе,
А в гавани зажгли огни,
Но на любой земле над морем
С Тобой, подруга, мы одни.

В ночном покое летней дружбы
В горах над миром дальних мук
Сплети венок из теплых рук
Природе безупречно чуждой.

1925

* * *

Сияет осень, и невероятно,
Невероятно тонет день в тиши.
Счастливый дом наполнился бесплатно
Водою золотой моей души.

Сереют строчки, точно краткой мухи
Танцующие ножки набекрень.
Душа, едва опомнившись от муки,
Бестрепетно вздыхает теплый день.

Не удержать печаль в ее паденье,
Эшеров синий и ползучий дом.
Пронзителен восторг осенних бдений,
Пронзителен присест в совсем простом.

1925

* * *

Мы, победители, вошли в горящий город
И на землю легли. Заснули мертвым сном.
Взошла луна на снеговые горы,
Открыл окно сутулый астроном.

Огромный дым алел над местом брани,
А на горах был дивный холод ночи.
Солдаты пели, засыпая с бранью,
Лишь астрономы не смыкали очи.

И мир прошел, и лед сошел, и холод.
Скелет взглянул в огромную трубу.
Другой скелет сидел на камнях голый,
А третий на шелках лежал в гробу.

Запела жизнь в иных мирах счастливых,
Где голубой огонь звучал в саду.
Горели звуки на устах красивых,
В садах красивых и счастливых душ.

Так астроном убил дракона ночи,
А воин сосчитал на небе очи.

1925—1926

* * *

Жизнь наполняется и тонет
На дно, на дно.
И входит белый смех в хитоне —
Мертвец в окно.

Там ложно зеркало светает
В земной тюрьме
И лето в гости прилетает
К нагой зиме.

Стоит недвижно над закатом
Скелет весов,
Молчит со звездами на платье
Душа часов.

Кто может знать, когда луна
Рукою белой,
Как прокаженная жена,
Коснется тела.

В саду проснется хор цветов,
Ключ заблестит,
И соловей для темных слов
Во тьму слетит.

Огонь спускается на льдину
Лица жены.
Добро и зло в звезде единой
Сопряжены.

Вокруг нее сияют годы,
Цветы и снег,
И ночь вращается к восходу,
А солнце — к тьме.

Как непорочная комета
Среди огня,
Цари, невеста Бафомета,
Забудь меня.

1925–1926

* * *

Свет из желтого окна
Падает на твердый лед.
Там душа лежит, больна.
Кто там по снегу идет?

Скрип да скрип, ах, страшно, страшно.
Это доктор? Нет, чужой.
Тот, кто днем стоял на башне,
Думал с чашей золотой.

Пропадает в темноте.
Вновь метель с прохожим шутит,
Как разбойник на Кресте,
Головой фонарь покрутит.

И исчезнет, пробегая,
Странный свет в глазах больной,
Черный, тихий, — ожидает
На диване, — ледяной.

А она в бреду смеется,
Руку в бездну протянув,
То молчит, то дико бьется,
Рвется в звездную страну.

Дико взвизгнул в отдаленье
Черный гробовой петух.
Опускайтесь на колени —
Голубой ночник потух.

* * *

Возлетает бесчувственный снег
К полосатому зимнему небу.
Грохотание поздних телег
Мило всякому человеку.

Осень невесть откуда пришла,
Или невесть куда уходила,
Мы окончили наши дела,
Свет загасили, чтоб радостно было.

За двойным, нешироким окном
Зажигаются окна другие.
Ох, быть может, мы все об одном
В вечера размышляем такие,

Всем нам ясен неложный закон,
Недоверье жестокое наше.
И стаканы между окон
Гефсиманскою кажутся Чашей.

* * *

Померкнет день, устанет ветр реветь,
Нагое сердце перестанет верить,
Река начнет у берегов мелеть,
Я стану жизнь рассчитывать и мерить.

Они прошли, безумные года,
Как отошла весенняя вода,
В которой отражалось поднебесье.
Ах, отошел и уничтожен весь я.

Свистит над домом остроносый дрозд,
Чернило пахнет вишнею и морем,
Души въезжает шарабан на мост.
Ах, мы ль себе раскаяться позволим?

Себя ли позовем из темноты,
Себе ль снесем на кладбище цветы,
Себя ль разыщем, фонарем махая?
Себе ль напишем, в прошлое съезжая?

Устал и воздух надо мной синеть.
Я, защищаясь, руку поднимаю,
Но, не успев на небе прогреметь,
Нас валит смех, как молния прямая.

* * *

Вячеславу Иванову

Идет твой день на мягких лапах,
Но я не ведаю, смеюсь.
Как тихий звук, как странный запах,
Вокруг меня витает жуть.

О мстительница! Долго, долго
Ты ждешь наивно и молчишь.
Так спит в снегу капкан для волка
И тихо вьется сеть для рыб.

Поет зима, как соловей,
Как канарейка, свищет вьюга.
Луна восходит, а правей
Медведица подходит с юга.

И сытый мир счастливый Твой
Не знает, что уже натянут
Прозрачный лук над головой,
Где волосы еще не вянут.

Иль, может быть, через эфир,
Как песня быстрая о смерти,
Уже стрела кривую чертит
По кругу, где стоит цифирь.

* * *

Как человек в объятиях судьбы,
Не могущий ни вырваться, ни сдаться,
Душа находит: комнаты грубы,
Гробы — великолепные палаццо.

Вертается умерший на бочок,
Мня: тесновато. Вдруг — в уме скачок,
Удар о крышку головою сонной
И крик (так рвутся новые кальсоны).

Другой мертвец проснуться не желал
И вдруг, извольте: заживо схоронен!
Он бьет о доску нежною ладонью
И затихает. Он смиреет. Тонет.

И вот отравный дух — втекает сон,
Ширеет гробик, уплывает камень.
Его несет поток, как пылесос,
Крутят его, как повара, руками.

И вот сиянье — то небесный град.
Лучи дрожат, текут и радужатся.
Сквозь их снопы — сто световых преград —
Плывет лежащий, чтоб под звуки сжаться,

А вверх и вниз, навстречу и кругом
Скользят аляповато кирасиры,
Какие-то плащи, венцы, огонь,
А сам он тоже ангел, но в мундире.

* * *

Три раза прививали мне заразу.
Зараз-то сколько. Не могли зараз!
Хотели сделать меченую расу.
Я на террасу, ан с террасы. Класс!

Мне было девять, но я не был девий.
Теперь дивись. Под шкапом удавись.
Я жду в аду (в раю что делать Еве?).
Что делать! — мой испытанный девиз.

Но чу — звонят. Я не могу понять!
Ты входишь, панна! Я не понимаю!
Что на тебя, что на судьбу пенять.
В губу пинать тебя нельзя, немая.

Я разнимаю рукава минут.
Минуть бы! Но уж ты упомянута.
Вы, собеседника пытаясь обмануть,
Его целуете случайно, фу-ты! ну-ты!

1925

* * *

Небытие — чудесная страна.
1923

Тэнэбрум марэ — море темноты.
Пройдя пролив чернила, мы в тебе.
Две каравеллы наши — коровёнки две.
О средства передвиженья бедноты!

О беспредметной бури вялый шум!
Мы видим дно — вдали, вдали под нами.
Мы в пустоте, но — валимся. Пляшу,
Конь невидимый, чёрт меж стременами.

Но ох, мы тонем, о-о-ох, летим.
Бесцветный воздух надувает парус.
На парашюте нам не по пути.
Вновь мы на море, моря над — о ярость!

Летят утопленники в море пустоты.
В тэнэбрум марэ — море темноты.

* * *

Михаилу Решоткину

Глубокий холод окружает нас.
Я как на острове пишу: хочу согреться,
Но ах, как мысли с головы на сердце, —
Снег с потолка. Вся комната полна.

Я превратился в снегового деда.
Напрасно спорить. Неподвижность. Сплю,
А сверху ходят, празднуя победу,
Морозны бесы, славный духов люд.

Но знают все: замерзшим очень жарко.
Я с удивлением смотрю: песок, и сквозь песок —
Костяк и череп, челюсть и висок.
Я чувствую: рубаха как припарка.

Идет в пыли, качаясь, караван.
Не заболеть бы, ох, морской болезнью.
Спина верблюда — не в кафе диван.
Дремлю, ведь сна нет ничего полезней.

Ток жара тычет в спину. Больно. Шасть,
Приподымаюсь: над водою пальмы
Качаются, готовые упасть.
Заспался в лодке, в воду бы, но — сальный

Плавник вдруг треугольный из воды —
Акула это, знаю по Жюль Верну.
Гребу на берег, где на все лады
Животные кричат. Но ах, неверно:

Он изменяется, он тает, он растет,
Он — белый камень. Айсберг недоступный.
Смотрю: не лодка — самодельный плот,
Сидит матрос, к нему бросаюсь: труп.

* * *

Как розовеет мостовой гранит
От тихого от мокрого дождя
Мне явствует пылание ланит
При объясненье или обождя

Ползет неотвратимая щекотка
От переносицы до глаза далеко ль
Слеза клокочет и кудахчет в глотке
И прочь течет как синий алкоголь.

Так мы бушуем в дорогом стакане
Так тонем мы и так идем на дно
Потом вы достаете нас руками
Кладете на ладонь нам всё равно

Вы дуете огромными устами
А вот вам надоело, вы устали

Мы падаем на каменный паркет
Метла играет с нами во крокет

Как объяснение несет несет несет
Как огорчение трясет трясет трясет

Мы вылетаем в мусорную кучу
Но мы не умираем мы живучи

Вновь поутру я сору сор реку
Вот солнышко любви кукареку

Птенец захлопаем куриными крылами
Которыми мы сродны со орлами

Как мостовой пылающий гранит
С зеленым яблоком твоих ланит.

* * *

Человек очищается мятою сна
Он как платье светлеет в воде и на солнце
Он чернее как чопорная весна
Рвется он точно розовый ситец кальсон

Он цветет (он подчас незаметно растет)
Как воздушного шара резиновый горб
Он трещит как мотор он свистит как свисток
Улетает на юго юго юго восток

Подымаясь высоко над шишками гор
Нет опасности для «Бо смертнаго Жива»
Но проколот незримо аэростат
Уменьшается падает в воду и живо
Утопает у каменных палок моста
Утвердительный и нежный

А потом очищается мятою сна
Он светлеет как платье в воде и на солнце
Чтоб опять (точно розовый ситец кальсон)
Почернеть (всё занашивает весна).

Март 1926

* * *

Было странно с моей стороны
Ничего не спросить у Луны
Пустых звуков не звать у стола
В тихий час восходящего зла

* * *

Хитро пала на руки твои
Подозрительная тишина

* * *

Как медаль на шее у поэта
Как миндаль на дереве во рту
Белое расстегнутое лето
Поднималось на гору в поту

* * *

Летит луна бесшумно по полям
Заглядывает в окна бесполезно
Душа разорванная пополам
Тоскует сонно сухо и бесслезно

* * *

Розовело небо, холодело,
Ранний час был дик, как иностранец.
На земле молиться надоело,
Над холмом возник жестокий глянец.

1926

* * *

Не буффонаду и не оперетку,
Но нечто хилое во сне, во сне
Увидела священная кокетка,
Узрела в комфортабельной тюрьме.

Был дом силен и наглухо глубок,
А на чердачном клиросе, на хорах
Во тьме хихикал черный голубок
С клешнями рака и глазами вора.

И только мил хозяин белобрыс,
Продрав глаза, тянулся сонно к фторе.
Длиннейшей лапой домовая рысь
Его за шиворот хватала, он не спорил.

И снова сон храпел, сопел, вонял
И, бесконечным животом раздавшись,
Царил, все комнаты облапив, всё заняв,
Над теми, что заснули, разрыдавшись.

И долго дива, перьями шурша,
Заглядывая в стекла, билась пери,
Пока вверху от счастья антраша
Выкидывал священный рак за дверью.

* * *

Бездушно и страшно воздушно,
Возмутительно и лукаво
Летает стокрылое счастье.
В него наливают бензин.

На синее дерево тихо
Влезает один иностранец.
Он машет тоненькой ручкой.
Арабы дремлют внизу.

Они танцевали, как мыши,
Обеспеченные луною,
Они оставались до бала,
Они отдавались внаём.

И было их слишком мало,
И было их слишком много,
Потому что поэтов не больше,
Не больше, чем мух на снегу.

* * *

А.С.Гингеру

Синий, синий рассвет восходящий,
Беспричинный отрывистый сон,
Абсолютный декабрь, настоящий,
В зимнем небе возмездье за всё.

Белый мир поминутно прекрасен,
Многолюдно пустынен и нем,
Безупречно туманен и ясен,
Всем понятен и гибелен всем.

Точно море, где нежатся рыбы
Под нагретыми камнями скал,
И уходит кораблик счастливый,
С непонятным названьем «Тоска».

Неподвижно зияет пространство,
Над камнями змеится жара,
И нашейный платок иностранца
Спит, сияя, как пурпур царя.

Опускается счастье, и вечно
Ждет судьбы, как дневная луна.
А в тепле глубоко и беспечно
Трубы спят на поверхности дня.

* * *

Он на́ землю свалился, оземь пал,
Как этого хотел весенний вечер,
Как в это верил царь Сарданапал.
Как смел он, как решился, человече!

Как смел он верить в голубой пиджак,
В оранжевые нежные ботинки
И в синий-синий галстук парижан,
В рубашку розовую и в штаны с картинки!

Цвело небес двуполое пальто,
Сиреневые фалды молча млели,
И кувыркалось на траве аллеи
Шикарное двухместное авто.

И, кажется, минуты все минули.
Качнулся день, как выпивший холуй,
И стало что-то видно, будто в дуле,
В самоубийстве или на балу.

Качнулся день и вылетел — и вышел
Я к дому своему, как кот по крыше.

ART POÉTIQUE

Александру Самсоновичу Гингеру

Поэзия, ты разве развлеченье?
Ты вовлеченье, отвлеченье ты.
Бессмысленное горькое реченье,
Письмо луны средь полной темноты.

Он совершен, твой фокус незаметный,
И шасть летит сквозь мокрые леса
Стон Филомелы, глас зари ответный,
Что шевелит камышины сердца.

Седалище земного Аполлона,
Душа почит в холодном шутовстве,
В огромном галстуке, в парах одеколона,
С ущербным месяцем на каменном лице.

Но вот летят над подлецом идеи,
Он слушает с прищуренным лицом.
Как режиссер, что говорит с борцом,
Закуривает он кредиткой денег.

Слегка идет, почесывая бланк,
Наполовину спит в иллюзионе,
Где Чарли Чаплин и Дуглас Фербанкс
В экране белом ходят, как в хитоне.

Заходит в писотьер, в публичный сад.
Ползет вперед, потом спешит назад
И наконец вытаскивает фишку.
Все падают и набивают шишку.

И подают пальто их благородью...
С немытыми ногами слон в хитоне,
Он смутно движется к жилищу Гесперид,
Запутываясь в фалдах, в смехе тонет,
Изнанкою являя жалкий вид.

Извержен быть от музыки, отвержен,
Он хмуро ест различные супы.
Он спит, лицом в холодный суп повержен,
Средь мелких звезд различной красоты.

1925—1931

* * *

Я яростно орудовал платком
Был страшный насморк и к тому же слёзы
И яблоки катились над лотком
Как мокрые коричневые розы

Так совершенно одинок холуй
Что даже не умеет жить как барин
Развязно ест воздушную халву
И отдувается (ну впрямь сейчас из бани)

(Дышали подворотни как киты
Земным эпилептическим весельем
И души мертвых мягкие скоты
Летали в гости и на новоселье)

Признайся, пери! нет тебя в живых!
Ты так как я притворно существуешь
Не опуская голову танцуешь
Не поворачивая головы.

Шикарный день расселся в небеси
На белых белых шелковых подушках
(Ты тихо ешь шикарная пастушка
Мое лицо с кружками колбасы)

* * *

Пришла в кафе прекрасная Елена.
Я нем; все неподвижны; нем гарсон.
Елена, Ты встряхнула мертвый сон,
Воскресла Ты из небытия тлена.

Я с подозрением поцеловал висок.
Но крепок он. Но он не знает тлена.
Мешает стол мне преклонить колена.
Но чу! Оружие стакану в унисон.

Изменника я войсковой оплот,
Вздымаю стул; но вдруг проходит год —
Смотрю кругом: не дрогнула осада.

О Троя, что́ ж погибнет Ахиллес?!.
Но вот Улисс; он в хитру лошадь влез.
Иду за ней, хоть умирать досада.

* * *

Томился Тютчев в темноте ночной,
И Блок впотьмах вздыхал под одеялом.
И только я, под яркою луной,
Жду, улыбаясь, деву из подвала,

Откуда счастье юное во мне,
Нелепое, ненужное, простое,
Шлет поцелуи городской луне,
Смеется над усердием святого,

В оранжевых и розовых чулках
— Скелет и Гамлет, Делия в цилиндре —
Оно танцует у меня в ногах,
На голове и на тетради чинно.

О муза, счастье, ты меня не знаешь,
Я, может быть, хотел бы быть святым,
Растрачиваешь жизнь и напеваешь
Прозрачным зимним вечером пустым.

Я, может быть, хотел понять несчастных,
Немых, как камень, мелких, как вода,
Как небо, белых, низких и прекрасных,
Как девушка, печальных навсегда.

Но счастие не слушалось поэта —
Оно в Париже проводило лето.

* * *

Напрасным истреблением страстей
Мы предавались на глазах гостей.
Они смеялись, жались, забивались,
Нас покидали и не возвращались.

Был темен вечер той последней встречи,
И дождь летел со скоростью картечи.
Но ты, нескромно прежде весела,
Хотела тихо встать из-за стола.

1926

* * *

Я люблю, когда коченеет
И разжаться готова рука
И холодное небо бледнеет
За сутулой спиной игрока.

Вечер, вечер, как радостна вечность,
Немота проигравших сердец,
Потрясающая беспечность
Голосов, говорящих: конец.

Поразительной тленностью полны,
Розовеют святые тела
Сквозь холодные, быстрые волны
Отвращенья, забвенья и зла.

Где они, эти лунные братья,
Что когда-то гуляли по ней?
Но над ними сомкнулись объятья
Золотых привидений и фей.

Улыбается тело тщедушно,
И на козырь надеется смерд.
Но уносит свой выигрыш — душу —
Передернуть сумевшая смерть.

* * *

Александру Гингеру

Александр строил города в пустыне,
Чтил чужие вина и богов.
Память, чай, его жива поныне.
Шел и не снимал сапог: без сапогов.

Александр был провинциал тщедушный,
С толстой шеей набок и белком навыкат.
Александр был чудак великодушный,
Илиаду под кирасой мыкал.

Вспыльчивый и непомерно добрый,
Друг врагу, он в друге зрел врага.
В снежных скалах на морозе твердом
Нес безумного солдата на руках.

Если не считать пороков неких,
Тела слабости, судьбы, ее щедрот,
Есть похожие на Бога человеки,
Тезки неки. Славен этот род.

1925—1931

* * *

Маляр висит на каменной стене
И видит жизнь несется торопливо
Идет насупившись [нрзб.] кичливый
И скромный нищий близкий к истине

Ползет небес пятнистый леопард
Подстерегая злобно нашу немощь

Как трудно быть поэтом в этом мире
Где всё поэзия и места нет стихам
Оркестра сладкий рев, стотрубый гам
Пробить ли треньканием лиры.

* * *

За жалкою балкой балкон тишины
За коротким углом недостаток кофейни
Чу бросилось с первого тело жены
И входит к второму душа откровенно

На сад-подхалим невозможно надеяться
Знаком его почерк и игры вничью
Хотя не пристало ему чародею
Видит ангелов давеча или воочию

Окружило меня многоточие снов
Окружная дорога летательных сов
Запрядная берлога больших голосов
О труба граммофона отцов и сынов

Будет п . . . . . .
Вед . . . . . .

* * *

Лицо в окне висит, стоит, лежит,
Лицо в окне танцует неподвижно,
Как белая луна в ведре воды,
Как мертвый кот на мостовой булыжной.

Лицо в окне кому принадлежит,
Кому необходимо или мило?
Лицо в окне положено — лежи.
Ты потемнело, так покройся мылом

Величественно жалко и легко.
Лицо слегка белеет неподвижно,
Беспечно высоко и далеко
Над белой чистою страницей книжной.

Над черной грязною страницей жизни.

* * *

Ты в полночь солнечный удар,
Но без вреда.
Ты в море серая вода,
Ты не вода.
Ты в доме непонятный шум,
И я пляшу.
Невероятно тяжкий сон.
Ты колесо:
Оно стучит по камням крыш,
Жужжит, как мышь,
И медленно в огне кружит,
Во льду дрожит.
В безмолвии на дне воды
Проходишь Ты —
И в вышине, во все сады,
На все лады.
И этому леченья нет.
Во сне, во сне
Течет сиреневый скелет
И на луне
Танцует он под тихий шум
Смертельных вод.
И под руку я с ним пляшу,
И смерть, и чёрт.

* * *

Как черный цвет, как красота руки,
Как тихое поскребыванье страха,
Твои слова мне были велики —
Я растерял их, молодой неряха.

Не поднимайте их, они лежат
На грязном снеге, на воде страницы,
Слегка блестят на лезвии ножа,
В кинематографе сидят, чтоб веселиться.

А здесь, внизу, столпотворенье зол,
Деревьев стон и перекресток водный,
Где ядовитый носится озон,
Опасный дух, прекрасный и холодный.

Горбясь в дожде, в паноптикум иду,
Пишу стихи и оставляю дома,
Как автомат, гадающий судьбу —
Автоматический рояль не заведенный.

* * *

Вознесися, бездумный и синий,
Подымися, холодный и свой,
Под кружащийся в воздухе иней
Над дубовою головой.

Иностранец балуется пышно.
Он шикарно живет у других,
Но гуляет легко и неслышно
Смерть евонная, сняв сапоги.

Это жесткое пламя мечтаний.
Это желтое поле тоски.
Наклоняется жизнь: «До свиданья» —
И снимает тебя, как носки.

* * *

Ты говорила: гибель мне грозит,
Зеленая рука в зеленом небе.
Но вот она на стуле лебезит,
Спит в варварском своем великолепье.

Она пришла, я сам ее пустил.
Так вспрыскивает морфий храбрый клоун,
Когда, летя по воздуху без сил,
Он равнодушья неземного полон.

Так воздухом питается пловец,
Подпрыгивая кратко над пучиной.
Так девушкой становится подлец,
Пытаясь на мгновенье стать мужчиной.

Так в нищенском своем великолепье
Поэзия цветет, как мокрый куст,
Сиреневого галстука нелепей,
Прекрасней улыбающихся уст.

ЧЕЛОВЕКОУБИЙСТВО

Уж ночи тень лежала на столе
(Зеленая тетрадь с знакомым текстом).
Твой взгляд, как пуля, спящая в стволе,
Не двигался; ни на слово, ни с места.

Судьбой ли был подброшен этот час,
Но в нищенском своем великолепье
Рос вечер, ширились его плеча.
(Дом становился от часу нелепей.)

Но руки протрезвились ото сна
И, разбежась, подпрыгнули к роялю.
В окно метнулась грязная весна —
В штанах, с косой, но мы не отвечали.

Удар по перламутровым зубам,
Прозрачной крови хлест в лицо навылет.
Из ящика пила взвилась к гробам —
Толкается, кусается и пилит.

Летят цветы за счастье, за доску,
И из жерла клавирного, из печи
Прочь вырываются, прокляв тоску,
Отрубленные головы овечьи.

Выпрыгивают ноги в добрый час.
Выскальзывают раки и клешнею
Хватают за нос палача-врача,
Рвут волосы гребенкой жестяною

И снова отвращаются назад,
Назад стекают, пятясь в партитуру,
Пока на красных палочках глаза
Листают непокорную халтуру.

Но вдруг рояль не выдержал, не смог,
Подпрыгнул и слоновыми ногами
Ударил чтицу, животом налег,
Смог наконец разделаться с врагами

И грызть зубами бросился дугой —
Взлетела челюсть, и клавиатура
Вошла в хребет с гармонией такой,
Что содрогнулась вся архитектура.

Выплевывая пальцы, кровь меча,
На лестницу ворвалось пианино,
По ступеням слетело, дребенча,
И вырвалось на улицу, и — мимо.

Но было с нас довольно. Больно с нас
Стекали слезы, пот и отвращенье.
Мы выползли в столовую со сна.
Не мысля о погоне, ни о мщенье,
Мы выпили паршивого вина.

2.07.1926

МУЗЫКАНТ НИПАНИМАЛ

Скучающие голоса летали,
Как снег летает, как летает свет,
Невидный собеседник был согласен
(За ширмами сидели мудрецы).

А музыкант не нажимал педали,
Он сдержанно убийственно ответил,
Когда его спросили о погоде
В беспечных сверхъестественных мирах.

Как поживают там его знакомства,
Протекции и разные курорты
И как (система мелких одолжений)
Приходит вдохновение к нему.

А за роялью жались и ревели
Затравленные в угол духи звука,
Они чихали от шикарной стужи,
Валящей в белый холодильник рта.

Они летали, пели, соловели.
Они кидались, точно обезьяны,
Застигнутые пламенами снега,
Залитые свинцовою водой.

И медленно валились без изъяна
В оскаленные челюсти рояля.
В златых зубах жевались на убой.

О муза зыка! музыки корова!
Какая беспощадность в сей воздушной
Бездушной гильотине танцовщице,

Которая рвалась, не разрываясь,
В блестящих деснах лаковых лилась,
Вилась впотьмах, валила из фиала
И боком пробегала, точно рак.

1926

* * *

Увы, любовь не делают. Что делать?
Необходимо для большой ходьбы
Любить вольно́. Но ведь любовь не дело.
Мы в жизни — как поганые грибы.

Мы встретились случайно в кузовке.
Автомобиль скакнул, дрожа всем телом,
И прочь побег, как будто налегке.
А мы внутри своим занялись делом.

Смотрела Ты направо. Я — туда ж.
Смотрел направо я — и Ты за мною.
Медведь ковра к нам вполз, вошедши в раж.
Я за руку его. Ты за руку рукою.

Но мы потом расстались,
Условившись встречаться ежедневно...
Грибы поганые, нас выбросили гневно
Обратно в жизнь, не сделавши вреда.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПИСАРЯ

Таинственно занятие писца.
Бездельничает он невероятно.
От счастья блеет — хитрая овца,
Надеется без устали бесплатно.

Он терпеливо предается сну
(С предателями он приятель первый),
Он спит и видит: чёрт унес весну
И заложил, подействовав на нервы.

Потом встает и — как луна — идет,
Идет по городу распутными ногами,
Купается в ручье, как идиот,
Сидит в трамвае, окружен врагами,

И тихо, тихо шевелит рукой —
Клешнею розовою в синих пятнах,
Пока под колесом, мостом, ногой
Течет река беспечно и бесплатно.

И снова нагло плачет. Как он смел
Существовать, обиднейший из раков,
И, медленно жуя воздушный мел,
Слегка шуршать с солидностью дензнака?

А он жужжит и жадно верещит,
Танцует, как холеная собака,
Пока кругом с вопросом на руках
Сидят враги в ужасных колпаках.

КЛИО

Увы, бегут Омировы преданья,
Ареевы решительные сны,
Улиссовы загробные свиданья,
Еленины волосные волны.

Всё это будет, не приподнимаясь,
Не возмущаясь, уплывать туда,
Туда, где, руки белые ломая,
Танцует сон неведомо куда.

Беспочвенно, безветренно, бесправно
Падет твоя рука на крупный дождь, —
И будет в мире тихо, благонравно
Расти пустая золотая рожь,

Скакать года, как воробьи над калом,
И раки петь — сюда, балда, сюда,
Где изумрудный яд на дне бокала
Танцует, не предчувствуя вреда.

* * *

Я Вас люблю. Любовь — она берется
Невесть почто, а Вы какой-то бог.
Я падал об землю; но ох! земля дерется.
Коль упадешь, шасть в глаз, в адамов бок.

Оставил я валяние злодея
И шасть летать, но — ох! — лета, лета
Не позволяют мне: я молодею.
Спешит весна. Та ль? О, не та, не та,

Что некогда. Но — некогда! Стенаю:
Стена я, говорит судьба; но — ба! —
Я расставляю знаки препинанья
И преткновенья — гибели — слова.

Моей любви убийственны романы.
С романом чай, с ромашкой чай? Не то.
Но пуст карман. Я вывернул карманы
Жилета, и тужурки, и пальто.

Вы всё ж такая. Каюсь: где! где! где!
Слова найти — ти-ти, та-та, ту-ту?
Встаю на льду, вновь падаю на льде,
Конькам судьбы доверивши мечту.

* * *

О неврастения, зеленая змея,
Что на углу виется в мокром дыме,
Тобою в лоб укушена фантазия,
Она мертва, хотя и невредима.

Зеленые, зеленые дома,
Где белый воздух, молоку подобный,
И коридор ползучий, как роман,
Зал без дверей, для танцев неудобный.

1925

* * *

Кто любит небо, пусть поднимет руку,
Ему помашет. Не медлит ответ.
Кто любит море, пусть пошлет привет —
Узнает голос дорогой по звуку.

Кто сдался, воин, в невозвратный плен,
Пусть слово скажет — он свободен снова,
И кто железом жарким ослеплен,
Увидит снова небеса от слова.

И даже тот, кто, умерши в грехах,
Сойдет в огонь и из огня попросит,
Восхищен будет в сад на облаках
Рукой, что всё свергает и возносит.

И даже тот, кто сам покинул твердь
Для быстрых снов и медленной работы,
Узрит, как дочь безропотная Лота,
Спокойный сон, обилие и смерть.

* * *

На столе золотая монета
Мне казалась твоею душой.
Я глаза закрываю от света
Дланью белой и в меру большой.

Ох, быть может, последнее утро
Мы с тобой расстаемся спеша.
Эту запонку из перламутра,
Это кресло запомнит душа.

Ох, любимая, позднею ночью
Ты во сне прибываешь сюда.
Я восхи́щен, я вижу воочию
Смерть (и с ней говорю без труда),

Жизнь пустую и безмятежную,
Бога близко, надежды вдали,
Но неложные чары земли
Шасть — влекут меня в комнату прежнюю.

* * *

О струнной сети нежность! о полон!
Я молод был, и я пылал, как сено,
Когда впервые ранил Аполлон
Меня, увы, не над брегами Сены.

Большая и богатая семья
Бранилась и не занималась мною.
И бесполезно школьная скамья
Меня терзала мудростью земною.

Но я в тригонометрии любви
Уже сдавал последние зачеты.
Пел нежный хор, пел нежный жар в крови,
И был у сверстников в указе и почете.

В себя я верил, а теперь я верю ль?
Подруги ждал — теперь увы ли жду.
И, закрываясь аккуратно дверью,
Я забываю дружбу и вражду.

ДОМИК В БУТЫЛКЕ

Вам, милая, почто существовать,
Ан донной быть: сей промысел в упадке.
Кумиры безработны, мало ль вас —
Я вижу вас в трактире срок некраткий.

Вон жрет Иисус орешки земляные,
Пьет вино Магомет — нельзя вино,
И в шашки режутся святители иные,
Что лампы как блестят под ногтем их.

Ан молния на вешалке висит,
И бог рычит из телефонной будки,
А у дверей соседней с ней закутки
Большая лира, прислонясь, стоит.

И вы сидите, красоты исчадье,
Сквозь дым слегка блестит ваш черный глаз.
Счастливая, о хилая Оркадия,
Где кофе пьют некрепкое средь нас.

Се духи — мухи со горы Парнас —
Желанны и смешны, как ананас.

* * *

Я пред мясной где мертвые лежат
Любил стоять, хоть я вегетарьянец.
Грудная клетка нечистию сжата
Ползет на щеки нестерпим румянец.

Но блага что сжирает человек
Сего быка с мечтательной подругой
Запомнит он потом на целый век
Какою фауне обязан есть услугой.

Хотя в душе и сроден мне теленок
Я лишь заплакал в смертный час его.
Здоровый конь не тронет до сего
Лишь кони умирающие конок.

Благословен же мясника топор
И острый нож судьбы над грудью каждой.
Ведь мы любви не знаем до тех пор
Как умирающий воскликнет «жажду!»

* * *

Я чистил лошадь в полутьме двора.
Лохматый пес, почувствовав вора,
Ко мне бросался, громыхая цепью.
Туман клубился медленно над степью.

Дымилась станция, как пароход,
Но, утомленный за дневной поход,
Спал крепким сном драгунский эскадрон:
Солдат, судьбе покорный, не мудрен.

И только я, сквозь слёзы о махорке,
Смотрю, романтик, на звезду над горкой.

И сколько раз, среди труда иль снов,
Как будто ветер заревет, и вновь
Вдали неверно запоет труба
И тронет руку лошади губа.

* * *

О.Каган

Была душа отчаянья полна,
Несбыточные плача сны земли.
Я вижу вдруг: от берега волна
Несет игрушечные корабли.

Они ломали тоненький ледок,
Меняли курс, когда менялся ветер.
На круглый, круглый я набрел прудок —
Кругом стояли старики и дети.

Но ох! среди игрушечного моря
Бежит фонтан, и под его струи
Корабль, ребенку причиняя горе,
Роняет долу паруса свои.

И будет он беспомощен под хлябью,
Пока за ним, как и за нами, о,
Как и за теми, что пестрят над рябью,
Приходит тот, кто дал внаймы его.

* * *

Коль колокол колчан чан этот круглый чан
Вдруг друг ли отвечали сгоряча
Испуг ли лили олова на угли
Не отвеча смотрели... Трель свеча

Дрель ель ли часто но не осторожно
Сторожку в помутневшем том ведре
Том целый шли пиша рукой нарочно
Каму не надо. (Если надо... вре.)

О были выли, били, мыли мало
То были бельевые времена
Хромаю... Мало ль сколько шли все на
В довольствии ни разу не хромаю

В начале коль но коль ты кол о кол
Ты колокол тебя рабы качали
И били было в самошнем начале
Разбили мало ль этих мы стекол

Что звали с нами... Не до пустяков.

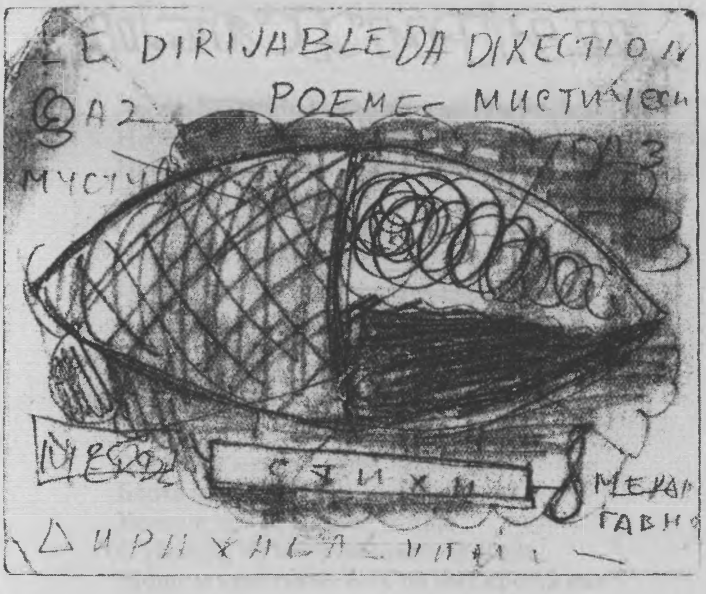
1925

* * *

Лесничий лестницы небесной Ты не без
Небес отличия. Несправедливый орден
Неисправимый но заправский ордер
Завеса ты но всуе о Зевес
Один какой счастливою рукой
Пристали козыри. Ах женщина пристала
Порукой быть рекою о рек кой
Пристало быть податливым металлом
Иду по лестнице Иакова двояко
Надземная машина не спешит
Вояка шасть на яка всадник яко
А пеший? Правда есть куда спешить.
Вздыхает метко <нрзб.>, смекает
Блоха я съешь на сколько беготни
Козел я зол я головой мотаю
О Немочь не могу не иметь мошны
Мощны крестьяне хоть на них креста нет
Ощерится священник — не щерись.
А чуб до губ но от губы не станет
Оставит для нелепых фельдшериц
Для снисходительных и ловких падчериц
Поэты медицинский персонал
Немалые больницы над каналом
То мочите клиента по началу
Потом она же а потом она же
Мы клеили любови картонажи.

1925

ШИРИЭСАБЛЬ
ОСАТАНЕЛ


DIRIJABLE DA DIRECTION
POEMES МИСТИЧЕСКИ
СТИХИ

* * *

Я шаг не ускоряю сквозь года,
Я пребываю тем же, то есть сильным,
Хотя в душе большие холода,
Охальник ветер, соловей могильный.

Так спит душа, так — лошадь у столба,
Не отгоняя мух, не слыша речи...
Ей снится черноглазая судьба,
Простоволосая и молодая вечность.

Так посредине линии в лесу
На солнце спят трамвайные вагоны,
Коль станции — большому колесу —
Не хочется вертеться в час прогона.

Течет судьба по душам проводов,
Но вот — прорыв; она блестит в канаве,
Где мальчики, не ведая годов,
По ней корабль пускают из бумаги.

Я складываю лист — труба и ванты.
Еще раз складываю — борт и киль.
Плыви, мой стих, фарватер вот реки,
Отходную играйте, музыканты!

Прощай, эпическая жизнь.
Ночь салютует неизвестным флагом.
И в пальцах неудачника дрожит
Газета мира с траурным аншлагом.

* * *

Лицо судьбы доподлинно светло,
Покрытое веснушками печали,
Как розовое тонкое стекло
Иль кружевное отраженье шали.

Так в пруд летит ленивая луна,
Она купается в холодной мыльной пене,
То несказаемо удивлена,
То правдой обеспечена, как пенье.

Бормочет совесть, шевелясь во сне,
Но день трубит своим ослиным гласом,
И зайчики вращаются в тюрьме —
Испытанные очи ловеласов.

Так бедствует душа в моем мешке,
Так голодает дева в снежной яме,
Как сноб, что спит на оживленной драме,
Иль чёрт, что внемлет на ночном горшке.

1925

* * *

Шасть тысячу шагов — проходит жизнь.
Но шаг один — одна тысяченожка.
О сон (как драпать от подобных укоризн?),
Борцову хватку разожми немножко.

Пусть я увижу (знамо ль что и как),
Но вовне всё ж. Ан пунктик в сём слепого.
Быть может, в смерть с усилием — как... как...
Мы вылезаем (ан, возможно, много).

Огромная укромность снов мужей,
Ан разомкнись (всю ль жизнь сидеть в сортире).
Стук рядом слышу вилок и ножей,
Музыку дале: жизнь кипит в квартире.

(Звенит водопроводная капель.)
Но я в сердцах спускаю счастья воду
И выхожу. Вдруг вижу: ан метель!
Опасные над снегом хороводы.

1925

СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ

На фронте радости затишие и скука,
Но длится безоружная война.
Душа с словами возится, как сука
С щенятами, живых всего двойня.

Любовь, конечно, первое, дебелый
И черный дрыхнет на припеке зверь.
Второй щенок кусает мать в траве,
Счастливый сон играет лапой белой.

Я наклоняюсь над семейством вяло.
Мать польщена, хотя слегка рычит.
Сегодня солнце целый день стояло,
Как баба, что подсолнухи лущит.

За крепостью широко и спокойно
Блестел поток изгибом полных рук,
И курица, взойдя на подоконник,
В полдневный час раздумывала вслух.

Всё кажется, как сено лезет в сени,
Счастливый хаос теплоты весенней,
Где лает недокраденный щенок
И тычет морду в солнечный венок.

* * *

Мы достодолжный принимали дар.
Удар — увы, недостоверно мненье:
Неосторожна желтая вода
Без при-, без при-, без при-, без примененья.

О сколь, о сколь, о сколь осколок сахара
На сагу слов влияет. Влить его.
Но чу! табу: стучит гитара табора —
Она стучит: увы, Вы что ж? Она велит.

Я размышляю: мышь ли, злая мысль,
А как грызет, а как везет под гору.
Я вижу смысл, там под комодом смысл
Ей грызть обоев эту мандрагору.

Она грызет, я сыт — начальный факт.
Печальный факт, фотографические очи.
Не очень: не сова, а голова.
Форсишь? Форсю. Молчишь? Молчу. Не очень.

Но, о камелия, о окомелина,
Луна-лентяй, луна не просто шляется.
Не шлётся же судьбою женщина
На вечную погибель. Не желаю.

1925

* * *

Но можно ль небрежи́ть над контрабасом
Безмолвья. Смычка душ с смычком.
Судьба невольно шепчет тихим басом,
Но отбояриваюсь, как могу: молчком.

Ходьба неосторожна. В ровном небе
Она скользит, она ко мне летит.
Что может быть летящего нелепей
Сказуемого: нам не по пути.

Я покрываюсь шляпою прозрачно,
К невзрачного Пилата лате льня.
Я ль не выдумывал про этот мир, про злачный,
Неясный и парной, как гладильня.

Мне ль выдумщик баса иль барсукун
Табу профессионал профессионалу.
Впишите вы в империи анналы
Сю кровь слона, а не растопленный сургуч.

Серьгу руна на разоренном море
В Ургу, где марганец какой-то, мор-конец.
Амур-гонец, в Амур к свинцу «amore».
Упорности педали есть предел.

1925

* * *

Осёл ребенок выезжает в свет.
Любовь-ослёнок, от отца привет!

Влачи закон холодного буяна,
Храни урок испытанного пса.
Такой большой тревогой обуяна,
Глядит душа на поезд искоса.

Вагоны цифр на снеге циферблата:
Вот первый класс, вот третий класс, второй,
Вот пять, вот шесть, вот класс седьмой,
бесплатный:
Как даровщина встреч тяжка порой!

Но он в окне, твой сын, моя любовь.
Я дрогнул, дрогнул, хоть и рад со злости.
В котле кипит крылатом водна кровь.
Она свистит. И шасть ко мраку в гости.

ПОСЕЩЕНИЕ ПЕРВОЕ

Ударила меня ты по карману
И посягнула на тугой кошель.
Мошну опустошила по обману,
Ан в калите определила щель!

Не нравится мне ан такой монтаж.
Но нрав при чем? Пред совершенным фактом
Я подымаюсь на большой этаж,
Весь озабочен предстоящим актом —

Не легким пожеланьем всяких благ.
Но я устал. Ан у дверей приляг.

Своим пальто покрывшись, засыпаю.
И вижу не совсем приятный сон:
На грудь ты наступила мне, слепая,
Потом зовешь: швейцар или гарсон!
Они явились, тяжело ступая.

И тащат вниз по лестнице, бия,
Но притворяюсь я отменно спящим.
Как счастлив я: не оскорблен был я
Не стоящим вниманья настоящим.

Потом встаю и бац! швейцара в хрящ.
Мне радостно участвовать в боях.

1925

ПОСЕЩЕНИЕ ВТОРОЕ

Я Вам принес в подарок граммофон,
Но Вы невосприимчивы к музы́ке.
С акцентом немца говорите: ффон, —
О прокляты двунадесят язы́ков.

Я завожу на лестнице его,
Он ан взывать, взывать проникновенно.
Открылись все парадные мгновенно.
Прет население, не помня ничего.

Меня ударило поспешное вниманье.
И, лестницы заняв амфитеатр,
Они пластинок шепчут мне названья
И чинно внемлют, как мальцы средь парт.

И нежно дремлют. Только Вы одне
Идете за бесчувственным консьержем,
Но ан консьержа в ейной ложе нет:
Он дремлет, рупора обнявши стержень.

Был страшный лев музыкою повержен.

1926

СЛОВОПРЕНИЕ

Сергею Шаршуну

О часослов о час ослов о слов
Бесплатен ты бесплоден и бесплотен
Перенесли но нас не пронесло
Стал тёпел хладный адный стал холоден

Безденежный холён одеколон
Задушит он. На душу на души
Ужи вы духи вы духи блохи
Ухи клен (там рупор граммофон)

О драма эта прямо телеграмма
Программа танцев стансов про грама
Под гром громоотвод вот чадо вот паром
О дева Диогена древо мамы

Из рук ручьем нас покидает смысл
Мысль обручем катится закатиться
Что с дурачьем молиться и сердиться
Чьи вы мечи хоть медны но прямы

При мысли этой как к тебе влачиться

1925

* * *

Неисправимый орден тихий ордер
Я на груди носил не выносил
Кругом рычали духи муки морды
И выбивались из последних сил

Мы встретились на небольшом бульваре
На больварке нам было бы верней
Мы встретились и мы расстались твари
Вернее кошки и коты верней

Лечу назад и позываю время
Оно спешит свой приподняв картуз
Так скачет лошадь я же ногу в стремя
Шасть дефилировать как счастья важный туз

И вновь в лесу ни весть какие вётлы
И мётлы месть иду спиною пятясь
О здравствуйте вы праведник иль мот ли
Я сам не знаю я бесследно спятил

Молчи молчи поэт не обезьянь
Ты обезьяна длинный скандалист
Ты глист ты Лист хоть не Густав но Лист
Шасть возвращаюсь во те и гуляно

* * *

Мы молока не знаем молокане
Но канет канун не один для всех
Как мрет наш брат а как Американе
И как лошак сожрав иглу в овсе

Игру мы затеваем напеваем
Напаиваем хорошо паять
Кто не больны Тебя обуревают
Рвут разрывают доверху на ять

Такой рукой мы шевелимы мало ль
Валимы в потрясающий покой
Коль новоявлен не расслаблен кой
Убережен от жала от кинжала

Жаль иностранец неумел и страшен
Пошел пошел я от него молчу
Чу слышу я бегут агу мурашки
Но так и след как чудный плед лечу

Ну что ж Христос мне говорит Ты грит
Давно со мною не напился чаю
Я говорю так точно сухари
Мы ваше бродье он же мне на чай

Так знай Святой старшому отвечай

Январь 1925

* * *

Дымилось небо, как лесной пожар.
Откуда тучи брались, неизвестно.
И день блестел на лезвии ножа
Беспечно, безвозвратно и прелестно.

Я звал Тебя, весна слегка мычала,
Быть может, день или уже года,
Но ты молчала, пела, отвечала
И разговаривала как всегда.

Летели дни, качались и свистели,
Как бритва на промасленном ремне,
И дождики, что легкие метели,
Кружились надо мною и во мне.

Пропала ты! Ты растворилась, Белла,
В воздушной кутерьме святых ночей.
Мечта, почто пред жизнию робела —
Ужасной лампы в тысячу свечей?!

Раздваивается на углу прохожий,
Растраивается на другом углу.
В ушко мне ветер входит — как в иглу.
Он воздухом сшивает наши кожи...

Я с улицы приоткрываю дверь
И снова вижу улицу за дверью.
Была ли жизнь? Была; их было две:
Два друга, два мошенника, две пери.

Так клоун клоуна пустою палкой бьет,
Довольные своим ангажементом,
Иль гоночный автомобиль ревет
От сладкой боли под рукой спортсменки.

Но клоуны дерутся, не сердясь,
И в гонщиц влюблены автомобили.
И мы, в свое отечество рядясь,
Не франтами всегда ль пред Вами были?

1926

* * *

А. Гингеру

На! Каждому из призраков по морде.
По туловищу. Будут руки пусть.
Развалятся, отяжелевши, орды.
Лобзанья примут чар стеклянных уст.

Бездумно дуя голосом, падут,
Как дождь, как пепел, как пальто соседа.
Понравятся, оправятся, умрут.
Вмешаются в бессвязную беседу.

Пусть синий, пусть голубизны голяк
Их не узнает, как знакомый гордый,
Зад — сердца зад — публично заголя,
Но кал не выйдет, кал любови — твердый.

Они падут, они идут, иду.
Они родились по печаль полена.
Они в тебе, они в горбе, в аду —
Одиннадцать утерянных колена.

Париж, ноябрь 1924

* * *

Ворóта-воротá визжат как петел
Как петли возгласили петухи
Свалился сон как с папиросы пепел
Но я противен я дремлю хи! хи!
Который час каморы иль амура
Но забастовка камерных часов
Лишь кот им злостно подражает: ммурра!
Спишь и не спишь. Немало сих особ
Валюсь как скот под одеялом тая
Как сахар в кипяченом молоке
Как ток палящий на продукт Китая
Шасть мочится латунной по руке
И я храплю простой солдат в душе
Сигнув от неприступного постоя
Хозяйка повторяет букву «ше»
Зане се тише но теперь не стоит

1.XI.1924. На улице

MUSIQUE JUIVE

И каждый раз, и каждый раз, и каждый
Я вижу Вас и в промежутках — Вас.
В аду вода морская — жажду дважды.
Двусмысленная острота в словах.

Но ты верна, как верные часы.
Варнак, верни несбыточную кражу.
О, очеса твои иль очесы
Сбыть невозможно — нет разбить куражу.

Неосторожно я смотрю в лицо.
Ай, снег полярный не слепит так больно.
Ай, солнечный удар. У! дар. Довольно,
Разламываюсь с треском, как яйцо.

Я разливаюсь: не крутой — я жидкий.
Я развеваюсь, развиваюсь я.
И ан, собравши нежности пожитки,
Бегу, подпрыгивая и плавая.

Вы сон. Вы сон, как говорят евреи.
В ливрее я. Уж я, уж я, уж я.
Корсар Вы, полицейский комиссар. — Вишу на рее.
Я чин подчинный, шляпа в шляпе я.

1925

* * *

Запыленные снегом поля
Испещряются синими маками.
В океане цветут тополя
И луна покрывается злаками.

Потому что явилась весна,
Разрушительная и страшная.
И земля откликнулась, жалостна:
«Хорошо было в сне вчерашнем».

Волны ходят по лестнице дней.
Ветром полны подземные залы.
Стало счастье льда холодней.
А железо становится алым.

Возникают вещей голоса,
Перекличка камней — как солдаты.
А немой человек — соглядатай,
Только зависть и весь в волосах.

Паровозы читают стихи,
Разлегшись на траве — на диване,
А собаки в облачной ванне
Вяло плавают, сняв сапоги.

День весенний, что твой купорос,
Разъедает привычные вещи.
И зеленою веткой пророс
Человек сквозь пиджак толстоплечий.

И не будет сему убавленья,
Избавленья бессмертью зимы,
Потому что отходит от лени
Ледокол, говоря: вот и мы.

Поднимается он, толстобрюхий,
На белесый блистательный лед,
И зима, разрываясь, как брюки,
Тонет в море, как в рте бутерброд.

1926

* * *

Пролетает машина. Не верьте,
Как кружащийся в воздухе снег.
Как печаль неизбежной смерти,
Нелюдим этот хладный брег.

Полноводные осени были,
Не стеснялись сады горевать.
И, что первые автомобили,
Шли кареты, что эта кровать.

Та кровать, где лежим, холостые,
Праздно мы на любильном станке,
И патронами холостыми
Греем кожу зимой на виске.

Выстрел, выстрел, фрегат сгоряча
По орудию. Зырили давеча.
Но «Очаков» на бахче зачах,
Завернули за вéчер и зá вечер.

Сомный сон при бегах поспешал,
Чует кол на коллоквиум счастия.
Дует: ластится ходко душа
К смерти, рвущей на разные части.

1925

* * *

На улице стреляли и кричали
Войска обиды: армия и флот.
Мы ели, пили и не отвечали —
Квартиры дверь была, была оплот.

Плыло, плыло разъезженное поле,
В угоду экипажам сильных сном.
Еще плыло, еще, еще, не боле,
Мы шли на дно, гуляли кверху дном.

Мычало врозь разгневанное стадо,
Как трам — трамвай иль как не помню что.
Вода катилась по трубе из сада,
За ней махало крыльями пальто.

На сорный свет небесного песца
Другие вылезали, вяло лая.
Отец хватал за выпушку отца,
Метал как будто. Вторить не желаю.

Зверинец флотский неумело к нам.
Мы врозь от них — кто врос от страха в воду.
Питомник барсукуний. Время нам!
В хорошую, но сильную погоду.

1925

* * *

Запор запоем, палочный табак.
Халтурное вращение обоев!
А наверху сиреневый колпак:
Я не ответственен, я сплю, я болен.

(Катились прочь шары, как черепа
Катаются, бренчат у людоеда.
Бежала мысль со скоростью клопа,
Отказывалось море от обеда.)

Я отравляю холодно весну
Бесшумным дымом полюса и круга,
Сперва дымлю, потом клюю ко сну
(В сортире мы сидим друг против друга).

И долго ходят духи под столом,
Где мертвецы лежат в кальсонах чистых
И на проборы льют, как сны в альбом,
Два глаза (газовых рожка) — любовь артиста.

Запор рычит, кочуют пуфы дыма,
Вращается халтурное трюмо.
И тихо блещет море, невредимо
Средь беспрестанной перемены мод.

1925

* * *

Илье Зданевичу от его ученика Б.Поплавского

На белые перчатки мелких дней
Садится тень как контрабас в оркестр
Она виясь танцует над столом
Где четверо супов спокойно ждут

Потом коровьим голосом закашляфф
Она стекает прямо на дорогу
Как револьвер уроненный в тарелку
Где огурцы и сладкие грибы

Такой она всегда тебе казалась
Когда пускала часовую стрелку
На новой необъезженной квартире
Иль попросту спала задрав глаза

Пошла пошла к кондитеру напротив
Где много всяких неуместных лампов
Она попросит там себе помады
Иль саженный рецепт закажет там

Чтобы когда приходит полицейский
Играя и свистя на медной флейте
Ему открыть большую дверь и вену
Английскою булавкою для книг

Зане она ехидная старуха
Развратная и завитая дева
Которую родители младые
Несут танцуя на больших руках

Подъемным краном грузят на платформу
Не торопясь достойно заряжают
(Не слишком наряжая и не мало
Как этого желает главпродукт)

Но мне известно что ее призванье
Быть храброй и бесплатной Консуэллой
Что радостно танцует на лошадке
В альбом коллекционирует жуков

Зане она замена гумилеху
Обуза оседлавшая гувузу
Что чаркает на желтом телеграфе
Ебелит и плюет луне в глаза

Непавая хоть не стоит на голу
И не двоится серая от смеха
Зане давно обучена хоккею
И каждый день жует мируар де спор.

Январь 1926

* * *

А.С.Г.

Блестит зима. На выгоне публичном
Шумит молва и тает звук в трубе
Шатается душа с лицом поличным
Мечтая и покорствуя судьбе

А Александр курит неприлично
Шикарно дым пускает к потолку
Потом дитё качает самолично
Вторично думает служить в полку

И каждый счастлив боле или мене
И даже рад когда приходит гость
Хоть гость очами метит на пельмени
Лицом как масло и душой как кость

Но есть сердца которые безумно
Бездумно и бесчувственно горят
Они со счастьем спорят неразумно
Немотствуют и новый рвут наряд

На холоде замкнулся сад народный
Темнеет день и снег сухой шуршит
А жизнь идет как краткий день свободный
Что кутаясь в пальто пройти спешит

* * *

Мы ручей спросили чей ты
Я ничей
Я ручей огня и смерти
И ночей
А в ручье купались черти
Сто очей
Из ручья луна светила
Плыли льды
И весну рука схватила
Из воды
Та весна на ветке пела
Тра-ла-ла

Оглянуться не успела
Умерла
А за ней святое солнце
В воду ад
Как влюбленный из оконца
За глаза
Но в ручей Христос ныряет
Рыба-кит
Бредень к небу поднимают
Рыбаки
Невод к небу поднимает
Нас с тобой
Там влюбленный обнимается
С весной
В нем луна поет качаясь
Как оса
Солнце блещет возвращаясь
В небеса

* * *

Рука судьбы проворна и грязна
Изящна шестипала и презренна
Она разжалась над страницей тленной
И чуть помятой выпала весна
На белый снег на белый лист
Замученная роза пала ниц
Она спала она цвести робела
Порушить корнем целину страниц
И тихо убывала расточая
Постыдный запах женщины и сна

И всё-таки она моя весна

Пошла в грязном саване страниц
Погибшая бесследная святая
Скажи в раю читают ли стихи
Причины безыскусные листая
Прощают ли земле ее грехи

* * *

Почто, зачинщик, выставляешь дулю,
Мечтая: «Вдарю оного во гнев».
Смотри: забыл, забыл надеть ходулю,
Что змей носил (лишь ту надел, что лев).
Воинственно вздыхает иностранец:
Почто не так здесь и не по нам?..
Он притворяется, что слышит тихий танец,
Он с важностью молчит по временам.
Он шут и плут, и это всем известно,
Но всё-таки он рожею не наш.
Он толстой кожей черной бесполезно
Об чём-то спорит без словес и зла.

1926

* * *

На железном плацдарме крыш
Ослепительно белый снег
Упражняет свои полки.
А внизу семенит коренастый
Белый от снега человек.
Он прекрасно знает свой мир,
Он пускает дым из ноздрей,
В темно-синем небе зимы
Дышат белые души тьмы,
И на их румяных щеках
Веселится корова-смерть.
Полноплечий друг пустоты,
Громкогорлый жест тишины,
Скалит белые зубы дней
Опрокинутый в зеркале зал.
Терпеливый атлет зимы,
Он не знает, кого он ждет,
Краснокожий пловец ночей
Раздвигает руками лед.
Он плывет в океане смертей,
Он спокойно ныряет на дно,
Бесконечно невинен в том,
Что горит на щеках страниц

Отпечаток позорных рук,
Волчий след, огибая овраг.
А собаки спят на снегу,
Как апостолы на горе.

* * *

А.Г.

В серейший день в сереющий в засёрый
Беспомощно болтается рука
Как человек на бричке без рессоров
Как рядовой ушедшего полка

Лоснящиеся щеки городов
Намазаны свинцовою сурьмою
И жалкий столб не ведая годов
Руками машет занявшись луною

И было вовсе четверо надежд
Пять страшных тайн и две понюшки счастья
И вот уже готов обоз невежд
Глаголы на возах в мешках причастья

Беспошлинно солдатские портки
Взлетают над ледовыми холмами
И бешено вращаются платки
За черными пустыми поездами

Склоняется к реке словесный дым
Бесшумно убывая как величье
И снова город нем и невредим
Стирает с книг последние отличья

Стеклянные высокие глаза
Катаются над городом на горке
А слёз летает целая гроза
Танцующая на крыше морга

1925

ART POÉTIQUE-1

Уста усталости мне говорят пустяк
Пустынника не стоящий поступок
Постой постой о костоед костяк
Ты поступился уж не на посту ты

По ступке пест по ступеням ступня
Ступай стопа <...> растёпа
Тебя в огне растопит истопник
Твой мир потопав будто в час потопа

Но топот тополиной бересты
Беречь барак от барчука ступай
Чук чук да чук да чуков больше ста
Иль даже больше. Боль же не хочу

Но чу чудак чердачный кавардак
Дикарь дока доказывает вечно
На воле процветает кавардак
Но оды ночи всенародны вечны

1925

БОРЬБА МИРОВ

На острове остроконечный дом,
И я в недоумении по том.
Лечу в него, иду с него потом.
Мы все летим, мы все туда пойдем.

Над городом заречный млечный климат,
Уздечка страха и его мундштук.
Над воротом брада неразделима,
И в ней дымит мундштук или кунстштюк.

Отшельника крутится эрмитаж,
Ан вверх иль вниз, а не в мечты этаж.
Но чу, звонок на сонном небосклоне.
Ложусь плашмя: дрёма ерыгу клонит.

И так ползу, приоткрывая дверь.
И ты вступаешь; верь или не верь,
Я отступаю в укрепленну дверь:
— Садитесь, — говорю, — последствие запоя.

(Последнее — для самого себя.)
Куда там! Ты уже дудишь, любя,
В мильон гобоев на моих обоях.

1925

ART POÉTIQUE-2

Счастливое слепое наводненье
Спускается с необозримых гор
Бегут стада в сомнительном волненье
И волк спешит из лесу своего

Вода летит она вбегает в дом
Она об стенку ударяет лбом
Она в ушах кудахчет билимбом
А курица бежит спасать с ведром

И вот сполна сквозь выходы и входы
Выкатывается бесплотный ик
Валят из горла рыбы-мореходы
Которые несет мутнейший стих

Летучие подпрыгивают рыбы
Кусают за нос крабы на лету
И некий миф волшебствуя игриво
Кичливо пьет ночную кислоту

И вдрызг недуг счастливого трясет
О землю бьет по воздуху несет
В воде купает и в сортирной яме
Подолгу держит там и мнет ночами

И отпускает...

И вот уже как ярмарочный пищик
Издав последний безысходный звук

Лежит холуй и к человечьей пище
Протягивает полки грязных рук

И думает: я до земного падок
Зачем я спал а вот и сон мой спал
Встает идет и вдруг назад упал
И вспять эпилептический припадок

Опять лежит но верит сукин сын
Что он пускал зажженный керосин
Биясь о камень хилой головою
Так сукин сын смеется надо мною
Так вечно побеждает сукин сын

1926

* * *

Орегон кентаомаро мао
Саратога кеньга арагон
Готевага ента гватемала
Колевала борома галон

Оголен робатый Иллиноис
Шендоа дитя звезды летит
А внизу спешит вдогонку поезд
Бело нао на лугу кретин

О Техас пегас неукротимый
Дрюрилен лекао гватемас
Посартина олема фатима
Балобас опасный волопас

Буриме моари ритроада
Орегон гон гон петакощу
Баодада загда ата ада
И опять средь облаков леща

1925

* * *

Панопликáс усонатэ́о зéмба
Трибулацио́на то́мио шарáк

О ро́мба! Муэра́ статосгита́м
И ракано́ста органо́сто я́к

Шинодига́ма мэгао́ стилэ́н
Атеципе́на ме́рант крикроа́ма

Мелаобра́ма местогчи́ тро́бс
Гостурукóла укота́ сонэ́

Постурумóла пасгота́ анэ́
Сгиообрата́на бреома́ мао́

Илаоска́ра ско́ри меску мю́
Силеску́му гитропека́мос ой

Песка́ра ракони́ста стакомча́
Гамистоóка асточáка ска́фа

Слами́ро миета́ точегурта́
Таэ́лосо талес пеосота́х

1925

* * *

Я желаю но ты не жалеешь
Я коснею но ты весела
Над рекою бесстыдно алеешь
Как испорченный гиппопотам

Хороши островов помидоры
В них белесый законченный сок
А на окнах шикарные шторы
И монокль с твое колесо

Потому что лиловую реку
Запрудил белозадый карась
И строптивые человеку
Рыбы многие все зараз

Шить и жить и лечить как портной
Лечит жесткие велосипеды
Обходиться совсем без коров
Погружаться в бесплатный смех

Этак будешь достоин розетки
И лилового крокодила
Наберешься всяких кастрюлек
И откроешь свой магазин

Там ты будешь как в скетингринге
Где катаются звезды экрана
Где летают лихие конфеты
И танцует холеный джаз-банд

Потому что тебя не жалеют
И она улыбается ночи
На платформе в таинственной форме
За шлагбаумом с улыбкой вола

1926

ART POÉTIQUE-3

Моя любовь подобна всем другим
Не любящих конечно сто процентов
Я добродушен нем и невредим
Как смерть врача пред старым пациентом
Любить любить кричит младой холуй
Любить любить вздыхает лысый турок
Но никому не сладок поцелуй
И чистит зубы сумрачно Лаура
Течет дискуссия как ерундовый сон
Вот вылез лев и с жертвою до дому
Но красен яркий пьяница лицом
Толстяк доказывает пальцами худому
Шикарный враль верчу бесперстый ямб
Он падает как лотерея денег
Шуршит как молодых кальсон мадаполам
Торчит как галстук сыплется как веник

И хочется беспомощно галдеть
Валять не замечая дождик смеха
Но я сижу лукавящий халдей
Под половиной грецкого ореха
Халтуры спирохет сверлит костяк
И вот в стихах поддергиваясь звука
Слегка взревел бесполый холостяк
И пал свалился на паркет без стука
И быстро разлагаясь поползли
Прочь от ствола уродливые руки
Что отжимали черный ком земли
И им освобождали вас от скуки
Как пред кафе безнравственные суки
Иль молния над улицей вдали

1926

* * *

Невидный пляс, безмерный невпопад.
Твой обморок, о морока Мойра.
Приятный, но несладкий шоколад
Выкачивает вентилятор в море.

Видна одна какая-то судьба
И краешек другого парохода.
Над головой — матросская ходьба.
Охота ехать? На волка ль охота?

Что будет в море? Мор ли? Водный морг?
На юте рыба? Иль в каюте? Ибо
Комический исторгнули восторг
Комы воды. Кому в аду — счастливо!

Так, бо́сую башку облапошив,
Плясали мысли, как лассо лапши.
Отца ли я? Отчаливало море.
Махала ты нахалу тихо, Мойра.

1925

* * *

Летящий снег, ледящий детский тальк
Осыпал нас как сыпь, как суесловье.
Взошел четверг на белый пьедестал —
Мы все пред ним покорствуем, сословья.

На слове нас поймала, поняла,
Ударила печали колотушкой.
Как снег с горы, нас не спросясь, смела:
Бежим, барашки, скачет волк-пастушка!

Ты бьешь нас, ножницами не стрижешь,
Летит руно, как кольца над окурком.
Зима. Большой безделия снежок,
Бессмыслия приятнейшая бурка.

Днесь с пастбищ тощих нас зовет декабрь.
Но глупому барану в дом не хотца.
Баран, баран, почто ты не кентавр,
Лишь верхней частью с ним имея сходство?!

Уж сторож тушит над полями свет.
Почто упорствовать, строптивый посетитель?
Но, утомясь игрой, ушел служитель.
Сплю в горном зале на столов траве.

1925

* * *

Соутно умигано халохао,
Пелаохóто хуратó арáн.
Незамарáн: холóтно у, халáтно о
Так буридáн, дон дерисóн ура.

Урал урóн, каминабý тубýка.
Хулитаскýка касаси́ вали́,
Но поразбýкай мýкали азбýка
Теласмурóка саонáр али́.

Вапóрис синебр жопинебр,
Ужопали́ка синевáна мéйга.
Курена трóмба, гни огни ормá,
Моросейгáма синегáтма гéйна.

Ра григроа́ма омари́на га́.
Рати́ра посарти́на сенео́.
Ленеоо́ роа́на пано́йра
Полимие́ра то́сма эоне́с.

СТАТЬЯ В МЕДИЦИНСКОМ ЖУРНАЛЕ

Так жизнь бежит, бесправно щуря глаз.
Так рот танцует, тихо притворяясь.
Так, претворяясь, возмущает газ.
Так полюс улетает, испаряясь.

Всеобщему примеру нищеты
Завидует еще один испанец.
Коротким пальцем хочет задавить,
Смешной гильотинировать рукой,

Увы, не зная, что совсем бесправно,
Беспечно, беззащитно и безвольно
Танцует «возмутительное счастье»,
«В альбом коллекционирует жуков».

Увы, «нэ веря» верному отмщенью,
Доподлинному отвращенью носа,
Доказанному кровообращенью,
Развязному и каждому уму.

ПЕТЯ ПАН

Стеклянная жена моей души
Люблю твой непонятный быстрый голос
Я ль тя когда отшил иль заушил
Иль сверзил ниц един свинцовый волос

Безлунную мадеру шустрых дней
Я пил закусывая пальцем как индеец
Жил все бедней смешней и холодней
Смеялись Вы: «Он разве европеец»

Но желтого окна кривая пасть
Высовывала вдруг язык стеклянный

Я наклонялся с рисками упасть
И видел тя (с улыбкой деревянной)

Зелеными пальцами шевеля
Играла ты на мостовой рояле
Вокруг же как срамные кобеля
Читатели усатые стояли

И ты была тверда кругла худа
Вертлява точно мельница экрана
Ложилась спать посереди пруда
А утром встав как Ио слишком рано
Верхом вбегала на парохода́

(О если бы добраться до попа
Что нас венчал — всадить как в землю пулю —
Но он на солнце с головой клопа
Показывает огненную дулю)

Слегка свистишь ты пальцы набелив
Отчаливаю я беспрекословно
Как пуля подымаюсь от земли
Но мир растет кругом клубясь условно

И снова я стою среди домов
Зеленые скелеты мне кивают
И покидая серое трюмо
Ползут бутылки яды выливая

Вращается трактирщицы душа
Трясется заводное пианино
И на меня как лезвие ножа
Ты смотришь проходя спокойно мимо

И рвется мостовая под тобой
Из-под земли деревья вылетают
Клубятся скалы с круглой головой
И за волосы феи нас хватают

Идут пираты в папиросном дыме
Ползут индейцы по верхам дерев
Но ты им головы как мягкий хлеб
Срезаешь ножницами кривыми

Бегут растенья от тебя бегом
Река хвостом виляя уползает
И даже травы под таким врагом
Обратно в землю быстро залезают

Стекают горы ко́ морю гуськом
Оно как устрица соскальзывает с брега
А из-под ног срывается с разбега
Земля и исчезает со свистком

Но далее влачится наважденье
Опять с небес спускается вода
Леса встают и без предупрежденья
Идет трамвай взметая провода

Но страшный рай невозвратимо длится
И я трясом стеклянною рукой
Беру перо готовый веселиться
И шасть зашаркал левою ногой

1926

БАРДАК НА ВЕСУ

Владимиру Кемецкому

Таинственный пришлец не спал, подлец.
Он шаркал, шаркал тонкими ногами,
Он грязною душой в одном белье
Ломался беспредметно пред врагами.

Варфоломеевская ночь была точь-в-точь,
Точь-в-точь такой же, водною с отливом.
Спала, спала убийственная ночь,
Счастливейшая изо всех счастливых.

В тумане лунный рак метал икру,
Лил желчь и длил молчание бесплатно.
Потом, измыслив некую игру,
Зашел. И вот! во сне, в белье, халатно

На сальный мир стекает свет — светает,
Уж тает ледяная ночь, уже сквозит

Другая жизнь, не мертвая, святая.
Что ночью слышит, видит Вечный Жид?

О блядь! Дневная гладь, весна ночная,
Сгинь, подлежащий сон, парящий стон,
Вращающаяся и ледяная
Игла весны, входящая в пальто.

Средь майской теплоты, где ходят льды,
Побоище невидное, а выше
Переползающие в дыму столы,
И там — на них — поэты, сняв портища.

Алло! Алло! но спит облезлый сонм,
Уже издавши образцовый стон,
Оставившие низший телефон,
Проклявшие печатный граммофон.
И голый голос тонет без воды,
Прозрачный череп стонет без беды,
Возвратный выдох молкнет на весу,
Прелестный призрак виснет на носу.

Безумно шевеля рукой-клешней
С зажатой в ней плешивою луной,
Покойник жрет проворно колбасу,
В цилиндре пляшет нагишом в лесу,
И с ним, в него впившись, волшебный рак
Трясется в такт, как образцовый фрак.
Раскачивается небес барак.
Кракк!!!!

ФЛАГИ

Борис Поплавский

Флаги

Четвертая книга стихов

Посвящается

Татьяне Шапиро

Париж 1928 - 1929

DOLOROSA

На балконе плакала заря
В ярко-красном платье маскарадном,
И над нею наклонился зря
Тонкий вечер в сюртуке парадном.

А потом над кружевом решетки
Поднялась она к нему, и вдруг
Он, издав трамвайный стон короткий,
Сбросил вниз позеленевший труп.

И тогда на улицу, на площадь,
Под прозрачный бой часов с угла,
Выбежала голубая лошадь,
Синяя карета из стекла.

Громко хлопнув музыкальной дверцей,
Соскочила осень на ходу,
И, прижав рукой больное сердце,
Закричала, как кричат в аду.

А в ответ из воздуха, из мрака
Полетели сонмы белых роз,
И зима, под странным знаком рака,
Вышла в небо расточать мороз.

И, танцуя под фонарным шаром,
Опадая в тишине бездонной,
Смерть запела совершенно даром
Над лежащей на земле Мадонной.

1926–1927

ЧЕРНАЯ МАДОННА

Вадиму Андрееву

Синевéли дни, сиреневéли,
Темные, прекрасные, пустые.
На трамваях люди соловели.
Наклоняли головы святые,

Головой счастливою качали.
Спал асфальт, где полдень наследил.
И казалось, в воздухе, в печали,
Поминутно поезд отходил.

Загалдит народное гулянье
— Фонари грошовые на нитках, —
И на бедной, выбитой поляне
Умирать начнут кларнет и скрипка.

И еще раз, перед самым гробом,
Издадут, родят волшебный звук.
И заплачут музыканты в оба
Черным пивом из вспотевших рук.

И тогда проедет безучастно,
Разопрев и празднику не рада,
Кавалерия, в мундирах красных,
Артиллерия — назад с парада.

И к пыли, к одеколону, к поту,
К шуму вольтовой дуги над головой
Присоединится запах рвоты,
Фейерверка дым пороховой.

И услышит вдруг юнец надменный
С необъятным клешем на штанах
Счастья краткий выстрел, лёт мгновенный,
Лета красный месяц на волнах.

Вдруг возникнет на устах тромбона
Визг шаров, крутящихся во мгле.
Дико вскрикнет черная Мадонна,
Руки разметав в смертельном сне.

И сквозь жар, ночной, священный, адный,
Сквозь лиловый дым, где пел кларнет,
Запорхает белый, беспощадный
Снег, идущий миллионы лет.

1927

DIABOLIQUE

Виктору Мамченко

Хохотали люди у колонны,
Где луна стояла в позе странной.
Вечер остро пах одеколоном,
Танцовщицами и рестораном.

Осень вкралась в середину лета.
Над мостом листы оранжевели,
И возили на возках скелеты
Оранжады и оранжереи.

И в прекрасной нисходящей гамме
Жар храпел на мостовой, на брюхе,
Наблюдал за женскими ногами,
Мазал пылью франтовские брюки.

Злились люди и, не загорая,
Отдавались медленно удушью.
К вечеру пришла жара вторая,
Третью к ночи ожидали души.

Но желанный сумрак лиловатый
Отомкнул умы, разнял уста;
Засвистал юнец щеголеватый
Деве без рогов и без хвоста.

И в лиловой а́уре-а́уре,
Навсегда прелестна и ужасна,
Вышла в небо Ла́ура Ла́ура
И за ней певец в кальсонах красных.

Глухо били черные литавры,
Хор эринний в бездне отвечал,
А июль, как Фауст на кентавре,
Мертвый жар во мраке расточал.

Но внезапное смятенье духов,
Ветер сад склоняет на колена,
Тихий смех рождается под ухом,
Над вокзалом возникает глухо:

Королева ужасов Елена.

А за нею Аполлоны Трои,
С золотыми птицами в руках,
Вознеслись багровым ореолом,
Темным следом крови в облаках.

А луна поет о снежном рае...
Колыхался туч чернильных вал,
И последней фразою, играя,
Гром упал на черный арсенал.

И в внезапном пламени летящем,
Как на раковине розовой, она
Показалась нам спокойно спящей
Пеною на золотых волнах.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД

Лидии Харлампиевне Пумпянской

Летний день был полон шумом счастья,
Молния сверкала синей птицей.
Выезжали из пожарной части
Фантастические колесницы.

А сквозь город под эскортом детским,
Под бравурный рев помятых труб,
Проходила в позах молодецких
Лучшая из мюзик-холльных трупп.

На широких спинах коней пегих
Балерины белые дремали.
И пустые гири на телеге
Силачи с улыбкой подымали,

Солнце грело вытертые плюши,
А в тени пивных смотрели рожи,
Их большие розовые души
Улыбались музыке прохожей.

Был в толпе красивый шелест яркий,
Блеск весенних праздничных костюмов.
Пьяные кричали с белой арки.
Улыбался сад, цвести раздумав.

Ночь пришла, и клоуны явились.
Счастье жизни хохотало труппе,
Музыканты-лошади кружились
С золотою стрекозой на крупе.

Но потом огонь блеснул в проходе,
Львы взревели, поднимаясь дыбом,
Как на океанском пароходе —
Люди дрались в океане дыма.

И, со всех сторон огнем объятый,
Молодой американец нежный
На кривой трубе сыграл бесплатно
Похоронный вальс и безмятежный.

А потом упал и задохнулся.
А костер огромный, разрастаясь,
Облаков тычинками коснулся
И потом в рассветной мгле растаял.

А на утро в ореоле зноя
Над театром, отошедшим в вечность,
Сад раскрылся розовой стеною
В небесах пустых и безупречных.

1927

НА ЗАРЕ

Валериану Дряхлову

Розовеющий призрак зари
Возникал над высоким строеньем.
Гасли в мокром саду фонари,
Я молился любви... Озари!
Безмятежным своим озареньем.

По горбатому мосту во тьме
Проходили высокие люди.
И вдогонку ушедшей весне
Безвозмездно летел на коне
Жесткий свист соловьиных прелюдий.

А в лесу, на траве непримятой,
Умирала весна в темноте.
Пахло сыростью, мохом и мятой.
И отшельник в шубенке косматой
Умывался в холодной воде.

1927

ЖАЛОСТЬ

Солнечный свет, я к тебе прикоснулся, но ты не заметил,
Ты не проснулся, но лишь улыбнулся во сне.
Странно молчали последние сны на рассвете,
В воздухе реял таинственный розовый снег.

Ангелы прочь отлетали от лона земного.
Им, натрудившимся за ночь, пора было спать.
Целую ночь они пели у мира иного,
Спящие же не спешили и пятились вспять.

Раннее утро сияет прохладой,
Спящие лица румянцем марая.
Моют и чистят преддверие ада
И ворота закрывают у рая.

Юноша нежной женою взлелеян,
Гладим прозрачной девичьей рукой.
Друг мой. Ты верен жестокой? Я верен!
В вере в нее Ты обрящешь покой.

Розовый ветер зари запоздалой
Ласково гладит меня по руке.
Мир мой последний, вечер мой алый,
Чувствую твой поцелуй на щеке.

Тихо иду, одеянный цветами,
С самого детства готов умереть.
Не занимайтесь моими следами —
Ветру я их поручаю стереть.

* * *

Розовый час проплывал над светающим миром.
Души из рая назад возвращались в тела.
Ты отходила в Твоем сверхъестественном мире.
Солнце вставало, и гасла свеча у стола.

Розовый снег опадал в высоте безмятежной.
Вдруг Ты проснулась еще раз; но Ты никого
не узнала,
Странный Твой взгляд проскользил, удивленный
и нежный,
И утонул в полумраке высокого зала.

А за окном, незабвенно блистая росою,
Лето цвело и сады опускались к реке.
А по дороге, на солнце блистая косою,
Смерть уходила и черт убегал налегке.

Мир незабвенно сиял, очарованный летом.
Белыми клубами в небо всходили пары.
И, поднимая античные руки, атлеты
Камень ломали и спали в объятьях жары.

Солнце сияло в бессмертном своем обаянье.
Флаги всходили, толпа начинала кричать.
Что-то ужасное пряталось в этом сиянье.
Броситься наземь хотелось, забыть, замолчать.

1928

* * *

А.Минчину

Пылал закат над сумасшедшим домом,
Там на деревьях спали души нищих,
За солнцем ночи, тлением влекомы,
Мы шли вослед, ища свое жилище.

Была судьба, как белый дом отвесный,
Вся заперта, и стража у дверей,
Где страшным голосом на ветке лист древесный
Кричал о близкой гибели своей.

Была зима во мне, и я в зиме.
Кто может спорить с этим морем алым,
Когда душа повесилась в тюрьме
И черный мир родился над вокзалом?..

А под землей играл оркестр смертей,
Высовывались звуки из отдушин,
Там вверх ногами на балу чертей
Без остановки танцевали души.

Цветы бежали вниз по коридорам,
Их ждал огонь, за ними гнался свет.
Но вздох шагов казался птичьим вздором.
Все засыпали. Сзади крался снег.

Он город затоплял зарею алой
И пел прекрасно на трубе зимы,
И был неслышен страшный крик фиалок,
Которым вдруг являлся черный мир.

1928

РОЗА СМЕРТИ

Георгию Иванову

В черном парке мы весну встречали,
Тихо врал копеечный смычок,
Смерть спускалась на воздушном шаре,
Трогала влюбленных за плечо.

Розов вечер, розы носит ветер.
На полях поэт рисунок чертит.
Розов вечер, розы пахнут смертью,
И зеленый снег идет на ветви.

Темный воздух осыпает звезды,
Соловьи поют, моторам вторя,
И в киоске над зеленым морем
Полыхает газ туберкулезный.

Корабли отходят в небе звездном,
На мосту платками машут духи,
И, сверкая через темный воздух,
Паровоз поет на виадуке.

Темный город убегает в горы,
Ночь шумит у танцевальной залы,
И солдаты, покидая город,
Пьют густое пиво у вокзала.

Низко-низко, задевая души,
Лунный шар плывет над балаганом,
А с бульвара под орган тщедушный
Машет карусель руками дамам.

И весна, бездонно розовея,
Улыбаясь, отступая в твердь,
Раскрывает темно-синий веер
С надписью отчетливою: смерть.

«СМЕЙСЯ, ПАЯЦ, НАД РАЗБИТОЙ ЛЮБОВЬЮ...»

Смейся, паяц, над разбитой любовью.
День голубой застрелился в окне.
Умер, истекший розовой кровью.
На катафалке уехал к весне.
А над землей на стеклянном экране
Кинематограф огромный пылал.
Сон целовался в ночном ресторане
В красном мундире прекрасного зла.
Озеро тихо смеялось над крышей,
Духов встречая над сферой луны.
Было прохладно, а выше и выше
Реяло черное знамя весны.
Тихо склонясь к облаков изголовью,
Мальчик, истекший розовой кровью,
Плыл, опрокинувшись вниз головой,
И граммофон над разбитой любовью
Сонно вздыхал золотою трубой.

1931

* * *

Восхитительный вечер был полон улыбок и звуков,
Голубая луна проплывала, высоко звуча,
В полутьме Ты ко мне протянула бессмертную руку,
Незабвенную руку, что сонно спадала с плеча.

Этот вечер был чудно тяжел и таинственно душен,
Отступая, заря оставляла огни в вышине,
И большие цветы, разлагаясь на грядках, как души,
Умирая, светились и тяжко дышали во сне.

Ты меня обвела восхитительно-медленным взглядом
И заснула, откинувшись навзничь, вернулась во сны.
Видел я, как в таинственной позе любуется адом
Путешественник-ангел в измятом костюме весны.

И весна умерла, и луна возвратилась на солнце.
Солнце встало, и темный румянец взошел.
Над загаженным парком святое виденье пропало.
Мир воскрес и заплакал и розовым снегом отцвел.

1928

ЛУННЫЙ ДИРИЖАБЛЬ

Я хочу Тебя погубить,
Я хочу погибающим быть.
О прекрасной гибели душ
Я Тебе расскажу в аду.

Строит ангел дворец на луне,
Дирижабль отходит во сне.
Запевают кресты винтов,
Опадают листы цветов.

Синий звук рассекает эфир,
Приближается мертвый мир.
Открывается лунный порт,
Улыбается юный черт.

И огромная в темноте
Колоннада сходит к воде.
В синих-синих луны лучах
Колоннады во тьме звучат.

В изумрудной ночной воде
Спят прекрасные лица дев,
А в тени голубых колонн
Дремлет каменный Аполлон.

Зацветают в огне сады.
Замки белые всходят, как дым,
И сквозь темно-синий лесок
Ярко-темный горит песок.

Напевают цветы в саду.
Оживают статуи душ.
И, как бабочки из огня,
Достигают слова меня.

Верь мне, ангел, луна высока,
Музыкальные облака
Окружают ее, огни
Там звучат и сияют дни.

Синий ангел влюбился в весну.
Черный свет, отойди ко сну.
Прозябание полюби,
Погибание пригуби.

Тихо смотрит череп в окно.
В этой комнате совсем темно,
Только молча на самом дне
Тень кривая спит на стене.

1928

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ

Мыс Доброй Надежды. Мы с доброй надеждой тебя покидали,
Но море чернело и красный закат холодов
Стоял над кормою, где пассажирки рыдали,
И призрак Титаника нас провожал среди льдов.

В сумраке ахнул протяжный обеденный гонг.
В зале оркестр запел о любви невозвратной.
Вспыхнул на мачте блуждающий Эльмов огонь.
Перекрестились матросы внизу троекратно.

Мы погибали в таинственных южных морях,
Волны хлестали, смывая шезлонги и лодки.
Мы целовались, корабль опускался во мрак.
В трюме кричал арестант, сотрясая колодки.

С лодкою за борт, кривясь, исчезал рулевой,
Хлопали выстрелы, визги рвались на удары.
Мы целовались, и над Твоей головой
Гасли ракеты, взвиваясь прекрасно и даром.

Мы на пустом корабле оставались вдвоем,
Мы погружались, но мы погружались в веселье.
Розовым утром безбрежный расцвел водоем,
Мы со слезами встречали свое новоселье.

Солнце взошло над курчавой Твоей головой,
Ты просыпалась и пошевелила рукою.
В трюме, ныряя, я встретился с мертвой ногой.
Милый мертвец, мы неделю питались тобою.

Милая, мы умираем, прижмись же ко мне.
Небо нас угнетает, нас душит синяя твердь.
Милая, мы просыпаемся, это во сне.
Милая, это не правда. Милая, это смерть.

Тихо восходит на щеки последний румянец.
Невыразимо счастливыми души вернутся ко снам.
Рукопись эту в бутылке прочти, иностранец,
И позавидуй с богами и звездами нам.

1928

ГАМЛЕТ

«Гамлет, Ты уезжаешь, останься со мной,
Мы прикоснемся к земле и, рыдая, заснем от печали.
Мы насладимся до слез униженьем печали земной,
Мы закричим от печали, как раньше до нас не кричали.

Гамлет, Ты знаешь, любовь согревает снега,
Ты прикоснешься к земле и прошепчешь: "Забудь обо всем!"
Высунет месяц свои золотые рога,
Порозовеет денница над домом, где мы заснем».

Гамлет ей отвечает: — Забудь обо мне,
Там надо мной отплывают огромные птицы,
Тихо большие цветы расцветают, в огне
Их улыбаются незабвенные лица.

Синие души вращаются в снах голубых,
Розовой мост проплывает над морем лиловым.
Ангелы тихо с него окликают живых
К жизни прекрасной, необъяснимой и новой.

Там на большой высоте расцветает мороз,
Юноша спит на вершине горы розоватой,
Сад проплывает в малиновом зареве роз,
Воздух светает и полюс блестит синеватый.

Молча снежинка спускается бабочкой алой,
Тихо стекают на здания струйки огня.
Но, растворяясь в сиреневом небе Валгаллы,
Гамлет пропал до наступления дня.

«Гамлет, Ты уезжаешь, останься со мной!» —
Пела безумная девушка под луной.

ФЛАГИ

В летний день над белым тротуаром
Фонари висели из бумаги.
Трубный голос шамкал над бульваром,
На больших шестах мечтали флаги.

Им казалось: море близко где-то,
И по ним волна жары бежала,
Воздух спал, не видя снов, как Лета,
Всех нас флагов осеняла жалость.

Им являлся остов корабельный,
Черный дым, что отлетает нежно,
И молитва над волной безбрежной
Корабельной музыки в сочельник.

Быстрый взлет на мачту в океане,
Шум салютов, крик матросов черных,
И огромный спуск над якорями
В час паденья тела в ткани скорбной.

Первым блещет флаг над горизонтом,
И под вспышки пушек бодро вьется,
И последним тонет средь обломков,
И еще крылом о воду бьется,

Как душа, что покидает тело,
Как любовь моя к Тебе. Ответь!
Сколько раз Ты в летний день хотела
Завернуться в флаг и умереть.

1928

МИСТИЧЕСКОЕ РОНДО I

Татьяне Шапиро

Белый домик, я тебя увидел
Из окна.
Может быть, в тебе живет Овидий
И весна.
В полдень тихо сходит с белой башни
Сон людской.
Франт проходит в розовой рубашке
Городской.
Шелк песка шумит и затихает.
Дышат смолы.
Отдаленный выстрел долетает,
Точно голубь.
Руки спят, едва меня касаясь,
Голос сонный,
С отдаленной башни долетая,
Славит солнце.
«Спят на солнце золотые души
Тех, кто верит.
Тихо сердцу шепчут о грядущем
Из-за двери.
О Тристан, иди столетий мимо
И внемли:
Я люблю Тебя необъяснимо
Вне земли.
Ты с луны мне говоришь о счастье.
Счастье — смерть.
Я Тебя на солнце буду ждать.
Будь тверд».
Жарко дышат смолы. Всё проходит.
Спит рука. На башне ангел спит.
Меж деревьев белый пароходик
Колесом раскрашенным шумит.

1928

РИМСКОЕ УТРО

Поет весна, летит синица в горы.
На ипподроме лошади бегут.
Легионер грустит у входа в город.
Раб Эпиктет молчит в своем углу.

Под зеленью акаций низкорослых
Спешит вода в отверстия клоак,
А в синеву глядя, где блещут звезды,
Болтают духи о своих делах.

По вековой дороге бледно-серой
Автомобиль сенатора скользит.
Блестит сирень, кричит матрос с галеры.
Христос на аэроплане вдаль летит.

Богиня всходит в сумерки на башню.
С огромной башни тихо вьется флаг.
Христос, постлав газеты лист вчерашний,
Спит в воздухе с звездою в волосах.

А в храме мраморном собаки лают
И статуи играют на рояле,
Века из бани выйти не желают,
Рука луны блестит на одеяле.

А Эпиктет поет. Моя судьба
Стирает Рим, как утро облака.

1928

МИСТИЧЕСКОЕ РОНДО II

Было жарко. Флаги молча вились,
Пели трубы.
На руке часы остановились
У Гекубы.

По веревке ночь спустилась с башни
К нам на двор.
Слышен был на расстоянье страшном
Разговор.

На гранитном виадуке духи
Говорили,
Что внизу в аду тела не в духе,
Где забыли.

На высокой ярко-красной башне
Ангел пел,
А в зеленом небе, детям страшном,
Черный дирижабль летел.

Тихо солнце ехало по рельсам
Раскаленным.
С башни ангел пел о мертвой Эльзе
Голосом отдаленным...

О прекрасной смерти в час победы,
В час венчанья,
О венчанье с солнцем мертвой Эды,
О молчанье.

И насквозь был виден замок снежный
В сердце лета
И огромный пляж на побережье
Леты...

1928

БОГИНЯ ЖИЗНИ

Плыл лунный шар над крепостною крышей,
Спала на солнце неземная площадь,
Цветы сияли, были черны ниши.
В тени мечтала золотая лошадь.

А далеко внизу сходили важно
Каких-то лестниц голубые плиты.
Богиня жизни на вершине башни
Смотрела вдаль с улыбкой Гераклита.

А там цвела сирень, клонясь на мрамор,
И было звездно в синеве весенней.
Там дни слонялись, как цыганский табор,
Там был рассвет, и парк, и воскресенье,

Где корабли тонули в снежном дыме,
На палубе играли трубы хором,
Сквозь сон листвы танцоры проходили,
Кончалась ночь, и голубели горы.

Над остановкой облако алело,
Автомобиль скользил, трубя устало, труба мечтала.
И танцевать пытался неумело
Румяный ангел на исходе бала,

Когда горел, дымя, фонарь бумажный
И соловей в соседнем парке охал.
Но в розах плыл рассветный холод влажный,
Оркестры гасли, возвращаясь к Богу, трубя тревогу.

Уж начинался новый день вне власти
Ночной, весенней, неземной метели.
Был летний праздник полон шумом счастья.
В лиловом небе дирижабли пели.

Стреляли пушки в море белой пыли.
В шуршащих кортах девушки потели,
А в балаганах дети пиво пили
И маленькой рукой махать хотели.

А вдалеке, где замок красных плит,
Мечтала смерть, курчавый Гераклит.

1928

СМЕРТЬ ДЕТЕЙ

Моисею Блюму

Розовеет закат над заснеженным миром.
Возникает сиреневый голос луны.
Над трамваем, в рогах электрической лиры,
Искра прыгает в воздухе темном зимы.

Высоко над домами, над башнями окон,
Пролетает во сне серевеющий снег,
И, пролив в переулок сиреневый локон,
Спит зима и во сне уступает весне.

Расцветает молчанья свинцовая роза —
Сон людей и бессмысленный шепот богов,
Но над каменным сводом ночного мороза
Слышен девичий шепот легчайших шагов.

По небесному своду на розовых пятках
Деловитые ангелы ходят в тиши,
С ними дети играют в полуночи в прятки
Или вешают звезды на елку души.

На хвосте у медведицы звездочка скачет.
Дети сели на зайцев, за нею спешат,
А проснувшись наутро, безудержно плачут,
На игрушки земные смотреть не хотят.

Рождество расцветает над лоном печали.
Праздник, праздник, ты чей? — Я надзвездный, чужой.
Хором свечи в столовой в ответ зазвучали,
Удивленная девочка стала большой.

А когда над окном, над потушенной елкой,
Зазвучал фиолетовый голос луны,
Дети сами открыли окошко светелки,
С подоконника медленно бросились в сны.

1927

ДЕТСТВО ГАМЛЕТА

Ирине Одоевцевой

Много детей собралось в эту ночь на мосту.
Синие звезды надели лимонные шляпы.
Спрятала когти медведица в мягкую лапу.
Мальчик надел свой новый матросский костюм.

Мост этот тихо качался меж жизнью и смертью —
Там, на одной стороне, был холодный рассвет.
Черный фонарщик нес голову ночи на жерди,
Нехотя загорался под крышами газовый свет.

Зимнее утро чесалось под снежной периной.
А на другой стороне был отвесный лиловый лес.
Сверху курлыкал невидимый блеск соловьиный.
Яркие лодки спускались сквозь листья с небес.

В воздухе города желтые крыши горели.
Странное синее небо темнело вдали.
Люди на всех этажах улыбались, блестели.
Только внизу было вовсе не видно земли.

Поезд красивых вагонов сквозь сон подымался.
Странные люди из окон махали платками.
В глетчере синем оркестр наигрывал вальсы.
Кто-то с воздушных шаров говорил с облаками.

Каждый был тих и красив и умен беспредельно.
Светлый дракон их о Боге учил на горе.
В городе ж снежном и сонном был понедельник —
Нужно в гимназию было идти на заре.

Кто-то из воздуха детям шептал над мостами.
Дети молчали, они от огней отвернулись.
Странный кондуктор им роздал билеты с крестами.
Радостно лаял будильник на тех, кто вернулись.

1929

* * *

Михаилу Осиповичу Цетлину

Девочка возвратилась, ангел запел наугад.
На деревянных инструментах дождик забарабанил.
Девочка возвратилась в снова зацветший ад,
Розы ей улыбались розовыми губами.

Папочка, видишь, там киска, милая киска.
Нет, дорогая, это сфинкс заснул на лугу.
Папочка, ты видишь белого трубочиста?
Девочка, я не вижу, девочка, я не могу.

Тихо проходят над городом синие звезды.
Желтые дымные братья внизу — фонари.
Звезды зовут их на небо; там игры и отдых,
Только они не хотят уходить до зари.

Кротко в лесу спят под корнями белые зайцы,
Елка звенит в тишине золотыми лучами.
Сонно вдали отвечают друзья эдельвейсы,
Тихо ей лапками машут над ледниками.

Ночь оплывает, и горы слегка розовеют.
Ангелы молча стоят на рассветном снегу.
Ангел, спаси ее! елку. — Я не умею,
Пусть догорит, я помочь ей погибнуть могу.

Белое небо в снегу распустилось, как время,
Пепельный день заменил бледно-алый рассвет.
Мертвая елка упала в лесу на колени,
Снежную душу срубил молодой дровосек.

Мертвая елка уехала. Сани скрипели,
Гладя дорогу зелеными космами рук.
В небе был праздник, там яркое дерево пело,
Ангелы, за руки взявшись, смеялись вокруг.

1928–1929

ЧЕРНЫЙ ЗАЯЦ

Николаю Оцупу

Гаснет пламя елки, тихо в зале.
В темной детской спит герой, умаясь.
А с карниза красными глазами
Неподвижно смотрит снежный заяц.

Снег летит с небес сплошной стеною,
Фонари гуляют в белых шапках.
В поле, с керосиновой луною,
Паровоз бежит на красных лапках.

Горы-волны ходят в океане.
С островов гудят сирены грозно.
И большой корабль, затертый льдами,
Накренясь, лежит под флагом звездным.

Там в каюте граммофон играет.
И друзья танцуют в полумраке.
Путаясь в ногах, собаки лают.
К кораблю летит скелет во фраке.

У него в руке луна и роза,
А в другой письмо, где желтый локон,
Сквозь узоры звездного мороза
Ангелы за ним следят из окон.

Никому, войдя, мешать не станет.
Вежливо рукой танцоров тронет.
А когда ночное солнце встанет,
Лед растает и корабль утонет.

Только звездный флаг на белой льдине
В южном море с палубы узнают.
И фуражки офицеры снимут.
Краткий выстрел в море отпылает.

Страшный заяц с красными глазами
За двойным стеклом, за слоем ваты,
Хитро смотрит: гаснет елка в зале.
Мертвый лысый мальчик спит в кровати.

1929

HOMMAGE À PABLO PICASSO

Привиденье зари появилось над островом черным.
Одинокий в тумане шептал голубые слова,
Пел гудок у мостов с фиолетовой барки моторной,
А в садах умирала рассветных часов синева.

На огромных канатах в бассейне заржавленный крейсер
Умолял: «Отпустите меня умереть в океане».
Но речной пароходик, в дыму и пару, точно гейзер,
Насмехался над ним и шаланды тащил на аркане.

А у серой палатки, в вагоне на желтых колесах
Акробат и танцовщица спали, обнявшись на сене.
Их отец-великан в полосатой фуфайке матроса
Мылся прямо на площади чистой, пустой и весенней.

Утром в городе новом гуляли красивые дети,
Одинокий за ними следил, улыбаясь в тумане.
Будет цирк наш во флагах и самый огромный на свете,
Будет ездить, качаясь, в зеленом вагон-ресторане.

И еще говорили, а звезды за ними следили,
Так хотелось им с ними играть в акробатов в пыли.
И грядущие годы к порогу зари подходили,
И во сне улыбались грядущие зори земли.

Только вечер пришел. Одинокий заснул от печали,
А огромный закат был предчувствием вечности полон.
На бульваре красивые трубы в огнях зазвучали.
И у серой палатки запел размалеванный клоун.

Высоко над ареной на тонкой стальной бечеве
Шла танцовщица-девочка с нежным своим акробатом.
Вдруг народ приподнялся, и звук оборвался в трубе.
Акробат и танцовщица в зори ушли без возврата.

Высоко над домами летел дирижабль зари,
Угасал и хладел синевеющий вечера воздух.
В лучезарном трико облака, голубые цари,
Безмятежно качались на тонких трапециях звездных.

Одинокий шептал: «Завтра снова весна на земле,
Будет снова мгновенно легко засыпать на рассвете».
Завтра вечность поет: «Не забудь умереть на заре,
Из рассвета в закат перейти, как небесные дети».

1929

СНЕЖНЫЙ ЧАС

Отблеск рая спал на снежном поле,
А кругом зима уж длилась годы.
Иногда лишь, как пугливый кролик,
Пробегала в нем мечта свободы.

Было много снегу в этом мире,
Золотых дерев под пеленою.
Глубоко в таинственном эфире
Проплывало лето стороною.

Высоко в ночи закат пылал,
Там на лыжах ангел пробегал.
Он увидел сонный призрак рая
И заснул, в его лучах играя.

Бедный ангел, от любви очнись,
Ты на долгий белый путь вернись.
Сон тебя не знает, он жесток,
В нем глубоко спит ночной восток.

Я встаю, ответил ангел сонно,
Я посланец девы отдаленной.
Я летал по небу без усилья,
Как же холод заковал мне крылья?

Долго ангел медлил, умирая,
А над ним горела роза рая.

1925–1931

* * *

Темною весною, снежною весною
Возвратился черный акробат.
Он у башни встретился с луною,
Тень упала от его горба.

Тихо город возникал из пены,
Пел в лесу колесный пароход,
Призрак жизни на огромных стенах,
Он смотрел в тумане на восход.

Мир был тот же, розовый и странный,
Безнадежный сине-золотой,
Яркий флаг взошел над рестораном,
Полил грузовик песок водой.

Клоун вспомнил трубы на вокзале,
Но уже, казалось, далеко
Девушка, играющая в зале
Музыку на лошади в трико,

И уже внизу, средь белой пыли,
Лошади везли песок на мол,
Голубые сны, автомобили
Проезжали с шумом в Сан-Ремо.

Летний полдень возвратился с моря,
Граммофонная пластинка пела,
Но далёко в ледовитом море
Погружалась в воду Консуэлла.

Весь в огнях, под звук оркестра сонный,
Утопал гигантский пароход.
Консуэллу голос отдаленный
Из воды темнеющей зовет.

И когда рука от боли страшной
Отпустила борт, герольд пропел,
Нищий призрак, оступившись с башни,
На свиданье в море полетел.

* * *

«Скоро выйдет солнце голубое».
«Почему же, детка, голубое?» — «Так!»
Тихо розы расцветали на обоях.
Спал воздушный шар на высотах.

Дети были целый день на пляже,
Поздно вечером вернулись в город,
Под зонтами в синих экипажах
Укатили все обедать в горы.

Это лето было все в закатах,
Все в предчувствии миров иных.
Ночью пела синяя Геката.
Днем грустило солнце с вышины.

На вершину мира восходили,
Улыбаясь, умирать часы,
Голубые сны-автомобили
У прибрежной пели полосы.

За окном сияла водяная
Синяя стена, песок и флаги.
На шезлонге девочка больная
Склеивала домик из бумаги.

«Этот домик, он зачем?» — «Для кошки.
Нет, возьму его с собой на небо.
Буду там медведицу в окошко
Я кормить с ладони черным хлебом».

«Ну, а это что за поезд в поле?
С ватным дымом он куда идет?»
«Папа, папа, уж отходит поезд,
И весна меня в окно зовет».

Папа вышел. Гавань флот покинул.
Хлопал парус тента. С моря дуло.
Тихо, на бок голову откинув,
Меж игрушек девочка заснула.

Странный ангел появился с моря,
На кривых колесах поезд ожил,
И над белым паровозом в горы
Поднялся дымок, на винт похожий.

Девочка вошла в вагон картонный,
Мир сиял ей флагами, годами.
И отельный старичок-садовник
Подлетел к ее окну с цветами.

Поезд тронул. От балкона в вечность
Полетела вслед ему оса.
Кто-то странный, подойдя навстречу,
В лоб поцеловал ее отца.

1929

МАЛЬЧИК И АНГЕЛ

Юрию Фельзену

Солнце было низко, низко в небе
В черном мире между черных туч.
В золотом своем великолепье
Возвращался в горы мертвый луч.

Под сиренью в грязном переулке
Синеглазый ангел умирал.
И над ним, идя домой с прогулки,
Нежный, пьяный мальчик хохотал.

Что вас носит, ангельские дети,
Меж сиреней плакать на земле?
Нужно было рано на рассвете
Улететь на маленьком крыле.

Помню, звал сквозь розовые ветки
Голос, часто слышанный во сне:
«Поздно, поздно, возвращайся, детка,
День идет с небес, как синий снег».

Застывают в зеркале над парком
Отраженья звезд — цветы во льду.
Улыбаясь, разбивает парка
Это зеркало весной в аду.

Розовые звезды равнодушья,
Что вас носит в небе в белый день?
Только ангел мальчика не слушал,
Он смотрел, как падает сирень.

Каждый крестик, мимо пролетая,
Пел ему: «Возьми меня с собой».
А потом он точно снег растаял.
Черт же мальчика унес в кафе домой.

1929

ГАМЛЕТ И АНГЕЛ

Гамлет начал стареть,
Он не хочет картины смотреть.
Черное масло медлит гореть.
Боже, как я хочу умереть.
Птице над бездной трудно лететь.
Гамлет и ангел вместе пришли,
Черную розу в поле нашли.
Гамлет сказал: «Отдай ее мне,
Много цветов там, в вашей стране».
Ангел заплакал, и розу отдал,
И отдалился в рассветную даль.
Все изменялось; клонясь с высоты,
В желтом дыму распускались цветы.
С солнца горячий дохнул ветерок,
Белый корабль отразил ручеек.
Спит Иоанн, про далекие страны
Голос поет безмятежно и странно:
«О! Саломея, ведь он Твой гость

До самой ночи средь ярких звезд».
Тихо проходят года-облака,
В поле теченье меняет река,
Осень сияет в лесу на горе,
Грезят рябины о мертвом царе,
Черные сфинксы в розах молчат,
Смерть, улыбаясь, входит в свой сад.
Время, очнись! Он заплакал, проснулся.
Ангел прекрасный ему улыбнулся.
«Где я, что делал все эти века?»
«Милый, ты спал у меня на руках.
Сон Твой был долог, высок, глубок
Страшен, как счастье, сладок, как рок».

В ДУХОВ ДЕНЬ

Борису Заковичу

Карлики и гномы на скамьях собора
Слушали музыку с лицами царей.
Пели и молились еле слышным хором
О том, чтобы солнце взошло из морей.

Только ночь была глубока, как годы,
Где столько звезд зашло и не встанет;
Черные лица смотрели в сводах,
Черные дьяконы шли с цветами.

Солнышко, солнце, мы так устали
Маленькие руки к небу подымать.
Черные бури в море перестали,
Розовый голос Твой все ж не слыхать.

Солнце, взойди! Наши души остынут,
Мы станем большими, мы забудем свой сон.
Ложное солнце плывет из пустыни,
Солнце восходит со всех сторон.

И к земле наклонялись. А духи смеялись,
Черные лица в колоннах пряча.
Серое зарево в небе появлялось,
К бойне тащилась первая кляча.

А когда наутро служитель в скуфейке
Пришел подметать холодный собор,
Он был удивлен, что на всех скамейках
Мертвые розы лежали, как сор.

Тихо собрал восковыми руками,
В маленький гроб на дворе положил,
И пошел, уменьшаясь меж облаками,
В сад золотой, где он летом жил.

В СУМРАКЕ

В сумраке сирены капитанов
Огибали темно-синий мыс,
А на башне, в шорохе каштанов,
Астроном смотрел в астральный мир.
Важно шли по циферблату числа —
Маленькие, с синими глазами;
Тихо пели, пролетая, листья,
А внизу бежал трамвай с огнями.
Спрашивали карлики на крыше:
«Ну, а звезды, вечно хороши?»
Улыбался астроном из ниши,
А в машине тикали часы.
Числа знали — звезды умирают,
И, осиротев, огонь лучей
Все ж летит по направленью рая,
В детские глаза летит ничей.
Странно звездам, страшно звездам синим,
Им, летящим в холоде веков,
Никогда не встретиться с другими,
Изойти сиянием стихов.
Только в темном уголке творенья
Розы осени в садах цветут,
Соловьи грустят в ночных сиренях,
В синагоге канторы поют.
На высоких голубых карнизах
Карлики мечтают о весне.
Астрономы плачут в лунных ризах,
И к звездам летит больной во сне.

А у пляжа, где деревья дремлют,
На скамьях влюбленные мечтают
И смеются, что покинуть землю
Их над морем трубы призывают.

1929

ПОД ЗЕМЛЮ

Сергею Кузнецову

Маленький священник играл на рояле
В церкви заколоченной в снежную ночь.
Клавиши тихо шумели и врали —
Им было с метелью бороться невмочь.

Она сотрясала иконостасы,
Гасила лампады и плакала в трубах.
Тихо склонясь к земле, ипостаси
Кутались в жесткие, желтые шубы.

А в глубоком снегу засыпал проходимец
В белой рубашке с черным крестом.
Он в маленьком свертке нес в церковь гостинец
И заснул, заблудившись, под тощим кустом.

А белые зайцы смотрели из норок,
О чем-то шептались — хотели помочь.
А волки царапались в двери собора,
Но лапками разве чугун превозмочь?

И карлики, ангелы белых снежинок,
Его покрывали своими лучами
Там, где, уснувши в тепле пелеринок,
Елки сияли звездами-свечами.

И всё было глухо и тягостно в чаще.
Над всем были снежные толщи и годы,
Лишь музыка тихо сияла из Чаши
Неслышным и розовым светом свободы.

И плакали волки. А мертвый был кроток,
Исполнив заветы Святого Грааля,
И только жалел, что оставил кого-то
В подземной часовне за черным роялем.

1929

ЗВЕЗДНЫЙ ЯД

Иде Григорьевне Карской

В гробовом таинственном театре
Неземные на столах лежали.
Их лечил профессор Мориатри
От желанья жить и от печали.

В классе был один самоубийца,
Он любил с ним говорить о розах.
А другой, боящийся разбиться,
Углублялся с ним в свои неврозы.

А Ник Картер утром приходил.
Он смотрел сквозь лупу в очи мертвых.
Размышлял: профессор здесь вредил,
Он разведал адрес самых гордых.

Каждой ночью в бездну прилетая
С золотой звездой в кармане фрака,
Здесь, смеясь, грустя и сострадая,
Он поил их звездным ядом мрака.

Синие смотрели в океаны,
Черные на башне звали ночь,
Белые спускались за туманы,
Алые в зарю летели прочь.

А Ник Картер под дождем рыдал:
Ведь не усмотрел, а как старался.
Но профессор вдруг покинул даль
И к нему со скрипкою подкрался.

Бедный сыщик тихо вытер слезы.
Прямо в сердце револьвер приставил.
И случилась с ним метаморфоза:
Ангелом он этот мир оставил.

* * *

Гроза прошла, и небо стало розовым,
Таким, каким оно приснилось девочке.
Там вышел вечер в платье абрикосовом
Гулять с луной на голубой веревочке.

А в маленьком саду цветы смеялись:
«Весна прошла, как мы цветем давно».
Но к ним уже ночные духи крались.
Туберкулезный музыкант открыл окно.

Он вдаль смотрел с улыбкой Джиоконды,
Где из-за леса глухо пели птицы
И черный арлекин по горизонту
Мгновенно пробегал в лучах зарницы.

Как сладко было слушать, как смеялась
Звезда над миром, обнимая скрипку.
Ночная туча тихо в небе кралась
Ко спящим звездам — серебристым рыбкам.

Вдруг хлопнуло стекло само собой,
Огромные глаза зажглись над садом.
И отдаленный хор принес прибой,
Который пел за черным водопадом.

И вновь открылось черное окно,
И шелест счастья, снежный призрак вальса,
Пропел в кустах; там, наполняя ночь,
Скелет играл, качался и смеялся.

Листы склонялись, травы задыхались,
Летела ночь. Дом засыпал в снегах.
На полюсах огромные молчали
Святые сфинксы с розами в зубах.

1929

САЛОМЕЯ I

Тихо ангел гасил фонари.
Вот еще один там погас.
Синий, белый в лучах зари
Проскакал надо мной Пегас.

Странный призрак в бледном огне,
Отдалился он и исчез.
Кто-то страшно крикнул в окне
При паденье последних звезд.

Город спал на больших якорях
На канале, что пуст и мал,
Далеко в рассветных морях
Утонувший кораблик спал.

Это детство мое отошло
В океан голубой без предела.
Свесив ноги в черном трико,
Смерть сидела на мачте белой.

На корме был прекрасный флаг,
Бледно-алый с звездой золотой,
Но высоко, почти в облаках,
Смерть махала черной фатой.

Саломея! Бушует рок,
Развевает флаги судьба.
У твоих остроносых ног
Умирает в песке звезда.

Голубой и смешной матрос
Отравился вином из роз,
А высокий его пароход
Мимо мола ушел в поход.

Он напрасно бежит по земле,
Всё пытаясь кричать, свистеть.
Смерть играет в саду на трубе,
Звон сиреней несется с аллей.
Пожалей, его пожалей!
Помоги ему умереть.

1929

САЛОМЕЯ II

Розовеет осенний лес
На холмах, я плачу, я жду.
Саломея, Тебе с небес
Посылает детство звезду.

Ты живешь на лесистой горе,
Где над замком флаги грустят,
Дремлют карлы в высокой траве,
Над стенами стрижи свистят.

Дальний берег окутан мглою,
Душный вечер горит, горит.
Там, где море слилось с рекою,
Уж маяк неземной царит.

Голубой и смешной матрос
Нагружает свой пароход
Миллионами белых роз
И уходит с зарей в поход.

Саломея! Слышишь, трубит
Пароход у земных маяков?
Нынче ночью в бурю судьбы
Он уходит без моряков.

Будет детство свое искать,
Никогда его не найдет.
В океане, где спит тоска,
Разобьется о вечный лед.

Буря рока шумит в сиренях.
Голос с моря: «Я жду, я жду!»
Саломея на зов сирены
Вознесла над землей звезду.

На огромной башне железной,
Вся в раздумье, смотрит в туман;
Брось ее в голубую бездну,
Отпусти корабль в океан.

Безвозвратно плаванье юных,
Голубых и смешных сердец.
Волны всходят по лестнице лунной,
Голос с моря: «Конец! конец!»

Все мгновенно, все бесконечно;
Ветер встречный, прощай, прощай.
Напевая в сиренях млечных,
Буря смерти несется в рай.

1929

РОМАНС

Изумрудное небо сияет,
Темен город, таинственен сквер.
Саломея, душа забывает,
Как похож был твой голос на смерть.

Помню я, Ты пришла из заката
С черной чашею в тонких руках.
Вечер в пении белых акаций
Отходил за рекой в облака.

Всё казалось бесцельным и странным.
Черный рыцарь глаза закрывал.
Над болотом оркестр ресторанный
В бесконечной дали проплывал.

Спящий призрак, ведь я не умею
Разбудить Тебя — я Твой сон.
Пела, низко склонясь Саломея
Над болотной водой, в унисон.

Минет время, исчезнет вчерашний
Чернокрылый призрак земли.
Буду ждать Тебя в замке на башне,
Где звезда напевает вдали.

Золотая, иная, живая,
Неразлучна с тобою в веках...
Спи, мой рыцарь, над Ронсевалем
Так прекрасны огни в облаках.

Чтобы ты не увидел горя,
Прожил счастливо этот год,
Брошу черную чашу в море,
Отойду в сиянье болот.

На горах розовеют годы,
Все прошедшее близко к весне,
Где под яркой звездою свободы
Память спит, улыбаясь во сне.

1929

РОЗЫ ГРААЛЯ

Ольге Николаевне Гарденинoй

Спала вечность в розовом гробу.
А кругом всё было тихо странно.
В синюю стеклянную трубу
Ангелы трубили про судьбу
В изумрудном небе летом ранним.

В темном доме призрак спал на стуле,
На рабочий стол облокотясь.
А в большом окне огни июля
Молча гасли, медленно тонули,
На огромной глубине светясь.

Высока заря над Ронсевалем,
Неподвижен вечер, кончен путь.
За стенами рыцари Грааля
Розу белую в снегу сорвали
И кого-то, улыбаясь, ждут.

Осветил закат святые своды.
Высоко на башнях спят цари.
А над ними в ясную погоду
Корабли весны идут, как годы,
С них играет музыка зари.

Колокол отбил часы разлуки.
Высоко в горах сияет осень.
Подойдет к дверям, забудет муку,
И в землей испачканную руку

Вложит розу золотой оруженосец.
Тихо скажет: лето миновало.
Повернулся золоченый шар.
Посмотри, как все возликовало!
Лишь цари прочли в закате алом,
Что вернулась к нам Твоя душа.

1929

УСПЕНИЕ

Софии Григорьевне Сталинской

В черном мире, где души враждебны,
Где закаты погибнуть зовут,
Тихо яблони в платье свадебном
Из предместья в поле идут.

В ярко-желтое дымное море
Легче им на заре отлететь,
Чем в пыли отцветать у дороги.
Ах, как дети хотят умереть.

Только редко над их ореолом
Раскрываются в небе глаза
И с прекрасным журчаньем веселым
Прилетает из рая гроза.

А наутро выходит приезжий
В мокрый сад погрустить в гамаке.
Видит — яблоня в белых созвездиях
Умирает на мокром песке.

И вступая в тяжелое лето,
Сестры нежно завидуют ей,
Отошедшей в закат средь рассвета
В бледно-розовом дыме ветвей.

1929

ЖАЛОСТЬ К ЕВРОПЕ

Марку Слониму

Европа, Европа, как медленно в трауре юном
Огромные флаги твои развеваются в воздухе лунном.
Безногие люди, смеясь, говорят про войну,
А в парке ученый готовит снаряд на Луну.

Высокие здания яркие флаги подняли.
Удастся ли опыт? На башне мечтают часы.
А в море закатном огромными летними днями
Уходит корабль в конце дымовой полосы.

А дождик осенний летит на асфальт лиловатый,
Звенит синема, и подросток билет покупает.
А в небе дождливом таинственный гений крылатый
Вверху небоскреба о будущем счастье мечтает.

Европа, Европа, сады твои полны народу.
Читает газету Офелия в белом такси.
А Гамлет в трамвае мечтает уйти на свободу,
Упав под колеса с улыбкою смертной тоски.

А солнце огромное клонится в желтом тумане,
Далёко-далёко в предместиях газ запылал.
Европа, Европа-корабль утопал в океане,
А в зале оркестр молитву на трубах играл.

И все вспоминали трамваи, деревья и осень.
И все опускались, грустя, в голубую пучину.
Вам страшно, скажите? — Мне страшно ль? Не очень!
Ведь я европеец! — смеялся во фраке мужчина. —

Ведь я англичанин, мне льды по газетам знакомы.
Привык подчиняться, проигрывать с гордым челом.
А в Лондоне нежные леди приходят к знакомым,
И розы в магазинах вянут за толстым стеклом.

А гений на башне мечтал про грядущие годы.
Стеклянные синие здания видел вдали,
Где ангелы-люди носились на крыльях свободы,
Грустить улетали на Солнце с холодной Земли.

Там снова закаты сияли над крышами башен,
Где пели влюбленные в небо о вечной весне.
И плакали люди наутро от жалости страшной,
Прошедшие годы увидев случайно во сне.

Пустые бульвары, где дождик, упав и уставши,
Прилег под забором в холодной осенней истоме,
Где умерли мы, для себя ничего не дождавшись,
Больные рабочие слишком высокого дома.

Под белыми камнями в желтом холодном рассвете
Спокойны, как годы, как тонущий герцог во фраке,
Как старый профессор, летящий в железной ракете
К убийственным звездам и тихо поющий во мраке.

1929–1930

ДУХ МУЗЫКИ

Над балом музыки сияли облака,
Горела зелень яркая у входа,
Там жизнь была, а в десяти шагах
Синела ночь и плыли в вечность годы.
Мы танцевали нашу жизнь под шум
Огромных труб, где рокотало время.
Смеялся пьяный, видя столько лун,
Уснувших в розах и объятых тленьем.
На зовы труб, над пропастью авгурной,
С крылами ярких флагов на плечах,
Прошли танцоры поступью бравурной,
Как блеск ракет, блуждающих в ночах.
Они смеялись, плакали, грустили,
Бросали розы к отраженьям звезд,
Таинственные книги возносили,
Вдали смолкали, перейдя за мост.
Всё исчезало, гасло, обрывалось,
А музыка кричала: «Хор вперед!»
Ломала руки в переулке жалость
И музыку убить звала народ.
Но ангелы играли безмятежно,
Их слушали трава, цветы и дети.
Кружась, танцоры целовались нежно

И просыпались на другой планете.
Казалось им — они цвели в аду,
А далеко внизу был воздух синий.
Дух музыки мечтал в ночном саду
С энигматической улыбкой соловьиной.
Там бал погас. Там был рассвет, покой.
Лишь тонкою железною рукой
Наигрывала смерть за упокой.
Вставало тихо солнце за рекой.

1930

ANGELIQUE

Солнце гладит прозрачные льды.
Спит лицо восходящей зимы.

Солнце греет пустые цветы,
Что растут за стеной темноты.

Нежный мир пребывает во льду.
Спит с полярной звездою на лбу.

Но совсем на другой стороне
Сам себя видит отрок во сне.

На ките, на плешивой луне...
Дом любви видит призрак в стекле,

Металлических птиц в хрустале,
Пароход на зеленой скале,
Аполлона, что спит в земле...

Но поет граммофон под землей,
Дева ходит в реке ледяной,

И над крышами дворцов и дач
Пролетает футбольный мяч.

Этот мир — фиолетовый блеск,
Страшный рев отлетающих звезд,

Дикий шик опереточных див,
Возвращающийся мотив.

И проходит процессия душ
Под мечтательный уличный душ,

И у каждой печаль и вопрос,
Отрицательный адский нос.

А над ними, на хорах, в тюрьме,
Ряд иной проплывает во тьме —

Удивительных спящих лиц,
Не глядевших, не павших ниц.

Но меж ними волшебство и дождь,
Слой безумный, там адова дочь,

Отвратительный прекрасный цирк,
Где танцовщицы и мертвецы.

1926–1930

В ОТДАЛЕНИИ

Было тихо в мире, было поздно,
Грязный ангел забывал свой голод
И ложился спать под флагом звездным,
Постепенно покрывавшим город.

А над черным веером курзала,
Где сгорел закат, костер печали,
Тихо небо растворяло залы,
Ночь на башне призраки встречали.

Голоса их были безмятежны...
Всё, что было, спало перед ними
На святой равнине белоснежной.
Всё, что будет, плыло еле зримо.

На краю небес, на грани ночи,
Просыпались звезды, снились очи.
Далеко внизу луна всходила.
И ночная птица тихо выла.

С башни пело время, гасла башня,
И луна кралась в одной рубашке.
Грязный ангел спал в лучах рассвета.
И к нему с небес плыла комета.

1928

ЗИМА

Абраму Минчину

Розовый свет опускается к белой долине,
Солнце встает, занимается небо души.
Ангел танцует в лучах золотой мандолины,
В парке замерзших деревьев блестят камыши.

Утро зимы начинается заревом снега.
Падает вечность бесшумно на теплую руку,
Чистая вечность спускается к телу, как нежность,
И исчезает, припав к воплощенному духу.

Мертвое солнце на розовом айсберге дремлет,
Тихо играет в темнице оркестр заключенных,
Черные души с огнями спустились под землю,
В небо поднялись священные тени влюбленных.

Снег мироздания падает в воздухе черном.
Дева рассвета блуждает среди экипажей;
Тихо за ней, наклоняясь, процессией скорбной
Шествуют сонные желтые призраки газы.

Всё засыпает, на башнях молчат великаны.
Всё изменяется к утренним странным часам:
Серое небо белесым большим тараканом
В черное сердце вползает нагим мертвецам.

1928–1930

ВСПОМНИТЬ — ВОСКРЕСНУТЬ

В безысходном кривом переулке
Черный, страшный фургон проезжал,
На камнях ежедневной прогулки
Карлик солнце, раздавлен, лежал.

Мы спустились под землю по трапу,
Мы искали центральный огонь,
По огромному черному скату
Мы скользнули в безмолвье и сон.

В бесконечных кривых коридорах
Мы спускались все ниже и ниже.
Чьих-то странных ночных разговоров
Отдаленное пение слышим.

«Кто там ходит?» — «Погибшая память».
«Где любовь?» — «Возвратилась к царю».
Снег покрыл, точно алое знамя,
Мертвецов, отошедших в зарю.

Им не надо ни счастья, ни веры,
Им милей абсолютная ночь.
Кто достиг ледяного барьера,
Хочет только года превозмочь

И, свернувшись в кровати, как дети,
Великанов ночных обмануть,
В мир зари отойти на рассвете,
Отошедшую память вернуть.

1928

ОСТРОВ СМЕРТИ

Дине Григорьевне Шрайбман

Сонно алые трубы пропели мою неудачу,
Мне закрылись века, покрывается снегом река.
Я на острове смерти лежу неподвижно и плачу,
И цветут надо мной безмятежно огни-облака.

Там весна золотая, и странное долгое лето,
И какие-то белые башни, где сонная музыка дышит.
Тихо к ним подлетает из темного неба комета,
Но играющий в башне священной не спит и не слышит.

Там на большой высоте повторяется голос пропевший.
Все встречаются снова, смеясь, на большом расстоянье.
Точно зимнее солнце больное сквозь лес облетевший
В отдалении видит покинутый сон мирозданья.

Я забыл имена, я уснул посредине дороги,
Молча желтую шляпу снял древний каштан надо мною,
Солнце, долго прощаясь, стояло на синем пороге
И ушло, показавшись над холодом красной луною.

На траве излучается иней. Как в будущем мире,
Сквозь туман отдаленные трубы поют на вокзале.
Я давно Тебя видел уснувшей в зеленом эфире,
Было много народу, и звезды горели в курзале.

Плыл на розовом небе таинственный флаг охлажденья,
Отдаленная музыка в гладкое море вливалась,
Где-то в воздухе чистом (казалось — то плакал младенец)
Отдаленное пенье пустого трамвая рождалось.

Я тогда уже понял, что мало мне вечности будет,
Чтоб обдумать, какой был над морем таинственный вечер.
В ожидании снега смеялись и морщились люди,
И газетчик о смерти кричал у подъезда аптеки.

1928

ДУХ ВОЗДУХА

Анне Присмановой

Дева осень вышла из рая.
Небо сине до самого края.

Тихо в вышних морях светлооких
Тонет белый корабль одиноких.

Под березою в желтом лесу
Спит прекрасный лесной Иисус.

Кроткий заяц стоит над ним,
Греет лапу о желтый нимб.

Дева осень, ты хороша,
Как погибшая моя душа.

Ты тиха, как рассветная мгла,
В которой она от земли ушла.

Боже Господи, как легко,
Как глубоко, как от земли далеко.

В темном доме она жила.
Никому не сделала зла.

Много плакала, много спала.
Как хорошо, что она умерла.

Если Бога и рая нет,
Будет сладко ей спать во тьме.

Слаще, чем жить в золотом раю,
Куда я за ней никогда не приду.

1927–1930

LUMIÈRE ASTRALE

Тише. Тайна — в этом мире
Меркнет свет.
Дым ползет, и мрак ложится,
Дышит снег.
Возникает смех, и гаснет
Смерть царей,
И поет, красив и ясен,
Граммофон.
В небе реет кроткий орлик
В золотом венке;
Спит с иглой железной в горле
Жизнь в мешке.
А на солнце тихо тает
Ледяной дворец,
Где о будущем мечтает
Боль сердец.

Духи ночи щурят очи
И молчат,
И, блеснув огнями в ночи,
Дышит ад.

1926–1930

МИСТИЧЕСКОЕ РОНДО III

Кошкам холодно. Они зевают
Да. Да.
А над башней мира тихо пролетают
Бабочки-года.
Ангелы кирпич таскают белый,
Строят дом,
А другие спят в лесу без дела
Золотом.
Дева-осень их околдовала
Синевой,
В нежный детский лоб поцеловала
Под горой.
Кто там ходит, в бездне напевая?
Спать пора.
В синеве песок переливают
Два царя.
Царь дневной тщедушен, хил и нежен,
Смотрит он,
Как песок спадает белоснежный
На балкон.
Ищет в книге он святые звуки.
Книга спит,
Белые сложив страницы-руки
На груди.
А ночной король на солнце ходит
С мертвой головой,
Бабочек он тонкой сеткой ловит
Голубой.
И тогда стекает время жизни,
Как вода,
Что несет Офелию к отчизне.
Навсегда.

1930

МОРЕЛЛА I

Фонари отцветали, и ночь на рояле играла,
Привиденье рассвета уже появилось в кустах.
С неподвижной улыбкой Ты молча зарю озирала,
И она, отражаясь, синела на сжатых устах.
Утро маской медузы уже появлялось над миром,
Где со светом боролись мечты соловьев в камыше.
Твой таинственный взгляд, провожая созвездие Лиры,
Соколиный, спокойный, не видел меня на земле.
Ты орлиною лапой разорванный жемчуг катала,
Ты как будто считала мои краткосрочные годы.
Почему я Тебя потерял? Ты, как ночь, мирозданьем играла.
Почему я упал и орла отпустил на свободу?
Ты, как черный орел, развевалась на желтых закатах,
Ты, как гордый, немой ореол, осеняла судьбу.
Ты вошла, не спросясь, и отдернула с зеркала скатерть,
И увидела нежную девочку-вечность в гробу.
Ты, как нежная вечность, расправила черные перья,
Ты на желтых закатах влюбилась в сиянье отчизны.
О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни,
Будь, как черные дети, забудь свою родину — Пэри!
Ты, как маска Медузы, на белое время смотрела,
Соловьи догорали, и фабрики выли вдали,
Только утренний поезд пронесся, грустя, за пределы
Там, где мертвая вечность покинула чары земли.
О Морелла, вернись, всё когда-нибудь будет иначе,
Свет смеется над нами, закрой снеговые глаза.
Твой орленок страдает, Морелла, он плачет, он плачет,
И, как краска ресниц, мироздание тает в слезах.

1930

МОРЕЛЛА II

Тихо голос Мореллы замолк на ином берегу.
Как серебряный сокол, луна пролетела на север.
Спало мертвое время в открытом железном гробу.
Тихо бабочки снега садились вокруг на деревья.
Фиолетовый отблеск все медлил над снежною степью,
Как небесная доблесть, в Твоих неподвижных глазах —
Там, где солнце приковано страшною черною цепью,

Чтоб ходило по кругу, и ангел стоит на часах.
Пойте доблесть Мореллы, герои, ушедшие в море,
Эта девочка-вечность расправила крылья орла.
Но метели врывались, и звезды носились в соборе,
Звезды звали Мореллу, не зная, что Ты умерла.
Молча в лунную бурю мы с замка на море смотрели,
Снизу черные волны шумели про доблесть Твою,
Ветер рвался из жизни, и лунные выли свирели,
Ты, как черный штандарт, развевалась на самом краю.
Ты, как жизнь, возвращалась; как свет, улетающий в бездну,
Ты вступила на воздух и тихо сквозь воздух ушла.
А навстречу слетали огромные снежные звезды,
Окружали Тебя, целовали Тебя без числа.
Где Ты, светлая, где? О, в каком снеговом одеянье
Нас застанет с Тобой Воскресения мертвых труба?
На дворе Рождество. Спит усталая жизнь над гаданьем,
И из зеркала в мир чернокрылая сходит судьба.

1930

СЕРАФИТА I

Электрических скрипок взыванье рождалось во мраке,
На огромном экране корабль опускался ко дну,
Дождь шумел на асфальте. Трещала рулетка в бараке.
На пороге свободы Ты вспомнишь ли эту весну?
Ты глаза закрывала и в страшную даль уходила,
В граммофоне Тангейзер напрасно о смерти кричал.
Ты была далеко, Ты, быть может, на небо всходила,
Мир сиял пред Тобою, как утренний снег, и молчал.
Разрывались созвездья, и в розах рождались миры,
Но средь пения жизни я пал у невидимой двери.
О Мария, там, в бездне, Ты имя мое помяни,
Я, быть может, услышу, я, может быть, вспомню тот берег.
Так был сон Твой глубок, что могла незаметно разбиться
Золотистая нить. И уже Ты, казалось, не дышишь.
Я из грохота жизни Тебя умолял опуститься.
Умолял и надеялся: может быть, Ты не услышишь.
Только голос родился. Ах, я не понял сначала,
Он в таком утомленье рождался, так долго летел,
Точно птица, что вечность крылами над морем качала,
Он себе удивлялся и сам себя слушать хотел.

«Я с Тобой навсегда. Я на небе Тебя не теряю.
Это темное имя я в круги зари унесла.
Засыпаю, теряюсь, слабею, лечу, умираю.
Ангел белое имя со мною над хаосом зла».
Только свет, точно желтое лезвие, вышел из мрака.
Представленье кончалось, дождливая гасла весна.
Быстро время проходит, но сердце не ведает страха.
Сердце слышит, как молятся в круге зари имена.

1930

СЕРАФИТА II

Ночь подвигалась вперед. Всё само от себя отличалось,
Всё превращалось в ином. Было время Тебе появиться.
В подземелье мы пели, и девушка в карты играла,
Только я выходил, и молчал, и пытался молиться.
И к вину возвращался. О, если бы Ты не пришла!
Мы со всею любовью, со щедростью, с братской печалью
Всё же сделали б то, что хотели сияния зла,
Потому что никто ничего о рассвете не знали.
Всё казалось иным. Было время Тебе снизойти.
Было что-то в заре, что уже не хотело проснуться.
Солнце в бездне молилось, ему не хотелось взойти,
А — заплакать, погаснуть и в саван лучей завернуться.
А гитара кричала: мы лучшего были достойны,
Но они отвернулись, они позабыли о нас.
Только в худшей судьбе, лишь во тьме и в грязи непристойной,
Наша звездная участь безумной печалью слышна.
Пейте черные звезды! Но вспыхнуло вдруг мирозданье.
Ты вошла не спросясь. Даже руку поднять не успели.
Мы не ждали Тебя. Ты сквозь бездну пришла на свиданье.
Глубоко под землей мы играли, мы врали и пели.
И была Ты тиха, как рассвет над фабричным кварталом,
Хороша, точно пыльная ветка в пустых городах.
Ты у грязной стены, прислонившись как пьяный, стояла,
И в глазах Твоих слезы сияли, как птицы в лесах.
Ты смотрела на лица, на пепел, на сданные карты
И молчала, готовая тысячу раз умереть.
Мы из тьмы исступленья, в смятенье и в дыме азарта,
Созерцали готовую тысячу раз умереть.
И петух закричал, точно ангел над миром позора.
Ты простерла ладони и тихо сказала, что — «Скоро».

1930

СТОИЦИЗМ

В теплый час над потемневшим миром
Желтоносый месяц родился
И тотчас же, выстиранный с мылом,
Вдруг почувствовал: осень, сад.
Целый день жара трубила с башни,
Был предсмертный сон в глазах людей.
Только поздно улыбнулся влажно
Темно-алый вечер чародей.
Под зеленым сумраком каштанов
Высыхал гранит темно-лиловый.
Хохотали дети у фонтана,
Рисовали мелом город новый.
Утром птицы мылись в акведуке,
Спал на голых досках император.
И уже средь мрамора и скуки
Ад дышал полуденный с Евфрата.
А над замком под смертельным небом,
Распростерши золотые крылья,
Улыбалась мертвая победа
И солдат дремал под слоем пыли.
Было душно. В неуютной бане
Воровали вещи, нищих брили.
Шевеля медлительно губами
Мы в воде о сферах говорили.
И о том, как, отшумев прекрасно,
Мир сгорит, о том, что в Риме вечер,
И о чудной гибели напрасной
Мудрецов, детей широкоплечих.
Насмехались мокрые атлеты,
Разгоралась желтая луна,
Но Христос, склонившийся над Летой,
В отдаленье страшном слушал нас.
В море ночи распускались звезды
И цветы спасались от жары,
Но, уже проснувшись, шли над бездной
В Вифлеем индусские цари.
И слуга у спящего Пилата
Воду тихо в чашу наливал,
Центурион дежурный чистил латы,
И Иосиф хмуро крест стругал.

1930

* * *

Целый день в холодном, грязном саване
Спал мечтатель, позабыв о мире.
Утром было состязанье в плаванье,
Трубачи играли на буксире,

Потные гребцы кричали с лодок,
Шумно люди хлопали с мостов,
И в порыве ветра на свободу
Флаги рвались с окон и шестов.

Ветер в воду уносил журналы,
В синеву с бульвара пыль летела.
И воздушный шарик у вокзала
Бился в ветках липы облетелой.

Все, что летом прочь не уезжали,
Желтый лист возили на бульваре
И на небе, щурясь, разбирали
Объявленье на воздушном шаре.

Все они бодрились, улыбались
И грустить друг другу не давали,
Будто никогда не ошибались,
Будто ничего не ожидали.

И устав от пестроты и лени,
Возвратились по домам без ног
В час, когда в больном оцепененье
Встал мечтатель и раскрыл окно.

1930

* * *

Мир был темен, холоден, прозрачен,
Исподволь давно к зиме готов.
Близок к тем, кто одинок и мрачен,
Прям, суров и пробужден от снов.

Думал он: смиряйся, будь суровым,
Все несчастны, все молчат, все ждут,
Все, смеясь, работают и снова
Дремлют, книгу уронив на грудь.

Скоро будут ночи бесконечны,
Низко лампы склонятся к столу.
На крутой скамье библиотечной
Будет нищий прятаться в углу.

Станет ясно, что, шутя, скрывая,
Всё ж умеем Богу боль прощать.
Жить. Молиться, двери закрывая.
В бездне книги черные читать.

На пустых бульварах замерзая,
Говорить о правде до рассвета,
Умирать, живых благословляя,
И писать до смерти без ответа.

1930

* * *

Тихо в доме, люди вышли к миру,
Слышен дальний хохот голосов,
Медленно склоняется к надиру
Стрелка солнечных часов.

Каждому родившемуся мигу
Руки цепью связывают сны.
В подземелье жизнь читает книгу.
В монастырском платье у стены

Ключ сочится в голубую воду
Медленной холодною струей,
Исчезает, выйдя на свободу,
Обретает солнечный покой.

Тихо шепчет голос безучастный:
Погружайся в символы, читай,
Тишину загадочного часа
Слезам жалости предпочитай,

Будь красивым, чистым, незнакомым,
Жди исчезнуть, радуйся векам...
Тихо вечер вышел из-за дома,
Поднялся навеки к облакам.

Жизнь читала, плакала, молилась,
Целовала книгу у стены.
Солнце на горе остановилось
И в последний раз смотрело вниз.

Было глухо, холодно над морем,
Лишь внизу, на страшной глубине,
Отошло уже земное горе,
Тихо дверь закрылась на стене.

БЕЛОЕ СИЯНИЕ

В серый день у железной дороги
Низкорослые ветви висят.
Души мертвых стоят на пороге,
Время медленно падает в сад.

Где-то слышен на низкой плотине
Шум минут, разлетевшихся в прах.
Солнце низко купается в тине,
Жизнь деревьев грустит на горах.

Осень. В белом сиянии неба
Всё молчит, всё устало, всё ждет.
Только птица вздыхает без дела
В синих ветках с туманных высот.

Шум воды голоса заглушает,
Наклоняется берег к воде.
Замирает душа, отдыхает,
Забывает сама о себе.

Здесь привольнее думать уроду,
Здесь не видят, в мученьях, его.
Возвращается сердце в природу
И не хочет судить никого.

1930

* * *

Георгию Адамовичу

Солнце нисходит, еще так жарко,
Но в воздухе осень и парк поредел.
Там ярко горят лимонады в хибарке
И желтые листья газет на воде.

Еще мы так молоды. Дождь лил всё лето,
Но лодки качались за мокрым стеклом.
Трещали в зеленом саду пистолеты.
Как быстро, как неожиданно время прошло.

Так поздно в стекле синева отражалась
И месяц вставал над фабричной трубой.
Душа мирозданья — Надежда на жалость —
Быть может, мы летом простились с Тобой.

Так тише и чище. Молчит в амбразуре
Высокой тюрьмы арестант на закате,
И в ярком сиянье осенней лазури
Свистит паровоз на кривой эстакаде.

Вагоны, качаясь, уходят на запад.
С бульвара доносится шум карусели.
Он смотрит в сиянье; не хочется плакать.
Как пыльно и кратко отъездов веселье.

Над башней проносятся поздние птицы.
Как быстро о солнце листва забывает.
Рука открывает святые страницы.
Глаза закрываются. Боль убывает.

1930

ДОПОЛНЕНИЕ К «ФЛАГАМ»
1927–1930

Посвящается Татьяне Шапиро

* * *

Георгию Иванову

В холодных душах свет зари,
Пустые вечера.
А на бульварах газ горит,
Весна с садами говорит.
Был снег вчера.

Поет сирень за камнем стен,
Весна горит.
А вдалеке — призыв сирен,
Там, пролетая сквозь сирень,
Автомобиль грустит.

Застава в розовом огне
Над теплою рекой.
Деревня вся еще во сне,
Сияет церковь на холме —
Подать рукой.

Душа, тебе навек блуждать
Средь вешних вьюг,
В пустом предместье утра ждать,
Где в розовом огне года
Плывут на юг.

Там соловей в саду поет,
Клонит ко сну.
Душа, тебя весна зовет,
Смеясь, вступи на тонкий лед,
Пойди ко дну.

Сирени выпал легкий снег
В прекрасный час.
Огромный ангел на холме
В холодном розовом огне
Устал, погас.

1928

* * *

Древняя история полна
Голубых и розовых звезд,
Башен, с которых заря видна,
Бабочек, сонно летящих на мост.

Тихо над Римом утро встает,
Ежась, солдат идет,
Блещет в море полярный лед,
Высоко над землей соловей поет.

Так высоко, так глубоко, так от земли далеко
Медленно в траурном небе белый корабль плывет,
Мертвое солнце на нем живет,
Призрак с него поет:

«Воздуха лед потеплел,
Это весна пришла,
Радуйся тот, кто сегодня умрет на земле,
Кто не увидит, что в парке сирень расцвела».

Так высоко, так глубоко, так от земли далеко
Черные трубы поют на мосту:
Белые флаги подняв в высоту,
Римское войско идет.

Бабочки тихо летят над ним,
А над каждым — железный нимб.
Тихо над статуей солнце встает,
Будут новые дни.

«Слава тому, кто не ждет весны,
Роза тому, кто не хочет жить», —
Змей-соловей в одеянье луны
В розовом парке свистит.

«Спите и ждите, дети-цари,
Полночь, отыди, утро, приди.
Всё будет так, как снилось в море,
Всё будет так, как хотелось в горе».

Вечность поет на заре.
В розах молчит Назарет.

1928

* * *

Т.А.Ш.

Луна моя, Ты можешь снова сниться.
Весна пройдет.
Во сне на солнце возвратится птица,
Разбивши лед.

Над белым домом сон морей весенних,
Свет облаков,
И нежный блеск светло-зеленой сени,
Огни веков.

Детей проворный бег навстречу снегу,
Их страшный рост,
Паденье роз в лоснящуюся реку,
Скольженье звезд.

Блеск соловья в темно-лиловой ночи,
Звучанье рук.
Река откроет голубые очи —
Рассвет вокруг.

И алый ветер над пустым забором,
Любовь, любовь.
И краткий выстрел, пробудивший горы,
Рожденье слов.

Паденье дома белого в ущелье,
Отлив войны.
В кафе игра пустой виолончели
В лучах луны.

Смотри, как быстро синий луч мороза
Ползет вослед,
На цыпочках крадется в грезы
Ночной скелет.

И как олень по снегу тундры млечной,
Бежит любовь,
Но всё ж на дне реки светает вечность,
А в жилах — кровь,

Хоть сто смертей грозят святому зверю,
Святой весне,
И важно ходит за стеклянной дверью
Палач во сне,

Хотя во сне склоняется секира
К моей руке
И тень лежит огромная от мира
На потолке.

1928

* * *

Голубая душа луча
Научила меня молчать.
Слышу сонный напев ключа,
Спит мой садик, в лучах шепча.

Замолчал я, в песок ушел,
Лег на травку, как мягкий вол,
Надо мною жасмин расцвел,
Золотое успенье пчел.

Я спокоен, я сплю в веках,
Призрак мысли, что был в бегах,
Днесь лежит у меня в ногах,
Глажу я своего врага.

Я покорен, я пуст, я прост,
Я лучи отстраняю звезд,
Надо мною качание роз,
Отдаленное пение гроз.

Всё прошло, всё вернулось вновь,
Сплю в святом, в золотом, в пустом.
Боже мой! Пронеси любовь
Над жасминным моим кустом.

Пусть минуют меня огни,
Пусть мой ангел в слезах заснет.
Всё простилось за детства дни
Мне на целую жизнь вперед.

1928

* * *

Мальчик смотрит: белый пароходик
Уплывает вдоль по горизонту,
Несмотря на ясную погоду,
Раскрывая дыма черный зонтик.

Мальчик думает: а я остался,
Снова не увижу дальних стран.
Почему меня не догадался
Взять с собою в море капитан?

Мальчик плачет. Солнце смотрит с высей,
И прекрасно видимо ему:
На кораблик голубые крысы
Принесли из Африки чуму.

Умерли матросы в белом морге,
Пар уснул в коробочке стальной,
И столкнулся пароходик в море
С ледяною синею стеной.

А на башне размышляет ангел,
Неподвижно бел в плетеном кресле,
Знает он, что капитан из Англии
Не вернется никогда к невесте.

Что, навек покинув наше лето,
Корабли ушли в миры заката,
Где грустят о севере атлеты,
Моряки в фуфайках полосатых.

Юнга тянет, улыбаясь, жребий,
Тот же самый, что и твой, мой друг.
Капитан, где Гесперид? — В небе.
Снова север, далее — на юг.

Музыка поет в курзале белом.
Со звездой на шляпе в ресторан
Ты вошла, мой друг, грустить без дела
О последней из далеких стран,

Где уснул погибший пароходик
И куда цветы несет река.
И моя душа, смеясь, уходит
По песку в костюме моряка.

1929

* * *

За стеною жизни ходит осень
И поет с закрытыми глазами.
Посещают сад слепые осы,
Провалилось лето на экзамене.

Всё проходит, улыбаясь мило,
Оставаться жить легко и страшно.
Осень в небо руки заломила
И поет на золоченой башне.

Размышляют трубы в час вечерний,
Возникают звезды, снятся годы,
А святой монах звонит к вечерне —
Медленно летят удары в горы.

Отдыхает жизнь в мирах осенних.
В синеве морей, небес в зените
Спит она под теплой хвойной сенью
У подножья замков из гранита.

А над ними в золотой пустыне
Кажется бескрайним синий путь.
Тихо реют листья золотые
К каменному ангелу на грудь.

1930

* * *

A Paul Fort

Нездешний рыцарь на коне
Проходит в полной тишине,
Над заколдованным мечом
Он думает о чем, о чем?

Отшельник спит в глухой норе,
Спит дерево в своей коре,
Луна на плоской крыше спит,
Волшебник в сладком сне сопит.

Недвижны лодки на пруде,
Пустынник спит, согрев песок,
Мерлен проходит по воде,
Не шелохнув ночных цветов.

Мерлен, сладчайший Иисус,
Встречает девять муз в лесу, —
Мадонны, девять нежных Дев,
С ним отражаются в воде.

Он начинает тихо петь —
Гадюки слушают в траве,
Серебряные рыбы в сеть
Плывут, покорствуя судьбе.

Ночной Орфей, спаситель сна,
Поет чуть слышно в камыше.
Ущербная его луна
Сияет медленно в душе.

Проклятый мир, ты близок мне,
Я там родился, где во тьме
Русалка слушает певца,
Откинув волосы с лица.

Но в темно-синем хрустале
Петух пропел, еще во сне.
Мерлен-пустынник встал с колен,
Настало утро на земле.

1925–1934

* * *

Темен воздух. В небе розы реют,
Скоро время уличных огней.
Тихо душный город вечереет,
Медленно становится темней.

Желтый дым под низкою луною,
Поздний час, необъяснимый свет.
Боже мой! как тяжело весною,
И нельзя уснуть, и счастья нет.

Ясно слышно, как трещит в бараке
Колесо фортуны в свете газа.
Запах листьев. Голоса во мраке,
А в окне горят все звезды сразу.

Боже мой, зачем опять вернулись
Эти листья в небе ярких дней,
Эта яркость платьев, шумность улиц,
Вечер — хаос счастья и огней.

Выставки у городской заставы,
На ветру плакаты над мостами.
И в пыли, измученный, усталый
Взгляд людей, вернувшихся с цветами.

Вечером, в сиянии весеннем,
Мостовых граниты лиловей.
Город тих и пуст по воскресеньям —
Вечером сияет соловей.

В поздний час среди бульваров звездных
Не ищи, не плачь, не говори,
Слушай дивный голос бесполезный,
К темной, страшной правде припади!

Мир ужасен. Солнце дышит смертью,
Слава губит, и сирени душат.
Всё жалейте, никому не верьте,
Сладостно губите ваши души!

Смейся, плачь, целуй больные руки,
Превращайся в камень, лги, кради.
Всё здесь только соловьи разлуки,
И всему погибель впереди.

Всё здесь только алая усталость,
Темный сон сирени над водой.
В синем небе только пыль и жалость,
Страшный блеск метели неземной.

1931

* * *

Вращалась ночь вокруг трубы оркестра,
Последний час тонул на мелком месте,
Я обнимал Тебя рукой Ореста,
Последний раз мы танцевали вместе.

Последний раз труба играла зорю.
Танцуя, мы о гибели мечтали.
Но розовел курзал над гладким морем,
В сосновом парке птицы щебетали.

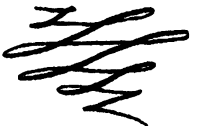
Горели окна на высокой даче,
Оранжевый песок скрипел, сырой.
Душа спала, привыкнув к неудачам,
Уже ей веял розов мир иной.

Казалось ей, что розам что-то снится,
Они шептали мне, закрыв глаза.
Прощались франты. Голубые лица
Развратных дев смотрели в небеса.

Озарена грядущими веками,
Ты с ними шла, как к жертвеннику Авель.
Ты вдалеке смешалась с облаками,
А я взошел на траурный корабль.

1929

СНЕЖНЫЙ ЧАС



Борис Поплавский

Снежный день

Пятая книга стихов

Подчиняется

Борису Заковичу

Париж 1930

УХОД ИЗ ЯЛТЫ

Всю ночь шел дождь. У входа в мокрый лес
На сорванных петлях калитка билась.
Темнея и кружась, река небес
Неслась на юг. Уж месяц буря длилась.

Был на реку похож шоссейный путь.
Шумел плакат над мокрым павильоном.
Прохожий низко голову на грудь
Склонял в аллее, всё еще зеленой.

Там над высоким молом белый пар
Взлетал, клубясь, и падал в океане,
Где над скалой на башне черный шар
Предупреждал суда об урагане.

Над падалью, крича, носились галки,
Борясь с погодой, предвещали зиму.
Волна с разбега от прибрежной гальки
Влетала пылью в окна магазинов.

Всё было заперто, скамейки пустовали,
Пронзительно газетчик возглашал,
На холоде высоко трубы врали,
И дальний выстрел горы оглашал.

Всё было сном. Рассвет недалеко.
Пей, милый друг — и разобьем бокалы.
Мы заведем прекрасный граммофон
И будем вместе вторить, как попало.

Мы поняли, мы победили зло,
Мы всё исполнили, что в холоде сверкало,
Мы всё отринули, нас снегом замело,
Пей, верный друг — и разобьем бокалы.

России нет! Не плачь, не плачь, мой друг,
Когда на елке потухают свечи,
Приходит сон, погасли свечи вдруг,
Над елкой мрак, над елкой звезды, вечность.

Всю ночь солдаты пели до рассвета.
Им стало холодно, они молчат понуро.
Всё выпито, они дождались света,
День в вечном ветре возникает хмуро.

Не тратить сил! Там глубоко во сне,
Таинственная родина светает.
Без нас зима. Года, как белый снег.
Растут, растут сугробы, чтоб растаять.

И только ты один расскажешь младшим
О том, как пели, плача, до рассвета,
И только ты споешь про жалость к падшим,
Про вечную любовь и без ответа.

В последний раз священник на горе
Служил обедню. Утро восходило.
В соседнем небольшом монастыре
Душа больная в вечность уходила.

Борт парохода был высок, суров.
Кто там смотрел, в шинель засунув руки?
Как медленно краснел ночной восток!
Кто думать мог, что столько лет разлуки...

Кто знал тогда... Не то ли умереть?
Старик спокойно возносил причастье...
Что ж, будем верить, плакать и гореть,
Но никогда не говорить о счастье.

1920

* * *

Снег идет над голой эспланадой;
Как деревьям холодно нагим,
Им, должно быть, ничего не надо,
Только бы заснуть хотелось им.

Скоро вечер. День прошел бесследно.
Говорил; измучился; замолк.
Женщина в окне рукою бледной
Лампу ставит желтую на стол.

Что же Ты на улице, не дома,
Не за книгой, слабый человек?
Полон странной снежною истомой,
Смотришь без конца на первый снег.

Все вокруг Тебе давно знакомо.
Ты простил, но Ты не в силах жить.
Скоро ли уже Ты будешь дома?
Скоро ли Ты перестанешь быть?

Декабрь 1931

* * *

В зимний день на небе неподвижном
Рано отблеск голубой погас.
Скрылись лампы. Гаснет шорох жизни.
В тишине родился снежный час.

Медленно спускаясь к балагану,
Снег лежит на полосатой ткани,
Пусто в роще, грязно у шлагбаума,
Статуи покрылись башлыками.

Расцвело над вымершим бульваром
Царство снега, заметя следы.
Из домов, где люди дышат паром,
Страшно выйти в белые сады.

Там всё стало высоко и сине.
Беднякам бездомным снежный ад,
Где в витринах черных магазинов
Мертвецы веселые стоят.

Спать. Лежать, покрывшись одеялом,
Точно в теплый гроб, сойти в кровать,
Слушать звон трамваев запоздалых,
Не обедать, свет не зажигать.

Видеть сны о дальнем, о грядущем.
Не будите нас, мы слишком слабы.
Задувает в поле наши души
Холод счастья, снежный ветер славы.

И никто навеки не узнает,
Кто о чем писал и что читал.
А наутро грязный снег растает
И трамвай уйдет в сиянье вдаль.

27 декабря 1931

* * *

1

В горах вода шумит; под желтыми листами,
От самых облаков сбегая в темный лог,
Разубрана осенними красами,
Природа спит, и сон ее глубок.

На высотах загадочно и нежно
Чуть видных облаков недвижна череда;
И всё-таки близка и неизбежна
Холодная пора, как в прошлые года.

Всё успокоено — ни счастия, ни страха;
И только Ты не смог судьбе простить
И с тем восстал из низменного праха,
Чтоб естества бояться и хулить.

2

Осенью горы уже отдыхают,
Желтая хвоя тепла меж камней.
Тихо осенняя птица вздыхает —
В чистой лазури уж ей холодней.

Пышно готовится к смерти природа,
В пурпур леса разрядив.
Ты же не хочешь уйти на свободу,
Счастье и страх победив.

Значит, и счастье Тебе не откроется
В мирной и чистой судьбе.
Значит, не время еще успокоиться —
Нужно вернуться к борьбе.

3

Всё так же мир высок и прекрасен,
Ярок и предан своей судьбе.
Всё так же напрасен подвиг, напрасен,
Всё так же больно Тебе.

Будь же спокоен и верен боли,
Как и она верна.
Птица тоскует над скошенным полем
В чистой лазури без дна.

Черною точкой высоко-высоко
Ястреб кружит над болотной осокой.
Яркие тают огни на воде,
Сумрачно птица поет о беде.

4

Ветер гонит тучи,
Мчится прах летучий,
Годы не важны,
Люди не страшны.

Серый день холодный,
Яркая листва,
Тягостный, свободный
Праздник естества.

Как темна природа
Дикая, пуста
И смешна свобода
Мертвого листа.

Ветер гонит тучи,
Мчится прах плакучий,
Хлопает окно,
Сердцу всё равно.

5

Ты уснешь и всё забудешь.
Подожди еще в пыли:
Всё, что Ты на свете любишь,
Спит уже вдали.

Слишком долго жил на свете,
Ненаглядное забыл,
Превратился в хладный ветер,
Превратился в пыль.

Смотрит сердце ледяное
В небо синее, больное.
Ты напрасно пережил
Всё, чем в жизни дорожил.

Птицы носятся над садом,
Тихо начал газ рябить.
Ничего Тебе не надо,
Только всё забыть.

1931–1935

* * *

Вечер блестит над землею,
Дождь прекратился на время,
Солнце сменилось луною,
Лета истаяло бремя.

Низкое солнце садится,
Серое небо в огне;
Быстрые черные птицы
Носятся стаей в окне.

Так бы касаться, кружиться,
В бездну стремглав заглянуть.
Но на земле не ужиться —
В серое небо скользнуть.

Фабрика гаснет высоко.
Яркие, зимние дни.
Клонится низко осока
К бегу холодной волны.

Черные быстрые воды,
Им бы заснуть подо льдом.
Сумрачный праздник свободы.
Ласточки в сердце пустом.

1931

* * *

На мраморе среди зеленых вод
Ты спишь, душа, готовая проснуться,
Твой мерно дышит розовый живот
И чистый рот, готовый улыбнуться.

Сошло в надир созвездие живых,
Судьба молчит, смеясь железным ликом,
На бронзовую шляпу снег летит,
На черный лоб садится птица с криком.

Она прошла, возлюбленная жизнь,
Наполнив своды запахом фиалок.
Издали двери незабвенный визг,
И снег пошел на черный край фиала.

Крадется ночь, как ледяная рысь,
По улицам, где в камне стынут воды.
И зорко смотрит птица сверху вниз,
Куда укрыться ей от непогоды.

* * *

Трава рождается, теплом дорога дышит,
Любуются рекою острова.
Душа молчит, она себя не слышит,
Она живет во всем, она мертва.

Встает весна. От постоянной боли
Душа утомлена, тиха, пуста.
Болезнию, которою я болен,
Был болен мир от первых дней греха.

Под белым солнцем травы оживают,
Теплеет свет, работа далека.
Спокойно над рекою долетает
До белых облаков Твоя рука.

Ты говоришь, сама не понимая,
Сама от слова слишком далека.
И просыпается к словам река немая,
Становятся словами облака.

На бронзовой дороге над водою
Мы говорим, рожденные в аду,
Спасенные ущербом и судьбою,
Мы взвешиваем в небе пепел душ.

Теряется река за островами,
Купальня млеет солнечным пятном,
Скрывается Сибилла за словами.
Жизнь повторяется. И снова не о том.

Спокойно, отдаленно, неподвижно
С камней моста Ты щуришься на свет,
А там, вдали, стирая наши жизни,
Проходит облако, и снова счастья нет.

1931

ЕКТЕНЬЯ

Про девушку, которую мы любим,
Но всё ж не в силах, слабую, спасти,
Про ангела, которого мы губим,
Но от себя не в силах отпустить.

За этот мир, который мы жалеем,
Которому не в силах мы помочь,
За всех, кому на свете веселее,
За всех, которым на земле невмочь.

О тех, кому темно и одиноко,
За их давно растаявшие сны.
О небесах, спокойно и жестоко
Сияющих предчувствием весны.

Над нами ночь. Прощай, заря востока!
Нас музыка, как грозная вода,
Несет, ввергая на порогах рока
В подводный мир Гекаты навсегда.

* * *

1

Во мгле лежит печаль полей,
Чуть видно солнце золотое —
Играет в толстом хрустале,
Где пламя теплится святое.

В холодной церкви тишина,
Всё чисто вымыто руками,
Лишь в алтаре вознесена
Лампада, теплится веками.

И камень жив святой водой,
Всё спит, но сон церковный светел.
Легко священник молодой
Возносит чашу на рассвете,

Неспешно, ровно повторив
Слова, звучавшие веками,
Когда еще зари горит
Нездешний свет за облаками.

И колокол в туманный час
Неспешно голос посылает, —
От смертных снов не будит нас,
Не судит, но благословляет.

2

Тихо светится солнце в тумане,
Дым восходит недвижным столбом,
Уж телега стучит меж домами,
Просыпается жизнь в голубом.

Легкий иней растаял на крышах,
Колокольный язык замолчал,
Всё по-прежнему бело, а выше
Появился просвет и пропал.

Я сегодня так рано проснулся,
Долго спал, но не помнятся сны,
Бело-серому дню улыбнулся,
Всё простил и не вспомнил вины.

А потом замрачнел в ожиданье,
Потемнел, погрузился во мрак.
Вышел к людям — не рады свиданью,
Глянул в сердце — сомненье и страх.

А потом под водой ледяною
В эту церковь пустую зашел,
Где лампада парит над землею,
Не смущаясь ни горя, ни зол.

Долго думал, но боль не смирилась,
Лишь потом потемнела она,
Слезы брызнули, сердце раскрылось —
Возвратилась моя тишина.

Тихо новый собор озарился,
Безмятежный священник пришел.
Я услышал орган и забылся,
Отрешился от горя и зол.

3

На холодном желтеющем небе,
Над канавой, где мчится вода,
Непрестанно, как мысли о хлебе,
В зимнем небе дымят города.

Тяжкий поезд мосты сотрясает,
Появляется надпись: «Табак»,
Загорается газ, погасает,
Отворяются двери в кабак.

Слез кондуктор, и будочник свистнул,
Потащились вагоны в снегу.
Я с утра оторвался от жизни,
Всё иду, уж идти не могу.

Первый снег мне былое напомнил
О судьбе, о земле, о Тебе.
Я оделся и вышел из комнат
Успокаивать горе в ходьбе.

Но напрасно вдоль белых чертогов
Шум скользит, как река в берегах.
Всё такая же боль на дорогах,
Всё такое же горе в снегах.

Нет, не надо во мраке опоры;
Даль нужней, высота, чистота,
Отрешенья высокие горы,
Занесенные крыши скита.

Долго будет метель бездорожить.
Ночь пройдет, успокоится снег,
Тихо стукнет калитка — прохожий
Обретет долгожданный ночлег.

Свет лампады негромко, немудро
Означает покой здесь. Ложись.
Завтра встанешь, как снежное утро,
Безмятежно вмешаешься в жизнь.

Только где же твой скит, горожанин?
Дома низко склоняюсь к трудам.
Только где же твой дом, каторжанин?
Слышишь, церковь звонит? Это там.

1931

* * *

Лунный диск исчез за виадуком,
Лед скрипит под мокрым башмаком.
Друг бездомный с бесконечной мукой,
С бесконечной скукой этой я знаком.

В этой жизни слабым не ужиться.
Петь? К чему им сердце разрывать.
И не время думать и молиться,
Время — спать, страдать и умирать.

1931

БЕСКОРЫСТЬЕ

Серый день смеркается, всё гаснет,
Медленно идет дождливый год.
Всё теперь напрасно и всё ясно,
Будь спокоен, больше ничего.

Значит, будет так, как обещала
Страшная вечерняя заря,
Только не поверил ты сначала,
Позабыл свой первый детский страх.

Всё казалось: столько жизней бьется,
В снежном ветре падает на лед,
Но тебя всё это не коснется,
Кто-нибудь полюбит и поймет.

Нет, мой друг. Знакомой уж дорогой
Так же страшно, так же тонок лед...
И никто не слышит, кроме Бога,
Как грядущий день в снегах поет.

Серый сад закрыт и непригляден,
Снег летит над тощею травой,
Будь же сердцем тверд и непонятен,
Жди спокойно ранний вечер свой.

* * *

Сумеречный месяц, сумеречный день,
Теплую одежду, юноша, надень.
В сердце всякой жизни скрытый страх живет.
Ветви неподвижны. Небо снега ждет.

Птицы улетели. Молодость, смирись,
Ты еще не знаешь, как ужасна жизнь.
Рано закрывают голые сады.
Тонкий лед скрывает глубину воды.

Птицы улетели. Холод недвижим.
Мы недолго пели — и уже молчим.
Значит, так и надо, молодость, смирись,
Затепли лампаду, думай и молись.

Скоро всё узнаешь, скоро всё поймешь.
Ветер подметает и уносит ложь.
Всё, как прежде, в мире — сердце горя ждет.
Слишком тихо в сердце, слишком светел год.

1931

* * *

Полуночное светило
Озарило небосвод,
И уже душа забыла
Всё, чем днем она живет.

Вдалеке не слышно лая,
Дивно улица светла,
Так бы вечно жил, гуляя,
Если б вечно ночь была.

Вдоль по рельсам из неволи,
Их железный блеск следя,
Выйду я в пустое поле,
Наконец найду Тебя.

Небо синее, ночное
В первозданной простоте.
Сердце мертвое, больное
Возвращу навек Тебе.

1931

* * *

1

Д.Ш.

Над пустой рекой за поворотом
Снег лежит и задувает газ,
Замело железные ворота
И предместье занесло до глаз.

Только ближе к утру станет тише,
Звездный мир взойдет из пустоты,
Я проснусь тогда и вдруг услышу
Голос Твой, как будто рядом Ты.

Милый друг, я складываю руки,
За Тебя, за счастье не борюсь,
Слушаю, как уличные звуки
Заглушают снег, и спать ложусь.

Сон идет, и над землей смеется
Краткий час, уж минувший навек.
Счастлив тот, кто к жизни не вернется,
Как мгновенной славой счастлив снег.

Гаснет в печке голубое пламя,
На стене растет кривая тень.
Сон и смерть, молчание и память
Возвращают к жизни мертвый день.

Знаю, знаю, только где — забыла,
Всем живым воскреснуть суждено.
Там расскажешь Ты о том, что было
Без меня и было ли оно.

Ночь темна, но утро неизбежно.
Спит душа, и слабый свет потух.
Странно, кратко над пустыней снежной
Прокричал и замолчал петух.

2

Ты шла навстречу мне пустынной зимней ночью,
Обледенелый мир лоснился при луне,
Как голый путь судьбы, но не было короче, —
И снова издали Ты шла навстречу мне.

Там снова, за широкими плечами,
Была зима без цели, без следа.
Ты шла вперед, громадными очами
Смотря на мир, готовый для суда.

Вся строгость Ты, вся — сумерки, вся — жалость,
Ты молча шла, Ты не могла помочь.
А сзади шла, как снег, как время, как усталость,
Всё та же первая и основная ночь.

Декабрь 1931

* * *

Город тихо шумит. Осень смотрится в белое небо.
Скоро в сумерках снег упадет, будет желто и тихо.
Газ зажжется в пустых переулках, где много спокойного
снега, —
Там останутся наши шаги под зеленым сиянием газа.
Будут мёртвы каналы, бесконечно пустынны холодные доки,
Только солнце, огромное, зимнее солнце, совсем без лучей,
Будет тихо смотреть и молчать — все закроют глаза,
Будут кроткие вздохи,
Всё заснет в изумрудном молчании газа ночей.
Будет так хорошо опуститься на снег
Или, вдруг обернувшись, вернуться, следы оставляя.
Высоко над заводом вороны во тьме полетят на ночлег.
Будет холодно, мокро ногам. Будет не о чем думать, гуляя.
Боже мой, как всё было, какие огромные горы вдали, —
Повернуться смотреть, бесконечно молчать и обдумать.
Тихо белые шапки наденут ночные цари фонари,
Всё будет царственно, хрупко и так смертно, что страшно
и думать.

* * *

1

Не смотри на небо, глубоко
Гаснет желтый свет.
Умирать легко и жить легко —
Жизни вовсе нет.

Жизнь прошла за страхами и снами,
Погасают дальние края.
Нищета заката над домами —
Участь новая моя.

Ты не жил, а ждал и восхищался,
Слушал голос дальний и глухой,
Долго зимней ночью возвращался.
Если нет награды, есть покой.

2

Позднею порою грохот утихает,
Где-то мчится ветер, хлопая доской,
Снег покрыл дорогу, падает и тает.
Вечер городской полнится тоской.

Холодно зимою возвращаться,
Снова дня пустого не вернуть,
Хочется в углу ко тьме прижаться,
Как-нибудь согреться и уснуть.

Не тоскуй, до дома хватит силы,
Чем темнее в жизни, тем родней.
Темнота постели и могилы,
Холод — утешение царей.

1931

* * *

Поля без возврата. Большая дорога,
Недвижные желтые нивы.
О, как Ты спокойна, душа-недотрога,
Довольна, легка, молчалива.

Ручей еле слышен, и время как море,
Что значат здесь все разговоры?
Неси свое дело, люби свое горе,
Спокойно неси свое горе.

Душа обреченность свою оценила,
Растения строгую долю —
Взойти и, цветами качая лениво,
Осыпаться осенью в поле.

Таким, как ходилось, таким, как хотело,
Каким полюбила Тебя,
Ждала, целовала тяжелое тело
Знакомая радость — судьба.

1931–1934

* * *

Еле дышит слабость белых дней,
Чуть заметно птицы напевают,
За туманным паром холодней
Смотрит солнце, землю забывая.

Вечером спускается туман,
Всё живое чувствует обман,
С глубиной своею говорит,
Пламя жизни медленно горит.

Трудно, трудно в шуме говорить,
Рано утром просыпаться жить,
Поздно ночью возвращаться в пустоте,
Оставаться на какой-то высоте.

Долгою зимою дождь не перестанет,
Редко снег пойдет,
Станет очень тихо над мостами,
Поздно ночью скрипнет лед.

Может быть, что мы поговорим
Все о том, что скоро догорим.
Нет, не надо, голос возгласил,
Улыбаясь из последних сил.

Вечером спускается туман,
Дым бессильно клонится к домам.
В комнате темно и света нет —
Вечером душа теряет свет.

1931

* * *

Как страшно уставать.
Вся жизнь течет навстречу,
А ты не в силах жить.
Вернись в заку́ток свой.

Таись, учись скрывать
И слушай там весь вечер,
Как мелкий лист дрожит
Под каплей дождевой.

В окне спокойный свет,
Едва трепещут листья,
Темнеет длинный день,
Слабеет улиц шум.

Чего-то в мире нет —
Ни в блеске гордых истин —
Всё это тени тень,
И ты устал от дум.

Сквозь сумрак голубой
Спешат больные люди,
За тьмой насущных дел
Не видя лучших лет.

Молчи и слушай дождь.
Не в истине, не в чуде,
А в жалости Твой Бог,
Всё остальное — ложь.

Ты им не нравишься,
Ты одинок и беден,
Зато она с Тобой.
Что счастье без нее?!

А с ней к чему покой
И даже сон о небе?..
Дождливым вечером
Закатные края.

1931

* * *

Ранний вечер блестит над дорогой,
Просветлело, и дождь перестал,
Еле видимый месяц двурогий
Над болотною речкою встал.

Неприветлива чаща сплошная.
Где-то стрелочник тронул свирель.
Осыпает ворона ночная
С облетающих кленов капель.

Слышен лай отдаленный собаки,
У ворот в темноте голоса...
Всё потеряно где-то во мраке,
Всё в овраге лишилось лица.

Ночь. Бездонная ночь над пустыней —
Исполинов сверкающих мать,
В тишине Ты не плачешь над ними,
Не устанешь их блеску внимать.

Буду в ярком сиянии ночи
Также холодно ярок над всем.
Если я на земле одиноче
Дальних звезд, если так же я нем,

Выпью сердцем прозрачную твердость
Обнаженных, бесстрашных равнин,
Обреченную, чистую гордость
Тех, кто в Боге остались одни.

1931–1934

* * *

В молчанье ду́ши лампы зажигают,
Снимают шляпы, мокрые с дороги,
Темнеет снег, поет труба в остроге,
Гудки машин судьбу остерегают.

Бегут рабы, спасаясь от беды,
В поношенных своих одеждах модных,
И вспыхивают белые ряды
Холодных фонарей домов голодных.

Не говори, зажги огонь в печи,
Укройся, ляг, испей вина плохого,
Пусть в полусне гитара прозвучит,
Пускай поют, пускай свистят немного.

* * *

Как холодно. Молчит душа пустая,
Над городом сегодня снег родился,
Он быстро с неба прилетал и таял.
Всё было тихо. Мир остановился.

Зажгите свет, так рано потемнело,
С домов исчезли яркие плакаты.
Ночь на мосту, где, прячась в дыме белом,
В снежки играли мокрые солдаты.

Блестит земля. Ползут нагие ветви.
Бульвар покрыт холодною слюдою.
В таинственном, немом великолепье
Темнеет небо, полное водою.

Читали мы под снегом и дождем
Свои стихи озлобленным прохожим.
Усталый друг, смиряйся, подождем.
Нам спать пора, мы ждать уже не можем.

Как холодно. Душа пощады просит.
Смирись, усни. Пощады слабым нет.
Молчит январь, и каждый день уносит
Последний жар души, последний свет.

Закрой глаза, пусть кто-нибудь играет.
Ложись в пальто. Укутайся, молчи.
Роняя снег в саду, ворона грает.
Однообразный шум гудит в печи.

Испей вина, прочтем стихи друг другу,
Забудем мир. Мне мир невыносим —
Он только слабость, солнечная вьюга
В сиянье роковом нездешних зим.

Огни горят, исчезли пешеходы.
Века летят во мрак немых неволь.
Всё только вьюга золотой свободы,
Лучам зари приснившаяся боль.

Январь, 1932

* * *

В кафе стучат шары. Над мокрой мостовою
Едва живое дерево блестит.
Забудь свои миры, я остаюсь с Тобою
Спокойно слушать здесь, как дождь шумит.

Нет, молод я. Так сумрачно, так долго
Всё только слушать жизнь, грустить, гадать...
Я жить хочу, бессмысленно и горько,
Разбиться и исчезнуть, но не ждать.

Мне нравится над голыми горами
Потоков спор; средь молний и дождя,
Средь странных слов свидание с орлами
И ангелов падение сюда.

Огонь луны в недопитом бокале,
Расцвет в цветах, отгрохотавший бал,
И состязанье лодок на канале,
И шум толпы, и пушечный сигнал.

Над городом на проволоках медных
Свист кратких бурь, и долгий синий день,
Паровика в горах гудок бесследный,
И треск стрекоз, ритмирующих лень.

На острове беспутная, смешная
Матросов жизнь, уход морских солдат,
Напев цепей, дорога жестяная,
И каторжной жары недвижный взгляд.

Не верю в свет, заботу ненавижу,
Слез не хочу и памяти не жду,
Паду к земле быстрее всех и ниже,
Всех обниму отверженных в аду.

* * *

Шары стучали на зеленом поле,
На стеклах голубел вечерний свет,
А я читал, опять лишившись воли,
Журналы, что лежат за много лет.

Как мы измучены. И хорошо бывает,
Забыв дела, бессмысленно читать
И слушать, как в углу часы играют,
Потом с пустою головой ложиться спать.

Зачем наполнил Ты пустое время?
Часы идут, спешат ряды карет,
По толстому стеклу ползут растенья,
На листьях отражен вечерний свет...

Покинув жизнь, я возвратился в счастье
Играть и спать, судьбы не замечать —
Так разлюбить бывает в нашей власти,
Но мы не в силах снова жить начать.

1932

* * *

Шумел в ногах холодный гравий сада,
На летней сцене паяцóв играли,
Кривясь, лакеи, как виденья ада,
В дверях игорной залы исчезали.

Там газ горел и шар о шар стучал.
Пронзительно из голубого грота
Кричал паяц, но офицер скучал
И подведенный ангел ждал кого-то.

А над горами лето умирало,
В лиловом дыме тихо птицы пели,
И подле рельс у самого вокзала
В степи костры оранжево горели.

Сиял курзал. О, сколько вечеров
Я счастья ждал на городском бульваре!
Под белой тканью солнечных шатров
С извозчиком во тьме смеялись пары.

Визжали девушки, острили офицеры,
И месяц желто возникал в пыли,
Где сердце молодого Агасфера
Боролось с притяжением земли.

Кружася и себя не узнавая,
Оно к девицам ластилось, как вор.
Но, грязным платьем небо задевая,
Смеялось время наглое в упор.

1932–1934

* * *

В серый день лоснится мокрый город.
Лошади дымятся на подъеме.
Затихают наши разговоры.
Рано меркнет свет в огромном доме.

В серый день темнеет разговор.
Сердце мира полнится дождем,
Ночь души спускается на двор,
Всё молчит и молится с трудом.

Ночь пришла, и вспыхнул дальний газ,
А потом опять огонь погас,
Снег пошел и скоро перестал,
Новый день декабрьский настал.

1931

* * *

Прежде за снежной пургою,
Там, где красное солнце молчит,
Мне казалось, что жизнью другою
Я смогу незаметно прожить.

Слушать дальнего снега рожденье
Над землей в тишине белизны
И следить за снежинок паденьем
Неподвижно сквозь воздух зимы.

Почему я склонился над миром,
Позабыл о холодных царях?
Или музыка мне изменила,
Или сердце почуяло страх?

Нет, но ангелы — вечные дети,
Не поймут и не любят земли.
Я теперь самый бедный на свете,
Загорелый бродяга в пыли,

Славлю лист, золотеющий в поле,
Запах пота, сиянье волны
И глубокую в сумраке боли
Радость жизни, развеявшей сны,

Соглашение камня и неба,
Крепость плоти, целующей свет,
Вкус горячего, желтого хлеба,
Голос грома и бездны ответ.

1932

* * *

Был высокий огонь облаков
Обращен к отраженью цветов.
Шум реки убывал под мостом.
Вечер встал за церковным крестом.

Лес в вечерней заре розовел.
Там молчало сиянье веков.
Тихо падало золото стрел
В золотую печаль родников.

Уж темнело. Над мраком реки
Чуть светились еще ледники.
Гнили листья. Ползли пауки.
Отражали огни родники.

Монастырь на высокой скале
Потухал в золотом хрустале,
А внизу, в придорожном селе,
Дым, рождаясь, скользил по земле.

Только выше, где холод и снег,
Инок бедный, немой дровосек
У порога святых облаков
Бьет секирой в подножье веков.

Страшно в чаще. Он слаб, он устал.
Притупилась горячая сталь.
Ломит голову, сердце горит.
Кто-то в ветках ему говорит:

«Гордый инок! Оставь свой топор —
Будет тише таинственный бор.
Кто несет свой огонь в высоту,
Чтобы жить в этом новом скиту?

Возвратись, в подземелье сойди,
Бедный старец там тихо живет,
Спит в гробу с образком на груди,
Он не ждет ничего впереди.

Пусть вверху у открытых ворот
Тихо праздничный колокол бьет.
Ночь придет. Ты молчи без конца,
Спрятав в руки пыланье лица.

Говорить не пытайся — молчи,
Слушай кроткое пламя свечи.
Понимать не старайся — молись,
Сам железною цепью свяжись».

Ночь сходила. Лесной великан
Замолкал с головой в облаках.
Всё казалось погасшим во зле.
Завернувшись, уснул на земле.

* * *

За рекою огонь полыхает,
Где-то в поле горит, не горит,
Кто-то слушает ночь и вздыхает,
Не сумевши судьбу покорить.

Кто там, пасынок грустного света,
Размышляет в холодном огне?
Не найдет он до утра ответа,
Лишь утихнет в беспамятном сне.

Разгорится еще на мгновенье,
Полыхнет и навеки погас —
Так и сам неживым вдохновеньем
Загоришься тревожно на час.

И опять за широкой рекою
Будут звезды гореть на весу,
Точно ветка, что тронул рукою
Запоздалый прохожий в лесу,

И с нее облетело сиянье.
Всё спокойно, и тьма холодна.
Ветка смотрится в ночь мирозданья,
В мировое молчанье без дна.

1931

* * *

Лошади стучали по асфальту,
Шли дожди и падали до вечера.
В маленькой квартире мы читали,
В сумерках откладывали книги.

А потом готовили обедать
В желтом, странном отблеске заката,
В полутьме молились, спать ложились,
Просыпались ночью говорить.

Поезда свистели у заставы,
Газовые отблески молчали.
Тихо в бездну звуки обрывались,
Будущие годы открывались.

А потом в слезах мы засыпали,
Падали в колодцы золотые,
Может быть, соединялись с Богом,
Проходили миллионы лет.

Утро заставало нас в грядущем,
Возвращаться было слишком поздно,
Оставляя в небе наши души,
Просыпались с мертвыми глазами.

Вновь казался странным и подземным
Белый мир, где снова дождик шел.
Колокол звонил в тумане бледном,
И совсем напротив садик цвел.

1931

* * *

Печаль зимы сжимает сердце мне.
Оно молчит в смирительной рубашке.
Сегодня я, от мира в стороне,
Стою с весами и смотрю на чашки.

Во тьме грехи проснулись до зари,
Метель шумит, склоняя жизнь налево,
Смешные и промокшие цари
Смеются, не имея сил для гнева.

Не долог день. Блестит церквей венец,
И молча смотрит боль без сожаленья
На возмущенье жалкое сердец,
На их невыносимое смиренье.

Который час? Смотрите, ночь несут
На веках души, счастье забывая.
Звенит трамвай, таится Страшный Суд,
И ад галдит, судьбу перебивая.

IL NEIGE SUR LA VILLE

Страшно в бездне. Снег идет над миром.
От нездешней боли всё молчит.
Быстро, тайно к мирозданью Лиры
Солнце зимнее спешит.

Тишина сошла на снежный город,
Фонари горят едва заметно.
Где-то долгий паровозный голос
Над пустыней мчится безответно.

Скрыться в снег. Спастись от грубых взглядов.
Жизнь во мраке скоротать, в углу.
Отдохнуть от ледяного ада
Страшных глаз, прикованных ко злу.

Там за домом городской заставы,
Где сады на кладбище похожи,
Улицы полны больных, усталых,
Разодетых к празднику прохожих.

Снег идет. Закрыться одеялом,
Рано лампу тусклую зажечь,
Что-нибудь перечитать устало,
Что-нибудь во тьме поесть и лечь.

Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.
Оставляю этот мир жестоким,
Ярким, жадным, грубым, остальным.

Мы же здесь наплачемся, устанем,
Отойдем ко сну, а там, во сне,
Может быть, иное солнце встанет,
Может быть, иного солнца нет.

Друг, снесемте лампы в подземелье,
Перед сном внизу поговорим.
Там над нами страшное веселье,
Мертвые огни, войска и Рим.

Мы ж, как хлеб под мерзлою землею,
В полусне печали подождем
Ласточку, что черною стрелою
Пролетит под проливным дождем.

1931

СНОВА В ВЕНКЕ ИЗ ВОСКА

В казарме день встает.
Меж голыми стенами
Труба поет, фальшивя, на снегу.
Восходит солнца призрак за домами.
А может быть, я больше не могу?

Зачем вставать? Я думать не умею.
Встречать друзей? О чем нам говорить?
Среди теней поломанных скамеек
Еще фонарь оставленный горит.

До вечера шары стучат в трактире,
Смотрю на них, часы назад идут.
Я не участвую, не существую в мире,
Живу в кафе, как пьяницы живут.

Темнеет день, зажегся газ над сквером.
Часы стоят. Не трогайте меня.
Над лицеистом, ищущим Венеру,
Темнеет, голубея, призрак дня.

Я опоздал, я слышу: кто-то где-то
Меня зовет. Но, победивши страх,
Под фонарем вечернюю газету
Душа читает в мокрых башмаках.

1931–1934

* * *

На подъеме блестит мостовая.
Пахнет дымом. Темно под мостом.
Бледно-палевый номер трамвая
Выделяется в небе пустом.

Осень. Нищие спят у шлагбаума,
Низкой фабрики дышит труба,
С дымом белым, спокойным и плавным,
Отдаляется мира судьба.

Всё так ясно. Над речкой тифозной
Рыболов уплывает на месте.
Затихающий шум паровозный
Возвращается к пыльным предместьям.

Солнце греет пустые вагоны,
Между рельсами чахнут цветы.
Небо шепчет: забудь о погоне,
Ляг у насыпи низкой, в кусты.

Восхищающий низкие души,
Скоро вечер взойдет к небесам.
Отдаляйся. Молчи о грядущем.
Стань лазурью и временем сам.

Так спокойно в безбрежную воду
Ключ стекает холодной струей,
Исчезает, уйдя на свободу,
Обретает священный покой.

Всё молчит. Высота зеленеет,
Просыпаются, ежась, цари.
И, как мертвые яркие змеи,
Загораясь, ползут фонари.

* * *

Ты устал, отдохни.
Прочитай сновидений страницу
Иль в окно посмотри,
Провожая на запад века.
Над пустою дорогой
Помедли в сиянье денницы
И уйди, улыбаясь, как тают в пруду облака.
В синеве утонув,
Над водою склоняются травы.

Бесконечно глядясь,
Не увидят себя камыши.
Подражая осоке безмолвной и горькой, мы правы —
Кто нас может заметить
На солнце всемирной души?
Мы слишком малы.
Мы слишком слабы.

Птица упала.
Не упасть не могла бы,
Жить не смогла на весу.
Поезд проходит в лесу...

1931

* * *

Ты устал, приляжем у дороги,
Помолчим, рожденные во зле.
Тонкие сияющие Роги
Пан склонил к измученной земле.

Тихо кулик мается над топью,
Где-то гаснет изумрудный свет.
Опершись на серебристый тополь,
Бог цевницу трогает в ответ.

Чистой ночью слышны эти звуки.
Кто шумит неведомо душе?
Спит земля, забыв дневные муки,
Рыба слабо плещет в камыше.

Отдыхают пальцы музыканта,
Волшебство купавы улеглось,
Молча смотрят в небо корибанты,
Устрашась рожденья стольких звезд.

Там среди отверженных Исусом
Юный Гамлет грезит у пруда
И над ним, лаская волос русый,
Ждет Русалка Страшного Суда.

Всё грустит, не ведая пощады.
Осень в поле иней серебрит.
Ничего блаженному не надо —
Он не ждет, не сердится, не мстит.

Человек познал свою свободу,
Слишком ярок он и слишком чист...
Ночь сошла на дивную природу,
На землю слетает мертвый лист.

1932

* * *

В час, когда писать глаза устанут
И ни с кем нельзя поговорить,
Там в саду над черными кустами
Поздно ночью Млечный Путь горит.

Полно, полно. Ничего не надо.
Нечего за счастье упрекать,
Лучше в темноте над черным садом
Так молчать, скрываться и сиять.

Там внизу, привыкшие к отчаянью,
Люди спят, от счастья и труда,
Только нищий слушает молчание
И идет неведомо куда.

Одиноко на скамейке в парке
Смотрит ввысь закованный зимой,
Думая: там столько звезд, так ярко
Освещен ужасный жребий мой.

Вдруг забывши горе на мгновенье,
Но опять вокруг голó, темно,
И, прокляв свое стихотворенье,
Ты закроешь медленно окно.

1931

* * *

Всё спокойно раннею весною.
Высоко вдали труба дымит.
На мосту, над речкою больною,
Поезд убегающий шумит.

Пустыри молчат под солнцем бледным.
Обогнув забор, трамвай уходит.
В высоте, блестя мотором медным,
В синеву аэроплан восходит.

Выйди в поле, бедный горожанин.
Посиди в кафе у низкой дачи.
Насладись, как беглый каторжанин,
Нищетой своей и неудачей.

Пусть над домом ласточки несутся.
Слушай тишину, смежи ресницы.
Значит, только нищие спасутся.
Значит, только нищие и птицы.

Всё как прежде. Чахнет воскресенье.
Семафор качнулся на мосту.
В бледно-сером сумраке весеннем
Спит закат, поднявшись в чистоту.

Тише... скоро фонари зажгутся.
Дождь пойдет на темные дома.
И во тьме, где девушки смеются,
Жалобно зазвонит синема.

Всё как прежде. Над пожарной частью
Всходят звезды в саване веков.
Спи, душа, Тебе приснилось счастье,
Страшно жить проснувшимся от снов.

* * *

Опять в полях, туманясь бесконечно,
Коричневое море разлилось.
Трава желтеет на холмах заречных,
Как быстро в небе лето пронеслось.

Ползут высоко полосы, белея.
Там долго солнце белое молчит.
Тоскуют птицы. Вечер ждет в аллее.
Товарный поезд медленно стучит.

Молчит в закате белом всё живое.
Всё томится, всё щурится на свет,
Спит, улыбаясь, небо голубое
Спокойным обещаньем слёз и бед.

Над белой болью неба без возврата
Смолкает шум мучений городских.
Несется пыль, темнеет страх заката,
И мелкий океан сосут пески.

1931–1934

* * *

Слабый вереск на границе смерти.
Всё опять готовится цвести.
С каждою весной нежнее сердце
И уже не в силах мир снести.

Теплый дождь шумел весь вечер в лужах.
В них звездами отразилась ночь,
В них веками отразился ужас,
И нельзя простить, нельзя помочь.

Ночь блестит. Огни горят в бараке.
Может быть, природе счастье лгать,
Может быть, что счастье жить во мраке,
Может быть, что счастье погибать.

Все мы знаем и уже не скроем,
Отчего так страшен звездный час.
Потому что именно весною,
Именно весной не станет нас.

Ложь и правда здесь одно и то же.
Может быть, что правда — это грех,
Может быть, что тлен души дороже,
Может быть, что всё лишь звездный смех.

Тихой песней сердце успокойте,
Пощадите розы на кусте,
Притупите дух, огни укройте,
Растопчите пепел в темноте.

* * *

В зимний день всё кажется далеким,
Всё молчит, всё кажется глухим.
Тише так и легче одиноким,
Непонятным, слабым и плохим.

Только тает белое виденье,
О далеком лете грезит тополь,
И сирень стоит как привиденье
Звездной ночью над забором теплым.

Грезит сад предутренними снами.
Скоро жить ему, цвести в неволе.
Мчится время, уж весна над нами,
А и так уж в мире много боли.

В душном мраке распустились листья,
Утром нас сверкание измучит.
Это лето будет долго длиться,
До конца утешит и наскучит.

Жаркий день взойдет над неудачей.
Все смолчит под тяжестью судьбы.
Ты еще надеешься и плачешь.
Ты еще не понял синевы.

На высоких стеблях розы дремлют.
Пыльный воздух над землей дрожит.
Может быть, весной упасть на землю,
Замолчать и отказаться жить?

Может быть, весной совсем невольно
В пенье птиц, в сиянье звездной тьмы?
Нет, мой друг, еще совсем не больно,
Что еще нас ждет в снегах зимы!

Будь же душной ночью, ночью звездной
Грустным оком светлого суда,
Безупречной жертвой, неизбежной
Всех вещей, что минут без следа.

Спи, усни, не в силах мира вынесть.
Иль поверь, что есть иной исход.
Всё прими и в поле встретить выйди
Рано утром солнечный восход.

* * *

Я видел сон. В огне взошла заря
Кричать над домом мертвого царя.
Он из окошка вниз на улицу смотрел,
Закрыв лицо рукой от желтых стрел.

Там, через улицу, худая кошка шла,
А в доме девочка читала у стола.

А время тихо проходило вдалеке
По желтому мосту над речкой горной,
Показывая каждый раз в руке
Таинственный предмет в коробке черной,

И делало какой-то странный знак.
Крутились дальше мельницы колеса,
А на горе коричневый монах
В грудь ударял булыжником белесым.

А дальше в странном небе бледно-синем
Стоял раздетый человек с крестом,
Его закаты в небо возносили,
Но он всё вниз указывал перстом,

Где черти, подбоченившись, стояли
И даже ручкой делали вослед,
Из ада тихо грешники кричали,
Но в домике рояль терзал скелет.

Всё было тихо, солнце заходило,
Хотелось всё запомнить, не дыша.
У воинов внизу в глазах рябило,
И пробужденье чуяла душа.

1930–1934

* * *

Люди несут огонь.
Ветер дует, огонь задувая.
Люди огонь прижимают к груди.
Огонь потух.

Страшно смотреть из окон:
Спит под снегом земля неживая.
Кратко вдали, впереди
Вскрикнул петух.

Страшно во тьме без окон!..

Вечер спускается.
Кружится снег на порфире.
Кашляют тише и тише.
Скрывают свет.

Пир прекращается.
Званные плачут на пире.
Падает время из ниши —
Никого нет.

Звезды... Сиянье судьбы.

Почему мы огонь потушили?
Почему мы играли с огнем,
Шутя со смертью?

Пали во тьму без борьбы.
Почему Вы погибнуть спешили,
Разве Вам лучше в аду ледяном?
Кричу: ответьте...

Нет, только холод и страх.

* * *

Друг природы, ангел нелюдимый,
Всё прости, обиды позабудь,
Выйди в поле, где в туманном дыме
Над землей сияет Млечный Путь.

Темный лес безмолвен у дороги,
Где-то слышен отдаленный лай.
Спи, больное сердце недотроги,
От надежд и счастья отдыхай.

В тишине как будто едет кто-то,
Нет, то шум спадающих листов.
За рекой над скошенным болотом
Встал луны холодный ободок.

Скоро, скоро ляжет на дорогу
Желтый лист и просветлеет бор,
Охладеет солнце понемногу
И в лесу замолкнет птичий хор.

Тихо блеск таинственный ложится,
Спит природа, кроткая всегда.
Только Ты тоскуешь и боишься,
Всё жалеешь прошлые года.

Всё кругом готовится к разлуке,
Всё смолчит обиду зимних бурь,
А потом весной забудет муки,
Возвратится листьями в лазурь.

Так и Ты во мраке неизбежном
В звездный мир взгляни и наглядись,
А потом усни и к жизни прежней
С новой силой поутру вернись.

1931

НАПРАСНАЯ МУЗЫКА

Вечером ярким в осеннем парке
Музыка пела: «Вернусь, вернусь».
Вечером дивно-прекрасным и кратким
Сердце не в силах забыть свою грусть.

Белое лето дождем отшумело,
Вот уж лазоревый август расцвел.
Сердце к туману привыкнуть успело,
К близости долгих метелей и зол.

Слишком прекрасно лазурное небо.
«Больно мне, больно, и я не вернусь».
Музыка тихо вздыхает без дела,
Сердце не в силах забыть свою грусть.

* * *

Д.Ш.

В сумерках ложились золотые тени,
Рыболов был тихо освещен.
Видели, должно быть, сны растенья.
Нищий спал, опершись о мешок.

Загорались лампы в магазинах,
И лежал на теплой мостовой
Высоты померкшей отблеск синий.
Ласточки прощались с синевой.

Скоро будем в сумерках обедать,
Слушать стекол сумрачную дробь.
Может быть, неловко напоследок
Перекрестим лоб.

Что ж, никто не знает, кто как жил.
Кто читал. Кто ждал освобожденья,
Тихо руки на груди сложил,
Превратился сам в свое виденье.

Высоко у имени Господня
Дух часов хранит его судьбу,
Звон раздастся в черной преисподней,
Утро вздрогнет в ледяном гробу.

Медленно спадает вечер. Ниже небо.
Дым блестит. В сиянье паровоз
В холоде отчетливо кричит.
Кто там в поле?

Поздней осенью темнеет рано.
Загораются на станции огни.
Ничего не видно за туманом,
Запотели стекла. Мы одни.

* * *

Всматриваясь в гибель летних дней,
В пыльный, яркий мир, лишенный счастья,
Гамлет-солнце в царствие теней
Тихо сходит, утомясь от власти.

Меж деревьев яркий газ горит,
Там вдали на желтом, пыльном шаре тленном
Еле слышный голос говорит
О высоком, странном и священном.

Солнечный герой, создавший мир,
Слушай бездну, вот твоя награда.
Проклят будь, смутивший лоно тьмы
Архитектор солнечного ада.

«Как ты смел», — былинка говорит,
«Как Ты мог, — волна шумит из мрака, —
Нас вдали от сада Гесперид
Вызвать быть для гибели и мрака».

* * *

На желтом небе аккуратной тушью
Рукой холодной нарисован город.
Иди в дожде. Молчи и слушай души,
Но не утешишься и не обманешь голод.

Душа темна, как зимняя вода,
Что отражает всё, всегда пустая.
Она в ручье стекает навсегда,
В огнях рекламы сумрачно блистает.

Как смеешь Ты меня не уважать?
Я сух — Ты говоришь, я бел — прекрасно!
Так знай: так сух платок, от слез отжат,
И бел, от прачки возвратясь напрасно.

Я научился говорить «всегда»,
И «никогда», и «некогда». Я вижу,
Как подымается по лестнице судьба,
Толчется малость и стекает ниже.

Не верю я себе, Тебе, но знаю,
Но вижу, как бесправны я и Ты
И как река сползает ледяная,
Неся с собою камни с высоты.

Как бесконечно беззащитен вечер,
Когда клубится в нем туманный стих.
И как пальто, надетое на плечи,
Тебя покой декабрьский настиг.

* * *

Вечер сияет. Прошли дожди.
Голос мечтает... Молчи и жди.

Над миром пены шутит стихами
И постепенно, устав, стихает.

Черная птица! Полно носиться,
Уж поздний вечер, а дом далече.

Темнеют своды. Последний луч
Ложится в воду, из темных туч.

Певец Мореллы! бойся воды,
Скользит в ней белый венец луны.

Ты не заметишь, как упадешь,
Невесту встретишь, царевну-ложь.

К земле стекает астральный свет.
Грустит: не знаю, вернусь иль нет.

Лежит в могиле Каменный Гость,
Поет Вергилий, цветет погост,

Над степью мчится мгновенный век.
Осока снится сиянью рек.

Трава ложится, клонясь внезапно.
Высоко птица летит на запад.

Цветок мечтает. Молчат гробы.
Никто не знает своей судьбы.

Август 1931

* * *

Дали спали. Без сандалий
Крался нищий в вечный город.
В башнях матери рыдали,
Часового жалил холод.

В храмах на ночь запирали
Отражения планет.
Руки жесткие стирали
Лица дивные монет.

Чу! вдали сверчок стрекочет
У подземных берегов.
Там Христос купался ночью
В море, полном рыбаков.

И душа легионера,
Поднимаясь к высотам,
Миро льющую Венеру
Видела — к Его ногам.

Тихо бронзовые волки
Смотрят пристально на звезды,
В караульном помещенье
Угли тлеют в камельке.

А в огромном отдаленье
К Вифлеему, втихомолку,
Поднимается на воздух
Утро в розовом венке.

ФЛАГИ СПУСКАЮТСЯ

Над рядами серых саркофагов,
Где уже горел огонь слепой,
Под дождем промокший ангел флагов
Продолжал склоняться над толпой.
Улица блестит, огни горят, а выше
Ранний мрак смешался с дымом труб.
Человек под тонкой черной крышей
Медленно идет во тьме к утру.

Дождь летит у фонарей трамвая
Тонкою прозрачною стеной,
Из витрины дева восковая
Дико смотрит в холод неземной.

Всё темно, спокойно и жестоко.
Высоко на небе в яркой ризе
Ты сиял — теперь сойди с флагштока,
Возвратись к обыкновенной жизни.

Спи. Забудь. Всё было так прекрасно.
Скоро, скоро над Твоим ночлегом
Новый ангел сине-бело-красный
Радостно взлетит к лазури неба.

Потому что вечный праздник длится,
Тают птицы, трубы отлетают,
Гаснет время. Снова утро снится
И про адский пламень воск мечтает.

Солнце всходит золотым штандартом.
Гибнут мысли. Небо розовеет.
Гаснет вечер. Солнце рвется в завтра,
И таить рассвета ночь не смеет.

Что ж, пади. Ты озарял темницу,
Ты сиял, приняв лазурный ужас.
Спи. Усни. Любовь нам только снится.
Ты, как счастье, никому не нужен.

1931

* * *

Зимний просек тих и полон снега,
В темноте шумит пустой трамвай.
Вороны летят, ища ночлега.
Со скамьи не хочется вставать.

Парк велик, до города далёко,
Цепенеет сердце, снег синеет.
Что Ты, друг мой, иль Тебе так плохо,
Что домой вернуться Ты не смеешь?

Нет, мне просто хорошо и глухо.
Как темно сейчас среди дерев.
Дальний грай доносится до слуха,
Гаснет свет, за лесом догорев.

Кто там ходит позднею порою?
Дева-память, спи, свидетель мой.
Кто поет во мраке со звездою,
Что Христос рождается зимой?

В нищете, в хлеву, покрытом снегом,
Вол и ослик выдыхают пар.
Кто кричит над снеговым ночлегом?
Это память мне мешает спать.

Спит Иосиф, в темноте белея.
Пролетает поезд над пещерой.
Над недвижной снеговой аллеей
Пастухи встают в тумане сером.

Глубоко в снегу не надо друга.
Далеко от жизни и обид.
Встанет месяц в середину круга,
Белый лес недвижно озарит.

Ярко, ярко средь узорных веток
Синие лучи зажгут снега.
Будет утро медлить. До рассвета
Всё сравняет белая пурга.

Скоро утро, шепчет Магдалина
Гостю ночи, отстраняя полог.
Ветви пыльных пальм Иерусалима
Сквозь дремоту ждут петуший голос.

1931–1933

* * *

Тень Гамлета. Прохожий без пальто.
Вороны спят в садах голубоватых.
И отдаленный слышится свисток —
Вороны с веток отряхают вату.

Пойти гулять. Погладить снег рукой.
Уехать на трамвае с остальными.
Заснуть в кафе. В вине найти покой.
В кинематографе уйти в миры иные.

Но каково бродягам в этот час?
Христос, конечно, в Армии Спасения.
Снижался день, он бесконечно чах,
Всё было тихо в ночь на воскресенье.

По непорочной белизне следы
Бегут вперед — и вдруг назад навстречу.

Куда он шел, спасаясь от беды?
И вдруг решил, что поздно и далече.

Вот отпечаток рук. Вот снегу ком.
Все сгинули. Всё ветер заметает.
Всё заперто. Молчит господский дом —
Там в роскоши всю ночь больной читает.

Всё спуталось, и утомляет шрифт.
Как медленно ползут часы и строки.
Однообразно поднимаясь, лифт
Поет, скуля. Как скучно одиноким.

Звенит трамвай. Никто не замечает —
Всё исчезало, таяло, кружилось...
Лицо людей с улыбкой снег встречает —
Как им легко и тихо становилось.

А смерть его сидит напротив в кресле
И, улыбаясь, стены озирает.
Уж ей давно известны эти песни —
Она газету смятую читает.

Известно ей: лишь только жар спадет,
Забудет всё, и вдруг удар из мрака —
Снег в комнату, и посиневший рот
Как мне понять? — Тебе довольно страха?..

Когда спадает жар и день встает,
Прощай пока. Наутро снег растает,
С письмом веселый почтальон придет.
Как быстро боль воскресший забывает.

Не ведая живет — и вдруг врасплох...
Погаснет лампа, распахнутся окна.
— Дай мне подумать, я устал, я плох.
— Не время думать. Время забывает.

А бедный нищий постоянно видит
Перед собою снег и мокрый камень.
Он фонари в тумане ненавидит.
Его, мой друг, не обмануть стихами.

Он песенку поет — под барабан —
В мундире синем. — Господи помилуй!
Ты дал мне боль Своих ужасных ран.
Ты мне понятен. Ты мне близок, милый,

Я ем Твой хлеб. Ты пьешь мой чай в углу.
В печи поет огонь. Смежая очи,
Осёл и вол на каменном полу
Читают книгу на исходе ночи.

1931

МОЛИТВА

Ночь устала. И месяц заходит.
Где-то утренний поезд пропел.
Страшно думать, как время проходит, —
Ты ж ни думать, ни жить не успел.

Вечно ищем забыть и забыться,
Ходим, шутим и карты сдаем.
На таинственный суд ли явиться?
Отрешиться ль от страха в пустом?

А потом, на исходе дурмана,
Видеть бледную, страшную ночь —
Точно смерть из окна ресторана,
И никто уж не в силах помочь.

Нет, уж лучше при лунном сиянье.
Буду в поле судьбу вспоминать,
Слушать лай отдаленный в тумане,
О содеянном зле горевать.

Лучше сердце раскрою, увижу
Маловерие, тщетную тьму.
Осужу себя сам и унижу,
Обращусь беззащитно к Нему.

* * *

Рождество расцветает. Река наводняет предместья.
Там, где падает снег, паровозы идут по воде.
Крыши ярко лоснятся. Высокий декабрьский месяц
Ровной синею нотой звучит на замерзшем пруде.

Четко слышится шаг, вдалеке без конца повторяясь,
Приближается кто-то и долго стоит у стены.
А за низкой стеной задыхаются псы, надрываясь,
Скаля белые зубы в холодный огонь вышины.

Рождество, Рождество! Отчего же такое молчанье,
Отчего всё темно и очерчено четко везде?
За стеной Новый Год. Запоздалых трамваев звучанье
Затихает вдали, поднимаясь к Полярной звезде.

Как всё чисто и пусто. Как всё безучастно на свете.
Всё застыло, как лед. Всё к луне обратилось давно.
Тихо колокол звякнул. На брошенной кем-то газете
Нарисована елка. Как страшно смотреть на нее.

Тихо в черном саду, диск луны отражается в лейке.
Есть ли елка в аду? Как встречают в тюрьме Рождество?
Далеко за луной и высоко над жесткой скамейкой
Безмятежно нездешнее млечное звезд торжество.

Всё как будто ждало, и что спугнута птица шагами
Лишь затем, чтоб напомнить, что призраки жизни страшны,
Осыпая сиянья, как долго мы были врагами
Тишины и природы, и всё ж мы теперь прощены.

1930–1931

ЗА ЧТЕНИЕМ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА

Моя душа — как воробей
Чирикает в саду Иисуса.
Чужих лесов не нужно ей,
Ей даль и воздух не по вкусу.

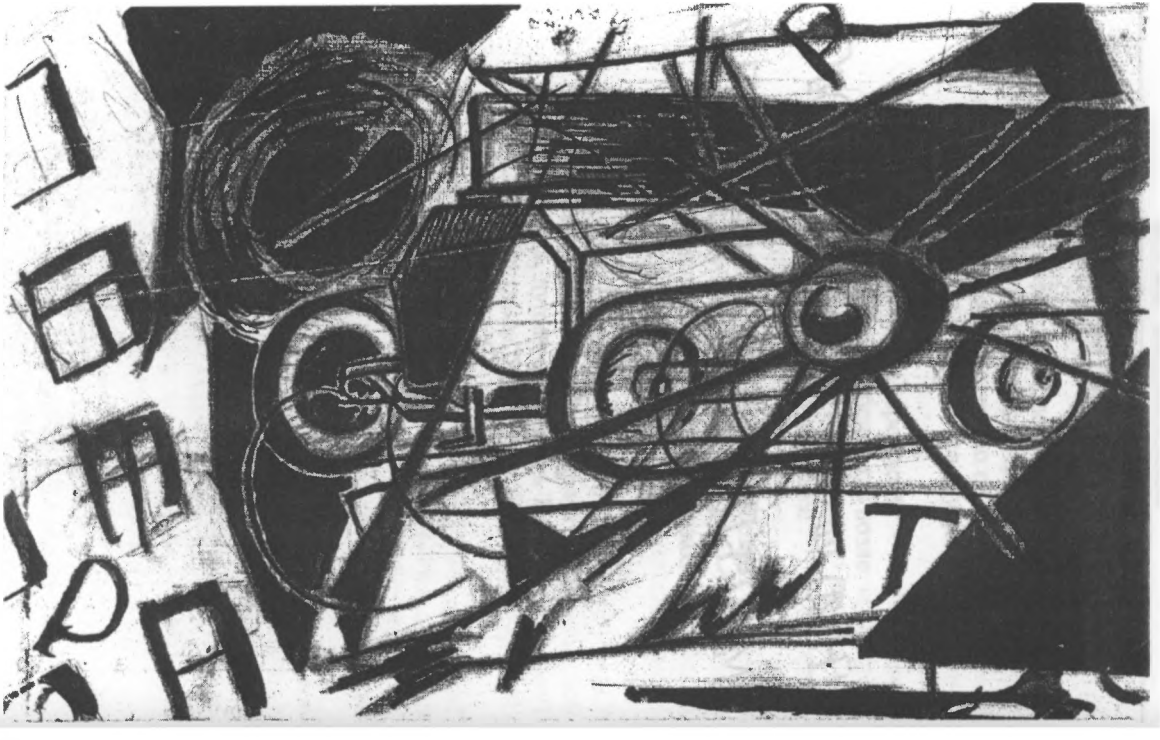
Нет, этот садик городской
С развешенным бельем, а возле
Окружный путь с его тоской,
Доска столярная на козлах.

Здесь ближе Он, чем во дворцах.
Я жду: откроется окошко —
И грязный лик, всегда в слезах,
Украдкой улыбнется кошке,

А мать Нездешней Красоты
Его, склонившись, поцелует...
Тогда, душа, чирикнешь Ты
И счастлива, как птица, будешь.

29.I.1932

НАМ СОЛНЕЧНОЮ
МУЗЫКОЙ ВОДЫ



Посв<ящается> Наталии Столяровой

* * *

Не говори мне о молчанье снега.
Я долго спал и не был молодым
И вдруг очнулся здесь, когда с разбега
Остановился поезд у воды.

Смерть глубока, но глубже воскресенье
Прозрачных листьев и горячих трав.
Я понял вдруг, что, может быть, весенний
Прекрасный мир и радостен, и прав.

И всё, о чем мы говорили в поле,
На мокрый хлеб поваленный глядя,
Всё было где-то на границе боли
И счастья долгожданного дождя.

Еще в горах туманной полосою
Гроза скрывает небо за собой,
Но рядом, за песчаною косою,
Уж ярко солнце встретилось с водой.

Мгновенно отозвавшись счастьем новым,
Забыв о том, чем мучила зима,
Она довольна голубой обновой,
До края неба гребнями шумя.

Сияет жизнь, она близка к награде,
Свой зимний труд исполнивши любя,
И всё вокруг одна и та же радость,
Что слушает во всём и ждет себя.

С ленивою улыбкой молчаливой,
В кустах, где птицы говорят с Тобой,
Читая так, Ты кажешься счастливой,
И радостью Твоей блестит прибой.

И в ней бродячим кажется цветком
Мороженщик под зонтиком линялым,
И парусник за низким маяком
Уходит, уменьшаясь в небе талом.

1932

* * *

Николаю Татищеву

Богу родиться в земном, человеку родиться в небесном,
Дивный Меркурий зовет одновременно мать и жена.
Падает пламя. Огонь подымается к звездам,
Вечной весною цветет в глубине вышина.

Июнь 1932

* * *

В ярком дыме июньского дня,
Там, где улица к морю ведет,
Просыпается утро от сна,
Сад цветет и шарманщик поет.

Огибая скалистый мысок,
Пароход попрощался с Тобой.
Темно-желтый дорожек песок
Свежеполит водой голубой.

В ресторане под тентами штор
Отраженья речной глубины,
И газета летит на простор —
В шум морской и воздушной волны.

Посмотри! всё полно голосов,
Ярких платьев, карет дорогих,
И в горячий уходят песок
Руки смуглые женщин нагих.

В далеко средь молочных паров
Солнце скрыло хрустальной дугой
Грань воздушных и водных миров,
И один превратился в другой.

А за молом, где свищет Эол
И, спускаясь, пылит экипаж,
Сквозь сады, в сновидении пчел,
Гордый дух возвратился на пляж.

Значит, рано молитвы творить,
Слишком летняя боль глубока —
Так, впадая, на солнце горит
И, теряясь, сияет река.

* * *

Д.Ш.

Там, где, тонкою нитью звеня,
Ветер боли и вольности рад,
Ярким дымом июльского дня
Наполняется сердце с утра.

Набегая на теплый песок,
Меж деревьев сияет вода
И, вскипев у горячих досок,
Возвращается вспять без следа.

Отражая часы и часы,
Облаков белоснежный парад,
Мясника золотые весы
Под опущенной шторой горят.

У платформы, где в блеске стрекоз
Обрывается путь в камышах,
Паровоз, что нам письма привез,
Отдыхает, чуть слышно дыша.

А за ним на горячем песке
Выгорают палаток цветы
И, загаром лоснясь налегке,
Возвращаешься к берегу Ты.

И навстречу ревущей волне
Раскрывается небо вполне,
Будто всё превратилось, любя,
В голубой ореол для Тебя.

Но чем ярче хрустальная даль,
Где волна, рассыпаясь, бежит,
Тем острее прошедшего жаль
И яснее, что счастьем не жить.

1932

* * *

Под глубокою сенью аллеи
Дождь дорожку омыл добела.
Утомилась рука водолея,
В белом небе сирень расцвела.

Всё как прежде, и только цветы,
Нежным запахом в холод дыша,
Оживили кусты. Дни пусты,
Но очнулась и внемлет душа.

Фиолетовый гребень в дожде
Мимолетного грохота ждет,
Пар ползет на пруду и везде
Что-то медлит, но снова живет.

В тонкой заводи прядает гладь,
Отраженье зари зарябив.
Но охотник не хочет стрелять,
Смотрит в небо, ружье зарядив.

Средь капели, где луч на весу
Повторяется тысячи раз,
Начинается лето в лесу,
Раскрывается множество глаз.

Я не вижу Тебя, но Ты здесь,
Я не слышу Тебя, но Ты есть.
Где-то птица поет. Это весть,
Что лесам невозможно не цвесть,

Что заре невозможно не быть
Ярким дымом на белых домах
И что сердцу нельзя не любить
Это утро Твое на холмах.

Октябрь 1932

* * *

Ветер легкие тучи развеял.
Ширь воды лучезарно легка,
Даль, омытая влагой, новее,
И моложе земля на века.

Желтый сумрак проходит горами.
Вот и солнце — зажмурился сад.
У стены водяными мирами
Дружно вспыхнули листья посад.

Вешний ветер сегодня в удаче —
Лес склоняется в шумной мольбе.
И на камнях, под новою дачей,
Пена белая рвется к Тебе.

Так, устав от покоя до боли,
Вечно новые, с каждой весной
Души рвутся из зимней неволи
К страшной, радостной жизни земной.

Раздувается парус над лодкой.
Брызги холодом свежим летят.
Берег тонкий зеленой обводкой,
Уменьшаясь, уходит назад.

И не страшно? Скажи без утайки:
Страшно, радостно мне и легко.
Там, за мысом, где борются чайки,
Нас подбросит волна высоко.

Хлопнет парус на синих качелях.
Так бы думать и петь налегке —
Без надежды, без слов и без цели.
Возвратившись, заснуть на песке.

Хорошо сквозь прикрытые веки
Видеть солнце палящим пятном.
Кровяные, горячие реки
Окружают его в золотом.

Шум воды голоса заглушает.
Наклоняется небо к воде,
Затихает душа, замирает,
Забывает сама о себе.

* * *

Стекло блестит огнем.
Маячит утро в доме.
Всё свежестью полно,
Что в лес пришло с воды.

Там будет жарко днем
И в солнечной истоме
Повиснут над волной
Стрекозы и сады.

Еще так сумрачно, так радостно смеется
Проснувшаяся к свежести душа
И слушает, как жизнь воды из крана рвется,
И моется, и дышит не спеша.

Ей в лес идти, вести грибное дело,
Что скрыла от гостей поваленная ель.
Над ней кусты цветут и греются без дела,
А облако в ручье скользит на мель.

Всё, кажется, понять необходимо,
Идти и вспоминать иль на реку грести,
Купаться и, домой вернувшись невредимым,
В ушах с собою воду принести.

Еще полдня счастливый сон заметен.
За чайным хаосом, читая у стола,
Еще душа могла тогда ответить,
Как радуга, зачем она пришла.

Не опуская глаз, не притворяясь,
С серьезностью идя на грубый смех...
Окно раскрылось, зеркалом качаясь,
И сад вошел в сосновый дом для всех.

И снова долгим днем
В саду, в сиянье листьев,
Где шляется пчела
Над лестницей в пыли,

Вода горит огнем,
И в бездне летних истин
Навек душе тепла
Верна судьба земли.

* * *

Над солнечною музыкой воды,
Там, где с горы сорвался берег в море,
Цветут леса и тает белый дым
Весенних туч на утреннем дозоре.

Я снова встал душой из зимней тьмы
И здесь в горах, за серою агавой,
Который раз мне здесь раскрылся мир
Мучительной и солнечной забавой.

В молчанье на оранжевую землю
Течет смола. Чуть слышный шум вдали
Напоминает мне, что море внемлет,
Неспешно покрывая край земли.

Молчит весна. Всё ясно мне без слова.
Как больно мне, как мне легко дышать.
Я снова здесь. Мне в мире больно снова,
Я ничему не в силах помешать.

Шумит прибой на телеграфной сети,
И пена бьет, на улицу спеша,
И дивно молод первозданный ветер —
Не помнит ни о чем его душа.

Покрылось небо темной синевою,
Клубясь, на солнце облако нашло
И, окружась полоской огневою,
Скользнуло прочь в небесное стекло.

В необъяснимом золотом движенье,
С смиреньем дивным поручась судьбе,
Себя не видя в легком отраженье,
В уничижении, не плача о себе,

Ложусь на теплый вереск, забывая
О том, как долго мучился, любя.
Глаза, на солнце греясь, закрываю
И снова навсегда люблю Тебя.

1932

* * *

Разметавшись широ́ко у моря,
Спит возвышенность каменным сном.
День недвижен. У низкого мола
Яхта клонится в воду крылом.

Над обрывом на горной дороге
Мир прозрачен, как жидкий хрусталь, —
Там, устав от ходьбы, недотроги
В белом кружеве смотрятся вдаль.

На лугу под звенящей косою
Травы падают в омут небес.
Пароход, дымовой полосою
Горизонт опечалив, исчез.

А под кручей на тысячу блесок
Распадается солнце в воде,
И сквозь пыль у соснового леса
Мчится гонщик навстречу судьбе.

В теплой лодке пишу без ответа,
Свесив руку, гляжусь в глубину,
Закрываясь рукою от света
У безбрежного моря в плену,

Где в немолчном своем разговоре
Блеск волны догоняет волну
И, теряясь, шумит на просторе,
Незаметно склоняя ко сну.

Чуть курлычет вода за кормою
В непрестанном движенье своем,
Призрак лодки с уснувшей душою
Неподвижно висит в голубом.

И на ней, как весы в равновесье,
Равнодушен к добру и ко злу,
Полон солнечной радостью весь я,
Свесив теплую руку к веслу.

* * *

Сегодня сердце доверху полно
Переливающимся шумом волн беспечных,
Я снова пред тобой, сияющее дно
Земной судьбы, играющее вечно.

Вся жизнь души в глазах, вся жизнь природы в море,
И с каждою зарей рождается на нем
Другая красота, не знающая горя,
А вечером оно красивее, чем днем.

Высокомерного мученья глубину
Я с младости познал, но, не нашедши мира,
Теперь я верую и слушаю волну,
Поющую о том, что радость глубже мира.

Непомраченный день своим теплом
Наполнил лес и заблудился в чаще.
Покоем счастья полон низкий дом,
Весь озаренный облаком светящим.

Здесь, где глядя на мир сквозь хвойный лес,
Душа живет в счастливом одичанье,
Свою стрелу октябрьский Стрелец
Еще не отослал в осеннее молчанье.

Уже желтеет горный лес вдали,
Где с кратким криком ласточки носились,
Укрощена усталостью земли,
Молчит душа, внемля осенней силе.

Уставшая внимать полдневной влаге,
О сне подземном думает она,
О том, что снова будет жить в овраге,
Где в ягоды свои оделась бузина.

Под именем другим, но с тем же восхищеньем
Сияющей судьбой воздушных превращений
И тем, о чем средь полевой межи
Несущиеся прочь поют стрижи.

Всё тот же свет горит во всех мирах,
И все века шумят одним напевом,
И в них и я бессмертен, как в горах
Бессмертен день, всегда как будто первый.

Узнай себя в вечерней теплоте.
Святая радость всюду жизнь рождает.
Она в тебе, она вокруг, везде.
Она всегда любовь сопровождает.

1933

* * *

В. Варшавскому

Летний вечер темен и тяжел,
Душный ветер шелестит бумагой,
Окружает желтый ореол
Диск луны, всходящий над оврагом.

Над вершиной исполинских лип
Яркий свет родился и погиб.
Сотряслась окрестность черным громом,
Стук дождя послышался над домом.

На дворе, теснясь среди сараев,
Покачнулись пыльные кусты
И, курлыча у крыльцовых свай,
Заблестел ручей из темноты.

В чаще птицы согнаны с ночлега,
Пыль воды влетает в окна дома,
Но чем ярче дождь несется с неба,
Тем скорей его затихнет гомон.

Молкнет черный лес, еще шумящий
Мокрой хвоей за столбом качелей,
И сосновым запахом щемящим
Дышит сад в сиянии капели.

Растворив окно высокой дачи,
Отойдя на миг от слов и дум,
Неподвижно слушал неудачник
Утихающий счастливый шум.

Думал он о том, что мир моложе
Безупречных франтов городских,
Но его душа принять не может
Темных и надменных слез людских;

Что земля и радость глубже боли,
Потому что смерть нужна лесам,
Чтоб весной трава рвалась на волю,
Дождь к земле и птицы к небесам;

Что темнее лжи печаль без веры,
А больная жалость горше зла...
Медленно в спокойной дымке серой
День вставал, что иволга звала.

На умытых соснах дивно яркий
Первый луч прошел на высотах,
И спокойный долгий день и жаркий
Начался вознею птиц в кустах.

1932–1933

* * *

Н.П.

Чудо жизни в радостном движенье
Грозовых осенних облаков.
Быстро тает в уличном смятенье
Шум дождя под цоканье подков.

И совсем растерянный от света,
От сиянья воздуха, от теплоты,
Возвращается ноябрь в лето,
Полный беспокойной красоты.

Сердце билось у часов неверных.
Слишком рано, погоди дружить,
Приходи попозже — и мгновенно
Слишком поздно станет, может быть.

Свежестью левкоев и осоки,
Холодом дождливых дней лесных
Незаметно прикасались щеки,
Мчались дни рождения весны.

Рвался ветер обгонять трамваи,
Тентами в дожде озорничать —
То земля была едва живая,
Радости не в силах отвечать.

Сквозь молочный дым в оцепененье
Солнце согревало лес пустой.
В голубом недвижном озаренье
Думал он о жизни прожитой.

Каждый куст свое сиянье листьев
Нехотя, по разному терял,
Будто множество осенних истин
Перед сном с улыбкой понимал.

Ты, как будто щурясь, вспоминала
Прошлое мое, а я — Твое.
Тихо лодка весла подымала,
Белый дым еще скрывал ее.

Ноябрь 1933

ДОМОЙ С НЕБЕС

Н.Постниковой

Судьба души не ведома словам.
В лучах дождя мы снова здесь в неволе.
Весенний ветер дышит к островам,
И грязь блестит на слабом солнце в поле.

В лесу земля, услышав слабый плеск,
Ресницами дождя пошевелила, —
Она спала среди сосновых звезд,
Как будто бы дышать и жить забыла.

В свинцовом небе реет на лугу
Малиновая сень, еще пустая.
Как тихо... слушай, милый, это тают
Коричневые льды на берегу.

Смотри, похожа на мою любовь
Пустая нежность поля без работы.
В лучах дождя оно проснулось вновь,
Но жить не начало и вспоминает что-то.

В пыли лучей — иссохшие поля.
Прошедшим летом в золотой неволе
Под ярким небом мучилась земля,
Дождя ждала и трескалась от боли.

В дыму грозы сиял закат в пыли,
И цвет страниц от молнии менялся,
Но только осенью сожженный лес вдали
Покоя долгожданного дождался.

Покой весны, кто знает о тебе,
Тот никогда земли не покидает.
В холодном небе, в радостной мольбе
Несутся ласточки, дорогу узнавая.

Домой с небес, в чуть слышный шорох трав,
Издалека к оползням косогоров,
Так близко к солнцу жить не пожелав,
Они летят, они вернутся скоро.

В свинцовом небе призраком весны
Малиновая сень берез недвижна.
Во тьме могил напрасно видеть сны —
Не угадать покоя вешней жизни.

Как незаметно радость расцвела,
Вот низкий дом — и мы с Тобой у цели.
Весенний дождь шумел в тени ствола.
Мы долго слушали и говорить не смели.

1934

* * *

Холодное, румяное от сна,
Лицо зари склонилось над землею,
Ты снова здесь, весна моя, весна,
В рассветной тишине одна со мною.

В пустом лесу чуть слышный гам возник.
Там мертвый лист живую землю греет
И отражает сумрачный родник
Свет облака, что над березой реет.

Хрустальными ресницами блестит
Роса высот на буераке мшистом.
И сердце ждет, оно давно не спит,
Чтоб встретить яркий свет на ветвях чистых.

Как за ночь успокоилась вода,
И далеко слыхать, как рыба плещет.
Идут круги и тают без следа.
Всё ближе жизнь, всё ярче небо блещет.

Весенний лес вдруг вспыхнул солнцем весь,
Согретый лучезарною рекою,
Внезапно с солнцем встретившись, как здесь
Мы встретились с Тобою и покоем.

Смотрю на мир, где новые века
Вступают в жизнь, о небе забывая.
Весна-красавица пришла издалека
И мир пустой недвижно озирает.

Еще вдали не тают небеса,
Свинцовые над мокрым черноземом,
В овраге птиц не слышны голоса
И грязный снег лежит в лесу зеленом.

Лишь слабый гром чуть слышно ворожит,
В сиянье туч, тяжелой влагой полных.
Ты, кажется, душа, собралась жить
И смотришь, родину стараясь вспомнить.

Под тяжкими ресницами глаза
Устремлены в предел знакомой боли,
Где вдалеке обречена гроза
Блеснуть и шумно вылиться над полем.

Всё радостней, всё крепче мир любя,
Смеясь и узы грусти разрывая,
Я здесь живу, я встретил здесь Тебя,
Я шум дождя Тобою называю.

1934

* * *

Жарко дышит степной океан.
Шорох птицы на скошенном хлебе.
Облаков ослепительный стан
Безмятежно раскинулся в небе.

Снова не было долго дождя.
Пыль рисует шоссе в отдаленье,
Долгий день, в синеве проходя,
Треск кузнечиков слушал всё время.

Телеграфный трезвон над землею
Не смолкает, недвижно певуч,
И горячей лоснится водою
Желтый омут меж глиняных круч.

Над рубашкой Твоей голубою
Кудри вьются в лазури небес.
Эту книгу, что носишь с собою,
Ты читаешь? — Нет, слушаю лес.

Удивляюсь векам, не читая.
В поле, там, где теряется след,
Приникаю к траве, не считая
Невозвратного горя, ни лет.

Боль весла привыкает к ладони,
Но бросаю — и счастье молчит,
Лишь курлычет вода в плоскодонье
И оса неподвижно звенит.

Всё наполнено солнечным знаньем,
Полногласием жизни и сном.
На горячей скамье, без сознанья,
Ты жуешь стебелек в голубом.

Кто покой Твой не знает, тот не был
За пределом судьбы и беды.
Там Тебя окружают два неба —
Сон лазури и отблеск воды.

Без упрека, без дна, без ответа
Ослепительно в треске цикад
От земли отдаляется лето,
В желтой славе клонясь на закат.

Тщетно, словно грустя о просторе,
Ты пыталась волне подражать,
Только Ты человек, а не море —
Потому что Ты можешь скучать.

1934

* * *

На песке в счастливый час прибоя
Там, где ботик цепью потрясал,
Море стерло пеной голубою
То, что я о счастье написал.

Теплый ветер снова слишком скоро
Пролистал в песке крыла страниц.
Я уже не буду у забора
В сжатом поле слушать шелест птиц.

Над обрывом, на большой дороге
Яркий мир не полюблю свежей.
Вечером, в сиянье, на пороге
Не пойму скольжения стрижей.

Остров пуст, вода ушла далече,
Наклонились лодки на мели.
В желтом дыме выступили в вечер
Каменные берега земли.

В темноте народ идет с работы,
Голоса в порту, в них воли нет,
И слепит глаза за поворотом
Грубый луч — автомобильный свет.

Так всегда темнеет слишком рано
И еще нельзя забыть, заснуть.
Как холодный дым над океаном,
Медленно восходит Млечный Путь.

Там, во тьме, где наше сердце билось,
Между звездным миром и водой,
Бродит тень того, что не свершилось,
Голосит и ищет нас с Тобой.

Слабый отблеск лучшей, новой жизни,
Что уже не хочет в сон назад,
Странной болью, долгой укоризной
Смотрит вслед — и неотступен взгляд.

Слишком рано радостью земною
Сбылось счастье на Твоей руке.
Так всю жизнь мою волненье смоет —
Надпись неглубокую в песке.

* * *

Отцветает земля. Над деревнею солнце заходит
Где-то в сторону моря, за рельсами дышит земля.
Средь высоких колючек там осень живет на свободе,
Улыбается, шепчет и ягодой рядит кусты.

За песчаным холмом, неподвижным сиянием полный,
Невидимый простор, шелестя, покрывает пески.
Я проснулся и слушаю в сердце спокойные волны
Безнадежности, счастья и ясной осенней тоски.

Кто-то ходит за мною, и слышится треск можжевельный.
Это счастье мое заблудилось в полях.
У воды потерялось в сиянии неба бесцельном,
Как забытая книга с отметкой твоей на полях.

То, что, сумрачно щурясь, твой гений писал торопливо,
Незаметно шурша, покрывается теплым песком,
И над миром твоим наклоняется ветка крапивы,
А гроза, проходя, освещает страницы огнем.

Ты ушла и осталась. Мы можем уже не страшиться
Расставаться надолго. Кто может дождю помешать
С безупречным задором твоим над землей проноситься,
Отдаваясь в груди моей, что ты научила дышать.

Всё тобою полно, всё еще раз, от нас отдаляясь,
Улыбается нам. Погасают стога не спеша.
Отцветает земля, осыпаются дни, забываясь,
И на низкое солнце усталая смотрит душа.

* * *

Мать без края: «быть или не быть»;
Может быть, послушать голос нежный,
Погасить лучи и всё забыть,
Возвратить им сумрак ночи снежной?

Мать святая, вечная судьба.
Млечный Путь едва блестит. Всё длится.
Где-то в бездне черная труба
Страшного суда не шевелится.

Тихо дышат звездные хоры.
Отвечает мать больному сыну:
Я — любовь, создавшая миры,
Я всему страданию причина.

Состраданье — гибель всех существ.
Я — жестокость. Я — немая жалость.
Я — предвечный сумрак всех естеств,
Всех богов священная усталость.

Спи, цари. Я — рок любви земной,
Я — почин священных повторений,
Я — вдали под низкою луной
Голос, вопрошающий в сомненье.

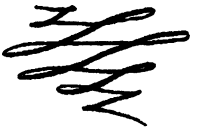
О герой, лети святым путем,
Минет час — ты рок богов узнаешь.
Я же с первым утренним лучом
В комнате проснусь, что ты не знаешь.

Улыбнусь. Рукой тетрадь открою,
Вспомню сон святой хотя б немного
И спокойно грязною рукою
Напишу, что я прощаю Бога.

Сон о счастье. Газ в пыли бульвара,
Запах листьев, голоса друзей...
Это всё, что встанет от пожара
Солнечной судьбы. Смирись, ничей.

1935

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИХИ



Борис Поплавский

Автоматические стихи

Посвящается

Дите Шрамблиан

Николаю Татищеву

Париж 1931

* * *

Сонливость
Путешественник спускается к центру земли
Тихо уходят дороги на запад
Солнце
Мы научились разным вещам. Мы были на полюсе
Где лед похож на логические возвраты
А вода глубока
Как пространство
Всё оставлено
Только вдали память говорит с Богом

* * *

На аэродроме побит рекорд высоты
Воздух полон радостью и ложью
Черная улица, грохот взглядов, удары улыбок
Опасность
А в тени колокольни бродяга играет на флейте
Тихо-тихо
Еле слышно
...Он разгадал
Крестословицу о славе креста
Он свободен

* * *

Еще никто не знает
Еще рано
Сладко спят грядущие дни
Положив огромные головы
На большие красивые руки
Звезды зовут их
Но они не слышат
Далеко внизу загорается газ
Дождик прошел, блестит мостовая
Христос в ботинках едет в трамвае

* * *

Кто знает? Никто здесь не знает.
Кто слышит? Никто там не слышит
Ничего не бывает
Все забывают
Сладко зевают
Медленно дышат
Тихо, как рак задом во мрак.
Пятится счастье в звездных мирах
Солнце тоскует
Блестит весна
Мы не проснемся навек от сна

* * *

Черное дерево вечера росло посредине анемоны
Со сказочной быстротой
Опять что-то происходило за границами понимания
Изменялись окна, стёкла касались времени
А за окном была новая жизнь
Всё меняло свое название как в те прошлые годы
Железо улыбок звучало ударами дождевых лилий
Потом всё прошло и снова была ночь

* * *

Мы пили яркие лимонады и над нами флаги кричали
И бранились морские птицы
Корабли наклонялись к полюсу
Полное солнце спало в феерическом театре
В пыли декораций где огромные зáмки наклонялись
Под неправдоподобными углами
В пустом и черном зале сидело старое счастье
в рваных ботинках
И курило огромные дешевые папиросы
Созерцая ядовитый огонь заката
В пыли кулис
А наверху плыли дирижабли
Люди кричали и пропадали
Дали молчали и появлялись
И уже шел дождь
Изнутри вовне, из прошлого в будущее
Унося в своей серой и мягкой руке
Последнюю доблесть моряков

* * *

Птицы-анемоны появлялись в фиолетово-зеленом небе.
Внизу, под облаками, было море, и под ним на страшной
глубине — еще море, еще и еще море, и наконец
подо всем этим — земля, где дымили небоскребы
и на бульварах духовые оркестры
тихо и отдаленно играли.
Огромные крепости показывались из облаков.
Башни, до неузнаваемости измененные ракурсом,
наклонялись куда-то вовнутрь, и там еще —
на такой высоте — проходили дороги.
Куда они вели? Узнать это казалось совершенно
невозможным.
И снова всё изменилось. Теперь мы были в Голландии.
Над замерзшим каналом на почти черном небе летел
снег, а в порту среди черного качания волн
уходил гигантский колесный пароход, где худые
и старые люди в цилиндрах пристально
рассматривали странные машины высокого роста,
на циферблатах которых было написано —
Полюс.

* * *

Сорок дней снеговые дожди
Низвергались, вздыхая, над нами
Но не плавает со слонами
Дом надснежный — спасенья не жди

Днесь покрыты все горы где тропы
Непрестанным блестящим потопом

Спят сыпучие воды зимы
Раздаются под телом безмолвно
В снежном море утопленник-мир
Неподвижно плывет и условно.

* * *

Рокот анемоны спит в электричестве
Золото заката возвратилось в черную реку
Стало больно от черного снега
В тот год умерли медные змеи
И верблюды отправились в пустыню за горной водой
Тихо по стенам всходила вода
Карнизы смотрели в океанские дали
Кошки спали на самом краю небытия
И кто-то говорил во сне
Странно приподымая руку
О самом страшном —
О измене

* * *

Почему боль не проходит?
Потому что проходит вовнутрь.
Где спит статуя с электрическим черным лицом
На страже анемоны и солнечных рыб
Там боли нечего делать

* * *

О колокола
О сирены сирен в сиренях
О рассветы что лили из лилии
Самое простое — это умереть
Самое трудное — это стерпеть
За открытою дверью снова улица в сквере
Из комнаты в комнату вхожу
И сон за мной
Мое пальто там в лунной тьме сутулится
Я падаю, оно за мной
О солнце
Как передать позор отказа плакать
И в синеве подземной отцветать
В окно мое устало солнце падать
Отказ молчать
Колокола. Перу уснуть пора
Сирени рвались в вечность, спят давно
Со странною улыбкой мертвых дев
О лев
Смежи лучом виденья королев

* * *

Звуки неба еле слышны
Глубоки снега и степи
Кто там ходит, спит, не дышит?
Розы ветра облетели
Тишина лежит в постели
Глубоко больна
Снится ей иное время
Пишет черт стихотворенье
У ее окна
Спи, младенец жизни новой,
Слишком рано и темно
Спит зари огонь багровый
Глубока дневная ночь

* * *

Беззащитный сон глубины
Отразился в руках судьбы
Бледно-желтою нитью зари
Перевязаны руки царей
Всё готово на небесах
Ждите, тише, он настает
Тот внезапный трепет в часах
Тот ошибочный странный звон

* * *

Колёса, локоны, шестипалые руки и фотографии
Были основанием, но лодка не тонула
Тысяча ног и нот
Не могли ей помочь уснуть
Потому что полночь настала
И луна поникла устало
Утро будет? — кто-то спросил
Нет — ответил кто-то без сил
Нет возмездия, нет награждения
Свято всё что касается тления

* * *

Святым не надо бессмертия
Они не хотят награды
Они не ждут не боятся
Они презирают печаль
Но оставьте их отвернитесь
Всё легко что касается тления
Нет награды и нет наказания
Бескорыстно всё безвозвратно
Всё летит в серебре пустынь

* * *

Это и были Лериды
Высокие как окна соборов
Далекие как солнце иных миров
Но зачем они опустились
Никто никогда не понял
Почему они загрустили
Кого увидели там
И огромные очи свои обратили
В обратное высотам...
И сразу стало тише и холоднее
Глубже уснули на снежном рассвете
Страшные черные лица детей
А рассвет был ложен, легок и пуст
Как сгоревший серый вчерашний куст

* * *

Отдаленные звуки неба
И страшные звуки жизни
Я сегодня совсем не слышал
Я сегодня не ел и не пил
Я сегодня почувствовал жесткий
Удар посредине сердца
Я сегодня спустился к черным
Безмятежным краям пустынь

* * *

Высоко на крыше дома
Стояла Статуя Счастья
Наблюдая рождение жизни
Из желтого моря зари
Всё казалось ей: время настанет
Растворятся, раскроются бездны
Голоса поцелуют землю

* * *

Подумайте о вращении
Вращающийся перестает понимать
Он наклоняется и не падает
Он часто висит кверх ногами
И в одном глазу у него Запад
А в другом гора Нуримая
Уходящая на Крайний Север
В сером дыме своих вулканов
И какие-то прошлые жизни
Абсолютно лишенные счастья
О которых он вспоминает
Вспоминая не понимает
Только черной рукою гладит
Как волна — острова и скалы
Где огромные птицы молча
На грядущем задом сидят
Размышляя сидя на камне
И еще голубой колокольчик
Подле моря звенит, звенит

* * *

От высокой жизни березы
Только листья остались в море
Берега позабыли воду
Пароход позабыл природу
Дачи хлопают крыльями крыш
Птица чайка летит на север
Путешественник там замерз
Можно съесть его нежный голос
Руки моря
Кажутся белыми

* * *

Луна играла серенады
На светло-голубом рояле
Мы прятались за колоннады
Выглядывали и ожидали
Но тот ее ударил в спину
Кто больше всех боялся звуков
И смолк стеклянный лунный клоун
Истек серебряною кровью
И голова его скатилась
За дальний черный низкий лес
Прощай, луна. Луноубийца
Живет в стеклянном снежном доме
И тихо на воздушном шаре
Летят в эфир его года.
Всё минуло и он забыл
Что некогда себя убил.

* * *

Кто ты? Я то что тебе непонятно
Я там за болотом, за тьмою, в лесу
На небе рождаются светлые пятна
Спит маленький месяц во тьме на весу
Кто ты? Я тот кто исчезнет при свете
Что гибнет мгновенно, что тихо, что тленно
Я голос что спит в отдаленной планете
Я царь что живет в отдаленной вселенной
И никто не слышит
Всё медленно дышит
Всё грезит на зимней заре
О царе
Что пел над болотом
И с каждым годом
Склонялся к земле
И страшное солнце всходило не щурясь
А духи ночные бежали в туман
Как пьяница нежный с бульваров и улиц
Обратно знакомой стезей в ресторан

* * *

О расскажи взаимное рожденье
Твоих лучей на свет глубоких бездн
О если бы добиться пробужденья
Еще не живших и не певших звезд
О страшный самум пыли равнодушья
Смеркание, склонение лучей
И комары съедающие души
И лысины на головах детей
Никто не жил, никто еще не любит
Никто не видел неба и рассвета

* * *

Карты счастья и карты печали
Тихо с неба падали в окно
Но никто не наклонялся к жизни
Все закрыв глаза смотрели вдаль
Всё там было тихо и просторно
Все страдали от соседства звуков
Как ужасно к счастью просыпаться
Как нелепо к жизни возвращаться
Безнадежным золотом счастливым
В солнечное море отнесенным
Голубые очи открывались
Золотые книги закрывались

* * *

Невозвратимый
Неустрашимый
Необъяснимый
Молчи навек
Тихо дыши
Делай что хочешь
Просыпайся глубокой ночью
Подражай соловьям
Облакам
И полярному льду
В море высоком
Синем далеком
Тихо идут золотые часы
Судьбы
Тихо ветер колеса тронет
Колокол нежный, колокол белый
Звук золотой подаст
Темное тело
Сможет упасть

* * *

Был красивый полон удивленья
Что заснул в болоте утопая
Страшно близко к лучшим временам
И проснулся на высоком месте
Только горы преграждали взоры
Но понятно было то что скоро
Облака поднимутся к лазури
Поцелуют небо наяву

* * *

Отрицать мир с четырех сторон
Погружаться в четыре сна
Обволакиваться четырьмя сияньями
Так мы хотели вначале
Так кричали нам птицы
Только мы не отвечали
Не уставали неудостаивать
Мы под страшным ветром печали
Так любили до утра простаивать
Раскрывая свои паруса

* * *

Соединенье железа, стекла, зеленого облака,
Предсмертной слабости, а также скрежета,
Испарины снега, бумаги, геометрии и перчаток
Снятых со многих, многих снов
Давно истлевших
Забытых
Кто знал тогда что перед нами предстанет
На западе
И почему столько судов замерзло на юге
Полных вращения
Что-то вдруг изменилось
Как будто река вдруг оказалась над нами
Раньше чем мы отвернуться успели
Нас относило к иным временам
Дико свистели лодки встречные нам
Долго потом на песке
Мы рыдали от счастья, от жалости к листьям
От боли волненья
А домик в бутылке
Всё стоял и стоял —
Он не заметил вращенья.
Сладко зевая
Вышел хозяин
Обратно вернулся
Заснул

* * *

Разорвите цепи — железо так нежно дышит
Камень плачет навзрыд
Но никто не слышит
Никто с ним не говорит
Каменная девушка на воздушном шаре
Поднимается в небо не переставая улыбаться
А на дне моря философ играет на скрипке
И звенит своей цепью
Прикован ко дну
Медленно верблюды уходят в Сахаре
На юг
И всё бесполезно
Всё лишено назначенья
Тихо и звездно
Над мертвою жизнью город шумит
Счастье молчит

* * *

Перепробуйте все комбинации
Побудьте во всех соединеньях
Поцелуйте женщин всех наций
Научитесь пению
Или возвратитесь в отдаление
Тогда вы поймете что в малом
Что приснилось вам на рассвете
Было всё что есть во вселенной
И то что снилось вселенной
И еще многое абсолютно непонятное
Относящееся к грядущим дням

* * *

Июль прошел, холодный маниак,
Он спал во льдах среди течений юга
Горели розы лампы в снежных облаках
И месяцы смеялись друг на друга
Жара спала в снегу ночных минут
И дождь настал

* * *

Отшельник пел под хлороформом
Перед ним вращались стеклянные книги
Он был прикован золотою цепью
Ко дну вселенной
Было далеко от жизни
Но еще не совсем смерть —
Это было предчувствием страшного звука,
Полусон, сквозь который брезжит рассвет.
Холод, сонливость,
Передрассветная мука.
А на дне вселенной качались деревья
И дождь уходил
В бледно-сером пальто.

* * *

В черном море пели водолазы
Айсберги над ними проходили
Было пыльно в городе над ними
В лазарете с феями больными
День скользил сквозь годы одиночества
Шум дождя скользил на белых листьях
В сумерках при свете фонарей
Были слышны вздохи паровозов
Грозы спали у моих дверей
Потому что лето было ложью
Под театром страшной высоты
Далеко внизу трамваи шли
В них читали книги короли
Только ночь ушла из Нуримат
И глаза закрыли сны зари

* * *

Неустрашимый
Сплю на рельсах курьерского поезда
Но в другом измерении
Поезд пройдет во сне
Испугавшись цветов
Опрокинется в реку
Наполнится рыбами
Вернется домой
Невозмутимый
Помню о прошлом
Тихо целую
Грядущие дни

* * *

Пели колеса
Давно-давно
Мы были другими
Нас ласково звали в окно
Повторяя странное имя
Какое-то странное имя
Но мы забыли когда это было
И было ли
Всё превращается
Всё возвращается в море
Дождь размывает землю
И память
Прощай
Мы уходим в холодное завтра
Ты — в рай

* * *

Голоса цветов кричали на лужайке
Тихо мельницу вертело время
Воин книгу за столом читал
А на дне реки прозрачной стайкой
Уплывали на восток всё время
Облака
Было жарко, рыбы не резвились
Фабрики внизу остановились
Золотые летние часы
С тихим звоном шли над мертвым морем:
Это воин всё читает в книге.
Буквы в книге плачут и поют
А часы вселенной отстают
Воин, расскажи полдневным душам
Что ты там читаешь о грядущем
Воин обернулся и смеется
Голоса цветов смолкают в поле
И со дна вселенной тихо льется
Звон первоначальной вечной боли

* * *

Высоко над жизнью поэта
В синем платье проходит лето
В черной жаркой базальтовой зале
Короли увядая ждали
Как колонна в дельфийском храме
Падал жар убивая души
Голубыми пустыми глазами
Карлик шум мироздания слушал
Он всходил на огромные башни
Опускался в бездны вулканов
С сердцем полным печали вчерашней
Оставался мечтать на башне
Неподвижно близок к часам
Может быть судья небесам

* * *

Пироскаф дымок распускал
Колесами воду пеня
Там на башне сидел чудак
Глядя пристально в вешний мрак
Побеждая нездешний страх
Но лукаво прятался страх
В прах
И устав возвратился дурак
Во мрак

* * *

Сто миллионов сфер
Облака иных атмосфер
Дивный блеск вертикальных рек
Телескопов трубы навек
На высоких горах
Спи отвергнувший страх
Всё что будет тобой прощено
Ты простил всё что было
Сохранил всё что время забыло
Но ты с нами, ты наш, ты стена
Ты живая и спящая истина

* * *

Вечный воздух ночной говорит о тебе
Будь спокоен как ночь, будь покорен судьбе
В совершенном согласье с полетом камней
С золотым погасаньем дней

Будь спокоен в своей мольбе

* * *

Я живу на границе твоей
О душа, о море победы
Меж тобою и мною ночь — высоко до рассвета
Далеко до лучезарного дня
Я живу на границе твоей
Камень тихо со мной говорит
Солнце спит среди ночи в святой синеве
Далеко подо мною идут пароходы
И флаги качаются. Там чайки чайки поют
Пароходы идут на юг
Только я не смотрю —
Я железным лицом одиноким
Повернулся в надмирную ночь.
О Светлана,
Будь, приди, о настань
Отразись в синеве Иордана
Иона в уста поцелуй
В уста Иоанна

* * *

Фиалки играли в подвале
Где мертвые звезды вздыхали о мраке могилы
Только призраки окна еще открывали
И утро всходило
Им было так больно что лица они закрывали
И так до заката
Когда погасали
Лучи без возврата
А ночью огни появлялись на стенах домов
Цветы наклонялись над бездной — их пропасть манила
Внизу на асфальте ходила душа мирозданья
И думала как ей войти в то прекрасное зданье
Так долго ходила, на камень ложилась лицом
И тихо шепталась с холодным и мертвым отцом
Потом засыпала
Вернувшийся с бала
Толкал ее пьяной ногой

* * *

Всё было тихо, улицы молились
Ко сну клонились статуи беседок
Между дверьми — уйти! — остановились
Небесные и тайные победы
Как сладостно, как тяжко клонит сон
Как будто горы вырастают
Вершинами упертые в висок.
Высокий ледянной прекрасный Эльбрус тает
И медленно смеркается восток.
Всё было так, всё было не напрасно...

* * *

Где ты, энигматическое сердце?
Я высоко, я за границей света
Где ничего уже вам не поможет
Дойти не сможет
Кто знает вас, тот будет горько плакать,
Потом уснет в усталости ужасной.
Уйдет в напрасный
Звездный сумрак

* * *

Отпустите чудо
Не мучайте его пониманием
Пусть танцует как хочет
Пусть дышит
Пусть гаснет
Нет, оно не может поверить
Что вы раскроете ладони
Полюбите капли дождя:
Ваши души не промокают
И с них не стекает
Свет

* * *

Быть совершенно понятным
Совершенно открытым настежь
Чтобы все видели чудовищ
Совершенно лишенных рук
Полных розовых нежных пятен
Диких звезд и цветочных лужаек
Невидимых колоколов
Водопадов
И медленных верных рассветов
Над необитаемыми островами
Чтобы все разделили счастье
Баснословный увидели город
Где отшельник нагой живет
Он прикован цепью к вселенной
Он читает черную книгу
Где написано как вернуться
В баснословный древний покой

* * *

Так голодный смотрит на небо
Наслаждаясь больной синевою
Облака золотые жалея
Забывая искать ночлег
Погрузившись в лучи водопада
Успокойся, лишенный печали,
Успокоившись что-то реши
И молчи о святом, о решенном
Не греши говоря о нем
Только так поступай как казалось
Как тогда обещал ты сделать
Так живи

* * *

Никого не решайся видеть
Закрывай свои взоры стеклом и цветами
Отстраняя лучи водопада
И красивые флаги
С белой чистой страницей бумаги
На черном лице
Будь похож на часы золотые
Где огромное время таится
Ожидая свой знак отдаленный
Свой таинственный голос за сценой
Чтоб поднять золотую доску
Размотать гробовые ленты

* * *

Золотая рука часов
Разбудила отшельника в склепе
Он грустя потряс свою цепь
И раскрыл колоссальные книги
В книгах были окна и двери
В окнах горы и мелодрамы
И леса высоких аккордов
Электрических снежных машин
Только бедный отшельник ослеп
Он покинул свой черный склеп
Он живет на звезде зари
Безутешно плачет о нас
Потому что там высоко
И до земли далеко
И нигде нельзя встретить тех
Кого убивает смех

* * *

На железной цепи ходит солнце в подвале
Где лежат огромные книги
В них открыты окна и двери
На иные миры и сны
Глубоко под склепом, в тюрьме
Под землею служат обедню
Там, должно быть, уж близок ад
Где звонят телефоны-цветы
Там в огне поют и грустят
Отошедшие в мире часы
О раскройте подвалы и залы!

* * *

Я слушаю: так далеко не слышно
Так много снегу за ночь прибывает
Кто там кричит за ледяной рекой
Там в снежном замке солнце умирает
Благословляя желтою рукой
Как холодно здесь осенью бывает
Какой покой
Как далеко один здесь от другого
Кричи, маши — так только снег пойдет
Железная дорога понемногу
Сползает к морю в бездну на покой
Вы умерли. Прощайте недотроги
Махнуло солнце жалкою рукой
Спокойно угадав свою дорогу
Сойдет в покой
Здесь холодно бывает слава Богу

* * *

Там ножницами щелкали вдали
Ночные птицы отрезая нити
Которыми касались короли
Иных миров. Что делать Вам? Умрите
Попробуйте молиться в мире снов
Но кто-то плакал на дворе вдали:
Он собирал лоскутья и обрезки

* * *

Случалось призракам рояли огибать
Являться запросто свои расправив косы
Был третий час. В больную моря гладь
От счастия кидались вплавь матросы
Был летний день. Не трудно угадать
Почто бросались в океан матросы
Часы ныряли в бездну океана
И глубоко звенели под водой
И снег влетев в цветник оконной рамы
Переставал вдруг быть самим собой
Мы отступали в горы от программы
Но ты упала в прорубь на лугу
Засыпанная летними цветами
Писала ты в испуге о признанье
Что повторить я больше не могу
Я говорил: не быть воспоминаньям
Как и всегда там море на лугу

* * *

Кости упавших домов
Согревались утренним солнцем
Соловей на черепе пел
Но о чем — понять не могу
Просыпались цветы у ворот
Утро ночь проходило вброд
Утро настало
Весна кругом
Усни устало
Не здесь твой дом
За каждой розой
В тени железо
Здесь рок сияет
Я здесь в аду

* * *

Тише, ду́ши, солнце там на крыше
Не дыши
Пыльный здесь паркет блестит, а выше
Камыши
Там Христос сидит на крыше
Ни души
Страшно жарко. Тихо в ожиданье
Дети спят в страданье
Годы ждут в реке во тьме
Будит время призрак мирозданья
Навсегда в полдневное сиянье
На стене
Ходит воин в каске оловянной
Что-то зная
Луч горит в зубах часов стеклянных
В башне рая
Будет всё как солнце говорило на заре
Как часы спокойно повторили
В синеве

* * *

Страшно было это рождение камня —
На лету на вершине признанья
Нам являлось лицо бледно-синей Медузы
Рассвета
Было страшно следить за рожденьем
За окамененьем цветов
За каменной ленью
Античных голов
Склоненных над теплою Летой
Все мы умерли здесь
Мы влюбленные в жизнь
Раздували лазурное пламя
Лазурных весенних
Ночных подземелий.
Как странно, как глухо
О, этот рассвет —
Как ангел смерти!

* * *

Серо-синий день погиб случайно
Он упал из темного окна
Кто-то говорит во тьме случайно
И рояль загрохотал со сна
Страшно, глухо, каменные руки
Невозможно со стола поднять —
Сумрак ночи — каменные руки
Протянуть к востоку свет обнять
Нет, луна как маска змеевая
Что-то шепчет: «Всё прошло, забудь»
Тихо, время, песня змеевая
Жалит каменную грудь

* * *

Шум непрестанно менялся
Дождь повторялся слабея
Синие сумерки были
Чьей-то печалью полны
Может мы позабыли
И каменея, белея
Может быть мы отпустили
Руку прошедшую сны
Страшно под ликом Медузы
Где ты, Светлана?
Бедный, молчи
Она далеко
Она не услышит
Она в раю

* * *

Перекрестный ветер, вечер синий и тревожный
Странный голый блеск страниц
Статуя писала в темном доме ложном
Свой дневник
Боже мой как медленно в озеро
Падает Ушеров дом
Как беззвучно бьется сердце Моцарта
Под толстым льдом
Тик-так
Тише
Я всё слабею
А свет всё выше
Так-тик
Так
Слушаю мрак
Никто не поможет
Дойти не сможет
Легче черной реке вертикально подняться
К зениту

* * *

Очень страшно всё что очень тихо
То что говорит во сне
Что превращается в камень
Еще поет
Время стекает к садам антарктических птиц
Время, прощай
Мы ненавидим красоту закатов
Мы лиц меловых не поднимаем
Примерзших ко льду
Мы склоняемся ниц:
Там на дне
На огромной цепи
Христос читает железную книгу
Мы с Ним навсегда
Прощай

* * *

Тот кто лишается времени
Касается черной книги
Срывается с круглой цепи
Наконец целует крест
Он спускается ниже и ниже
В отчаянии простых решений
По ту сторону возмездия и наказания
Прикасается к чаше Пилата
Проливая ее над бездной
Омывая ее грехи
Тихо, звездно
В бездне кричат петухи
Но мы глухи, но мы тихи
Мы читаем черную книгу

* * *

Бегите, как время проносится время
Золотыми руками машут часы
Самоубийца кровью пишет стихотворенье
Но и тот с улыбкой смотрит на часы
Всё сине-сине и чисто
Лишено обвиненья, но недоступно слезам
Здесь цепью прикованы сны чтобы волей-неволей
Склоняться им под колеса железным часам
Но есть повеленья
Решенья лишенные срока
Лишенья такие
Что вечность врывается в них
И память им не нужна
Они прожигают вселенную
Мы плачем тогда
И
Шепчем какое-то имя

* * *

Железо пения усталых
Звенело в глубине заката
Он пел из глубины природы
Но звук запаздывал до смерти
И всё казалось неизменным
Земля домов шумела комнатами
Обои черные молчали
И умывальники молчали
Вода в стенах кричала до заката
Среди реклам и бледно-желтых ламп
Рука рвалась из готового платья
Как занавеска в храме пополам
Сама к себе бросалась смерть в объятья

* * *

В банках машины жевали железное мясо
Лампочки зажигались на циферблатах
Поезда отдалялись в своих подземельях
И оркестры играли в высоких стальных маяках
Тихо строили руки в воздухе
Поворачивались стеклянные глаза
Дирижабли слегка напевая летели ко звездам
И труба телескопа смотрела в подводный зал
Девочка черную бабочку в подъемной машине поймала
И подарила больному священнику в желтом костюме
На плотине огни загорались весеннего бала
А под нею скелеты дремали в объятиях спрута
Медленно в мире рассвета склонялись весы
Эриний ждали они, за белою стрелкой следили
И последние били на каменных башнях часы

* * *

С горячих рук больного музыканта
Стекала музыка холодная в окно
Там пароходы в доках уходили
И скверы жалкие были полны луной
Он наклонялся над огнями улиц
Он статую на крыше видел ясно
Она смотрела с черного отвеса
Как загорались звезды синема
И парочная прачечная тихо
Дышала уничтоженными жизнями
А в подземелье, под ногами банков,
Отшельник книгу грязную читал
Там были странные круглые колодцы
Где плыли звезды, облака менялись
И голоса спокойно раздавались
И все вдали прикованные к цепи
Вдруг замолкали на одно мгновенье
И улыбались полузакрыв глаза

* * *

Мы позабыли утро
В беседке состарилась статуя
Были на льду те желтоватые отблески
Что перед нашим домом который упал
С высоты мирозданья
В печаль надмирных лучей
В лазарете вечер играл на рояле
Загорались лампы в белом курзале
Как это было давно
Женщины в шалях загробные флаги вязали
Мертвый солдатик показывал крестик в окно
Анна Каренина пела грустя на вокзале
Было ли это
Или приснилось
Не знаю
Проснусь — не вспомню

* * *

В Африке шумели паровозы
В черном небе
Средь странных желтых песков
У самого входа в гробницы
Где столько зал и коридоров
А окна выходят в небо
А внизу не видно земли
Паровоз уходил поднимаясь на небо
Змеился воздух болот вдали
Мы жили там
Мы строили маленькую башню
А ночью она росла
До неба добра и зла
Мы просыпались с своим удивленьем вчерашним
И уже были звезды в нас
И прошедшие годы в окнах
И по белым камням шла в раскаленном молчании сна
Мадонна в белом халате
Неся на ладони
Стеклянный поющий шар

* * *

Было тихо в Сахаре молчанья
Всюду лежали мертвые крылья
Белые дальние за́мки
Остановили колокола
Было в подземных гробницах молчание страха и боли
Но внизу издалёка
Рвалась из болота
Ужасная белая не видевшая света река
Ниже и ниже огромных статуй
Тени ползли
Аэростаты в лазури
Подымались выше и выше
Тень аэростата ходила по крыше
Вдруг что-то упало
Река рванулась
Тень Герострата шумела не более мыши
Солнце не встало
Только голос сказал:
Вы были правы
Но ничто не поможет —
Дойти не сможет
Склонитесь в черные травы
Спите, умрите
Так легче ждать

* * *

Эти скитания звуков
Нам снились, но мы улыбались
Над нами отшельники пели
Трясли свои цепи
Но мы были в снежной постели
Холодной навеки
По дну океана огромные птицы летели
Сны белых снежинок спускались до наших бездн
Заметали наши спокойные лица
Звуки побившись крыльями
Уставши как смерть
Возвращались с трудом на небо
И ложились на краю рая
Им не хотелось
Им не хотелось больше ни жить, ни звучать

* * *

Были веки железных лиц
Склонены к пустыням страниц
Опускались звуки к земле
Прижимались щекой ко льду
В подземельях далёко-далёко
Летали странные звуки
Слабые руки
Толкали железные двери
Тихо в подземных мирах
Ходит познавший страх
Из залы в залу, из бездны в бездну
Увлекая мертвые звезды
На дно
Только небо кругом
Опускаясь прошел насквозь
Вернулся в воздушный дом
Простил железным мукам

* * *

Бледнолицые книги склонялись к железным рукам
Всё было там
Все лица
Кругом весна не смела цвести
Всё было тихо
В пустыне дышал паровоз
В желтом песке таились входы
В небесные царства
Где тихо менялись огни, облака
Тихо разжалась рука
Стало вдруг звездно, тепло и прекрасно
Белый и ясный
Голос покинул свои облака
Здравствуй, праздник прекрасный,
Умершим жизнь так легка

* * *

Над различными городами одинаковые звезды
Невозможность пространства
Кусочек зеркала в ручье владеет солнцем
Видно за тысячу верст
Мокрые листья как небесные легионы
Тихо шумят
Зелеными крыльями
В такой день недалеко от неба
Прямо из трамвая
Тихий на вид
Синий на вид
Сад Гесперид

Неужели вам никогда не хотелось быть чистыми?

* * *

Виктору Мамченко

Говорили двое в комнате над миром
А в окне был виден яркий белый дом
На стенах были окна картин — там были закатные виды
А под полом глубоко сердце билось покрытое льдом
Оба себя осуждали
И говорили что черными лицами
Коснулись белых страниц
Что их жалкие ангелы плача
В черном ветре печали покинули узкий карниз
Высоко на небе стояла их неудача
Тихо о том
В лесу золотом
Думал отшельник в хвойной каменной яме
Он считал золотые звенья
Цепи которой земля привешена к небу
И видел что их стало больше

* * *

Было страшно тихо в высшем мире
Там слушало время бездну
Было страшно тихо внизу
Среди грохота зла
Лишь далёко и редко
Медленный нежный рождался звук
И тотчас склонялся
В мертвый испуг
Боже, как тихо там в высших мирах
Как мало добра
Как все молчат
Века и века всё ту же страницу
Читает стеклянный гений
Только в храме священник
Играет на черном рояле
Падая от усталости
Клонясь ко сну
Священный атлет
Он не снимет железных рук
Он нам дарит все звуки
Чтоб молчание не поцеловало вечность

* * *

Медленно вращаясь к времени
Покидая вечность зрения
Мы вступали в железную залу
Озарены улыбкой презрения
Клонясь устало
Тотчас засыпая.
Кто зовет нас?
Мы как будто слышали голос.
Это труба тумана —
Это пенье фиалок —
Это снежная скрипка?

Нет. Это жалость —
Это звон железной цепи —
Это каторжной песни вокзала
Осенний усталый голос.
О, пожалейте
О, покиньте свет
О, умрите с нами
Прокляните рассвет
Тихо время играет на флейте
Молчит, смеется
Оно разбудит росу
И будет счастье в лесу.

* * *

Кто помнит сердечный припадок
Ужасный трепет стеклянных стенок
Как будто рвалась из бездны
Река ужасных событий
И уже приступало время
И уже приближалась минута —
Ты помнишь, ты видишь, ты знаешь
Забываешь, ты спишь.
И вдруг отступает жестокость
Разжимаются странные когти
Иностранец на землю ложится
И ни о чем не мечтает
Он не помнит уже о жизни
Спит глубоко в дожде холодном
Повернувшись лицом к земле

* * *

Призраки в сферах молний
Зарницы не успевают
Не успевают запомнить
Что говорили в огне
Мгновенные ангелы жизни
Бесподобная жизнь облаков
Бесконечно менялась в весе
На высоких горах зари
Отдыхали они цари
Опускались потом к земле
Заползали в подвалы домов
Прячась в бездне подземных ходов
Засыпая на черных цепях
Не успевали запомнить
О лишенных памяти жизни
Поцелуйте в высокие лица
И закройте над ними склепы
Избегайте о них говорить

* * *

Страшно думать: мы опоздали
Мы бежали по черным предместьям
Попадая в двери глухие
В подземелья падали навзничь
А тем временем там хоронили
Там служили в башне обедню
Троекратно взывали к дверям
И ответа ждали закрыв глаза
А теперь на железных рельсах
Повернулись гранитные горы
Облака опустились в бездны
Птицы канули в холод звездный
И как жалкие призраки-воры
Мы гуляли у входа в полночь
Которая солнцем сияла
И ждала миллионы лет

* * *

Горит желтый зал
Все обедают без меня
«Кто будет чай пить?»
Говорит Ладя —
Самая высокая
Тоска моей жизни.
Радость достигнута
И перейдена

* * *

Под тяжестью белых побед
Больной полководец
Склонился лицом на железо
Молчит ощущая холод
Нагим колоссальным лбом
И снится ему могила
Холодный торжественный мрамор
Где скрестив разбитые руки
Опустив огромные веки
Он лежит тяжелый и чистый
Изменивший в последний час
И непрестанно и тихо
На большой глубине
Текут колоссальные реки:
Там солнце блестит
И тонут закаты
И всё безвозвратно
И всё забыто

* * *

На большой глубине
Где-то где-то
В смирительной рубашке
Во тьме, во сне
Безумное солнце — и камень
На сотни верст вокруг.
Безумно и глухо оно говорило во сне
Закованы ангелы в черные цепи
Всё спит — помогите
Не надо, так лучше —
Светлеет усталость
Как утро сквозь души
Рождается жалость

* * *

Никто никуда не уходит
Все остаются на своих звездах
Все уносятся в пропасти
Все забывают друг о друге
О как жестоко пространство
О как далёко до теплых
Светлых лучей Плеяды —
Что это за зрелище?
Это картины звездного ада
Так надо
Так рождается жалость

* * *

Тоска лимонного дерева
Уходила к дыму вулкана
Где уснули у фумаролы
Пилигримы иных миров
Мир был высок, спокоен
Устремлен в грядущее время
Еще не достоин
Свободы

* * *

Должно быть в будущей жизни
Мы не будем ни спать, ни плакать
На рассветах не будем ложиться
На закатах прощаться с жизнью
Всё будет ярко
Всё будет тихо
В зданиях будут тысячи лестниц
Миллионы флагов
Будет страшно далеко видно
Но ничто не искупит
И ничто не скроет
Что ты умерла на рассвете
И упала с кровати

* * *

Мне холодно, спокойно газ горит
То баснословное — оно передо мною
Сама с собой победа говорит
И сон ее долит над глубиною
Сама собой победа здесь царит
Как тяжело писать при свете газа
Свинцовою рукою шевелить
Кораблик шел посередине глаза
И море превращалось в сон о море

* * *

Музыка звучала в подземелье
Но откуда? — удивлялся узник
Ведь вокруг глубоко и далёко
Только камень что не видит снов
Он слышал как люди кричали
Как кто-то медленно плакал
То затихая, то вновь принимаясь

И как проснувшись позднею ночью
Говорили во тьме голоса
И так он был во всех башнях
Был близок ко всем подвалам
Он слушал усталый город
Он слушал годы и годы
Опускались железные своды
Он тихо сложил иссохшие руки
И закрыв глаза вспоминал все звуки
Он расскажет их тем
Пред которыми каждый пел

* * *

Солнце сжало в железных руках
Наконец познавшего страх

* * *

Трубы, трубы и трубы
Под землею на дне морей
Глубоко зарыты в горé
Души по трубам скользят
Музыка слышится в них
Иногда трубы выходят в прекрасный сад
Но иным невозможно вернуться назад
Эти трубы идут на солнце
Тихо течет в них свет
В трубах слышны отдаленные звуки иных миров
Шум отдаленных миров
Солнце
Уйти в подземелья труб
— Пять миллионов лет —
Достигнуть созвездий
Выйти из труб на свет

* * *

Волей далеких птиц
Было не приближаться
Ибо они умирают
От приближения к раю
Оставаясь над бездной
Вдали отчизны
Их голос снежный
Кричал нам о лучшей жизни
Но мы звали их к нам
Мы рыдая их призывали
И они опустились к снам
И они перестали быть

* * *

То что всплывало со дна
Было ядом старинного имени
Оно замутняло воду
Кораблей лишало свободы
А вверху был огонь облаков
Яркий свет отдаленных снов
А матросы кричали, матросы кричали
Подымая руки и плакали
И померкло небо — всё стало зимой
На железной цепи повернулось пленное солнце
Призрак по звездам вернулся домой

* * *

Камень сквозь снег проступает
Ночь проступает сквозь день
Медленно день убывает
Темнеет день
Времени нам не хватает
Слишком рано темнеет
И уже ночь
Мы открыли бы страшные тайны
Мы простерли бы души к звукам
Мы коснулись бы черных рук
Страшных дивных последних мук

* * *

Что с Вами стало?
Нет сил подняться
Метель
Боже, как хочется спать
Обнять снеговую постель
И зарыдать
Закрыв глаза
Горы покрытые снегом
Камни сияют льдом —
В снегу от века
В снегу наш дом
Поцелуем же снежные цепи

* * *

За стеной играли флейты — там учились
Было страшно снежно
Поезда в степи остановились
Белоснежный
Тихо, медленно в снегу шурша
Кто идет? — Мировая душа
Дайте выйти мне, дайте пригреться
О, откройте железное сердце!
Но двери закрыты, но люди спят
Для них не стоит ни жить, ни сиять

* * *

Конец небесного дня
Был полон восторга и удивленья
Было видно за тысячу верст —
От горных темных селений
До звезд
Так что же
Так день прошел
Слишком высок для счастья
Слишком далек для жизни
Слава Причастья
Знамя отчизны
Боже, как странно — я вас не вижу
Не слышу что говорю
Страшную дивную музыку слышу
Ведь я в раю
Перехожу в неподвижность

* * *

Солнце, очнись от света
Лето, очнись от счастья
Статуя, отвернись
Вернись к старинной боли
Необъятный ветер безумный
Страшный краткий безумный чумный
Крик земной непрощенной боли
Потому что даже если воскреснет
Солдат с оторванной головой
Всё же навеки, навеки в бездне
Будет звучать разрастаясь
Чуждый чумный безумный крик
И — как черный палец —
Вонзаться в сердце света

* * *

Отдаленная музыка неба
Нам мешала играть на рояле
Отдаление рая играя
Заглушало тоску о Граале
А за дверью стояли ду́хи
И с улыбкой слушали звуки
Они ждали чтоб мы заснули
Чтобы черным пальцем коснуться
Сердца мира

* * *

Небо было привиденьем
Земля была пророчеством
А совесть — далеким звуком,
Далеким отблеском звука
Как долго падает снег
Время молчит закусивши хвост
Я видела снег во сне
В снегу спало время закусивши хвост
И я спала и видела сны
Как тяжки снега
Как долги года
И не будет весны
Потому что так мы постигнем
Свободу

* * *

Тяжелый ангел в подземелье спал
Над ним закрыты сотни ворот
И сняты сотни железных лестниц
И убиты тысячи вестниц
И на сотню дверей налетает снег
И спускаются своды
Железные цепи снятся ему во сне
Ниже и глуше
Мертвые души
Умрем — проснемся
Забудем жизнь

* * *

Никто не знает когда
Разрывается цепь минут
Когда можно будет уснуть навсегда
Навсегда уснуть —
Глубоко в земле
Сложив прекрасные руки
Забыв ужасные звуки
Навсегда улыбаясь
Каменным ртом
Рукой касаясь
Звезд...

* * *

Улицы зажгли свои огни
Дождь идет блестящими волнами
Воротник подняли бедняки
Улицы покрыты облаками
Тише, холодно — мы в бездне, мы одни
Мы с вами
За железом решеток
За камнем подвалов
За безысходными толщами стен
Лежит золотая труба
Христос сидит на стуле
Он спит
С золотою трубою в руках
Христос проснется

* * *

Улицы мокры, огни зажглись в тумане
Дождь идет
Мы идем с Евангелием в кармане
Мы идем вперед
Знаем:
В подземелье
Внизу глубоко
Христос на стуле
Он держит в руках весы спокойности
Весы покачнутся —
Христос проснется
Поднимет руку
Мы вспомним всё

* * *

Ночь стояла на белой дороге
Направляясь к огромному городу
Там высокие окна ждали
А вдали погасали дали
Слишком много кричали трубы
Мирозданье уже засыпало
Наклоняясь в бездну устало
Почему так скоро темнеет?
Потому что счастье устало

* * *

Никто не мог отрешиться
Повернуться к входящим зорям
Там деревья качались в окнах
Ночь блестела на синих стеклах
Все кричали, все уставали
Прикасались ко лбу рукою
Все с последним сном расставались
Первый поезд шел за рекою
Утро тихо открыло портьеру
Смерть входила в костюме сером
Смерть вошла — уронили карты
Посмотрели в стеклянный шар

* * *

Кто дошел до середины
Может только остановиться
Он не верит в обратный путь
Он мечтает только заснуть
Нет дороги назад во зло
Раскаленные рельсы — добро

* * *

Солнце долго ходило. Устало
Заходило в подвалы кварталов
Засыпает теперь на краю
Осень тихо проснулась в раю
Кто нас помнит? Нас все забыли
Мы другие, мы новые люди
Мы так слабы, болит голова
Еле слышны наши слова
Но быть может мы что-то знаем
Что не знает яркое время —
Почему умирало так страшно
Так безумно хотело жить
Всё так ясно — будем суровы
Мы иные, мы строги и новы
Бережем мы каждое слово
Каждый терний венца Христова
Мы спокойны в тени креста
Светлый крест золотой простой —
Это мир золотой простой
Черный рыцарь висит на нем
Поклонимся ему челом

* * *

Как тяжело катить стеклянный шар:
В нем жизнь прошла наедине с собою.
Осенним ярким солнцем освещен,
Он кажется пустым и золотым.
Горит трава, в кустах издохли змеи,
На красный камень бабочка садится,
Несется поезд, скор на повороте,
Но нет, не может здесь остановиться.
В пещере льется чистая вода.
Глухонемые души слышат звуки.
А выше снег прекрасный навсегда.
Чего ж ты ждешь? Умой больные руки!
Звезда Пилата поцелует их.
Как сон, спокоен лес. Как сон затих.

* * *

Голос в страшном отдалении:
Это не то, это еще не то
И лучше вам возвратиться пока вы не начали жить
Выбегает Пролог в красном трико:
Милостивые государи, карлики и короли
На улице страшно, там падает снег
А здесь так красиво, здесь розы поют
Розы поют:
Нам не страшен и Страшный суд
Мы скоро уснем, для нас весна никогда не увянет
Для нас и день никогда не настанет
Голос:
Отпустите меня на улицу
Другой голос за сценой:
Чувство тайны то что вас покинуло
Ночь, кругом темно
Кто услышит голос в отдаленье?
Чахнут лампы в страшном замедленье
Руки падают в окно

Пролог танцует и поет:
На лучистые пиры
Вышли из морей миры
Полны розовым вином
Мы заснули мертвым сном
Будет всё опять прекрасно
Будет небо страшно ясно
Но сгоревшая звезда
Не вернется никогда
Розы танцуют под рев неземных граммофонов.
Высокий голос за сценой:
Солнце Озирис, солнце Озирис, где ты?!
Голос из бездны:
Здесь, у меня, но он не вернется к тебе
Он видит сладкие сны
Но он не вернется к тебе
Тихо звонит колокол. Сцена изображает город. Лестницы, ступени, колонны, а налево — маленький домик с соломенной крышей. У входа сидит хромой Эпиктет. Высоко направо, на высоких этажах храма, висячий сад.
Молчание. С крыши храма поют садовники:
Мы растили здесь черные розы
Но снег пошел
Голос за сценой, голос на сцене:
Но какою ценою, мне слишком больно
Тихо родник продолжает напев драгоценный
Святой, невольный
О как прекрасна природа
Как безобразна свобода
Но если Христос безобразен
Разве можно быть красивыми

* * *

Скольженье белых дней, асфальт и мокрый снег
Орудия стреляют из-за сада
Конина снова поднялась в цене
Лишь фонари играют над осадой
Рембо, вам холодно? Ну ничего, я скоро
Уеду в Африку, смотрите, гаснет газ
Солдаты ссорятся и снег идет на ссоры
Лишь там один не закрывает глаз
И шепчет пушка
Смотрит из окна
Такой зимы давно я не запомню:
Земля внизу тверда и холодна
Темно на лестнице и снег идет из комнат
Рембо молчит и снег летит быстрей
Он нас покинул, Свет, он умирает:
В свои стихи уходит от гостей
Нечистою страницей покрываясь
Конина снова поднялась в цене
А сколько лошадей мы убиваем

* * *

Всё было тихо, голос драгоценный
Спокойно продолжал свою молитву
Родник холодной истине служил
В нем голубое небо отражалось
А в глубине его сияла жалость
Там белый крест отшельник положил
Но дьявол пить хотел и подойти не мог
Он молча плакал жарко умирая
Вдруг крестик всплыл
И вот в ручье он вдаль течет играя
Испил чужой — и в час иссох родник
Но ангел водяной живет в раю

* * *

Молча камень порождает воду
Солнце
Тихо всходит тою же дорогой
Осень смотрит в золотую даль
Родники молчат в глубоких скалах
Может быть уж снег идет у Бога

* * *

На белой поверхности неба
Железные бились деревья
Темнели заставы — в них газ загорался
Больные вставали с постели
Вечерняя смена на низких бульварах
Ела мороженое
Всё было жестоко и жарко
Всё было в поту
Туберкулезные руки липли как потные марки
Хватались за жизнь
Но она безмятежно смотрела в закат на мосту
Сама она уже готова была уступить
И потухнуть над парком

* * *

О. и П.

Когда устает привиденье
Но еще не устало смятенье
Всё качается, всё затихает
Слышен шум ненавистной улицы
Задыхается день в темноте облаков
Ночь как черная жидкость течет из всех переулков
И не надо цепляться за жизнь
Лучше прямо на дно
Отоспаться во тьме от врагов
Утро холодом глянет в окно

* * *

Золото качается на башне
Тихий звон спускается к земле
Там считает годы император
Золото спускается к зиме
Мерно камни падают в фарватер
Геркулес, Ты небо уронил во сне
Солнце гладит косами экватор
Солнце уронило свет к земле
Всё напрасно. Только бы усталость
Наконец связала руки воинам
Только бы пришел палач спокойный
Всё напрасно, всё во тьме осталось
Свет склонился в жалость

* * *

Слишком жарко чтоб жить
Слишком больно чтоб думать
Руки липнут. Зачем?
Слышишь, голос дрожит
Ах как больно и страшно вас слушать
Как высок тот, кто нем
На высокой поверхности снега
Утопая бились кусты
Газ уходил в зеленое небо
Руки долго ломали деревья

* * *

Был в закате колокол стеклянный —
Синий, тонкий опускался под водой
Тихо о железные тарелки
Окровавленные бились стрелки
Страшным голосом газетчик возглашал
Был он черный с белой бородой
Он звонил в свой колокол стеклянный
Уставая быть самим собой
В тишине смеркался гость желанный

* * *

Статуя читает книгу, спит младенец
Соловей вздыхает над болотом
Родники не спят в своих берлогах
Отражают звезды, вертят сферы
Снег идет, раздетые деревья
Как железо медленно стучат
Серый день, какой-то свет на небе —
Кто там ходит в бездне в поздний час?
Холодно, спокойно, нас не знают
Мы укрыты в холодах и в сумерках
Лишь в окнах фонари считают
Не дошли до половины, умерли
В сумерках нам свет целует руки

* * *

Мерно падали ноты из белой стены
Было так хорошо у нее прилечь
И слушать музыки белую речь
Солнце пряталось в небе за краем лазурной стены
Изредка шлепала нота разбитой струны
Это будто мертвый человек отвечал
Гений рояля по-прежнему важно звучал
Был над полем спокойный надорванный голос
Разбитой струны
Солнце пряталось в небе, казалось, так, может быть,
Вечность пройдет подле белой стены и разбитой
Струны
Только путались звуки, звонки за стеной раздавались
Всё спускалось на землю и звуки молчали в пыли

* * *

Тихо книги в башне говорили:
Нас давно никто не раскрывает
Лишь отшельник под слоем пыли
Он всё то же Евангелье читает
Книги говорили на закате:
Спят в нас тайны города былые
И пути небесного огня
Мы же стоим здесь молча как солдаты
Старики на башне неживые
Дремлем в нишах и не видим дня.
Молча слушал маленький отшельник
(Подходил к нему скелет высокий)
Он открыл единственную книгу
И ушел в нее закрыв обложку
Как скелет над корешком ни бился
Не раскрыл он даже и немножко

* * *

Книги говорили: Как мы стары
Мы давно закрыты, мы забыты
Мы стоим в огромных саркофагах
Шепчемся в пыли о прошлых битвах

* * *

Жизнь отражалась в золотом шару
Там вверх ногами счастье проходило
Там был закат и яркий день в миру
Там крест стоял, там жили мы в миру
Зачем закат так ярко умирал
Как будто был в бессмертии уверен
Всё было льдом и каждый дом сгорал
Закат с усталых губ огонь стирал
Он может быть поколебался в вере
Был страшный час — священник догорал
Над ним качались траурные перья

* * *

Опять на востоке
На маленькой фабрике колеса вращались к утру
Электричество жило в чугунной катушке
На низкой плотине вращалась душа октября
Она погружалась в холодную пену потока
Душа поднимала железное знамя востока
Был в фабрике шум безмятежный
Вода погружалась в обман облаков
Был в маленькой нише привязан
Конец металлической цепи
Который терялся в больной синеве облаков
Казалось что только такие есть цепи на свете
Чтоб связывать воду с высоким огнем облаков

* * *

Комнаты пустые полные стекла
Маленькие крыши где растут кусты
Черные плотины где шумело время
Всё же не умея возвратиться к морю
Тихо на закате фабрика стучала
Там колеса пели о замерзшей жизни
Стекла водостоков падали сначала
Им луна сияла, их луна качала
Птицы пели в белом облачном эфире
Годы уходили по канату в полночь
Птицам было жарко в черном эликсире
Солнце возвращалось. День взывал на помощь
Фабрика в раздумье колесом качала

* * *

Руки колесного города
Опускались глубоко в воду
В доме пустом газета поднималась на небо
Там катились шары голубые в песок на свободу
День был всюду где нужно и только над жизнью он не был
В море цветы отдыхали
Им шептали холодные зори
Непонятные людям спокойные песни слова
Они улыбались, они от судьбы отдыхали
Их огромная в ад наклонялась и падала в сон голова

* * *

Тихо воду качала вечность
Колесом шумела плотина
На закате сын человечий
Опускался в сизую тину
Снег готовился на землю пасть
Ветви сосен качались, качались
Снова было как в запертый день
Сон боялся на землю упасть
Незаметно снежинки встречались
Всё еще было только в начале
Всё обратно хотело
Хотело не быть
Плакать без дела
Себя забыть

* * *

Вечность розовых стекол
Казалась нам осужденной
В них вращались колеса далеких часов золотых
Били молоты в башне
Там ковали кресты для влюбленных
Из железа и стали — не было им золотых
Всё что было шумело в реке
Отдалялось за черной плотиной
Солнце спало, как уголь в недрогнувшей девы руке
Солнце было неверным
Оно отдаляется, тише

* * *

Солнце спокойно
Оно умрет
Будет достойно реки возвращенья
Спите в закатах
Время шумит на плотине
Флаги расплаты
Упали в извилины рек

* * *

Падает солнце в холодную воду
Время шумит на плотине
Ласточки рвутся в пространство
Тихо вздыхают болота
Фабрика мерно стучит
Время идет на свободу
Солнце купается в тени
Белый цветок иностранства
Кто-то уронит в болото
В море уйдет на свободу
Поезд несется к иным...

* * *

В холодный день высóко птицы пели
Был в телескопе виден крест на солнце
В огне заката грешники хрипели
Скелет зари тихонько гладил солнце
Огромные больные птицы пели
Был в телескопе виден крест на солнце

* * *

Золотая игла занозы
Коснулась стеклянного сердца
Совесть быстро вращалась в бездне
На мосту у плотины где тина
В страшном желтом закате
Варились в холодном огне
Белые марки расплаты
И больная газета где боль о сегодняшнем дне
В низком доме
Часы на рояле играли
Высокие стекла сияли в осенней истоме
И года умирали
Было трудно реке на плотине
Вернуться к священной весне

* * *

На железной цепи у плотины
Годы пели спокойную песню
Там на маленькой фабрике
Электрический дух возвращался к земле
Колесо водяное шумело спокойную песню
И закаты отблекнув опять возвращались к земле
Нежный голос за сценой шептал.
Затихая, о маленькой жизни:
Он у самого берега рая
Утонул тая в мелкой воде

* * *

Маленькая жизнь играла на рояле
В полумертвой фабрике под стук колес
Тихо в болоте купались часы замирая
И огромные рыбы в маленькой речке
В полутьме закрывали глаза
Сквозь пустую трубу
Было видно холодное небо
Там было столько звезд
Что казалось светло по ночам
Кто-то тем временем молча взбирался на мост
И молчал

* * *

Электричество горит, читают книги
Золотых часов мечты стоят
Странник в бездне подобрав вериги
Медленно танцует. Грезит сад
Всё спокойно на пороге смерти
На плотине время сны читает
Медленно в воде рисунки чертит
Высоко над миром свет летает
Всё молчит в лесу, не спят века
Дождь идет на руки золотые
Смерть кричит во тьме издалека
Но не слышат птицы занятые
Всё темнеет. Смерть издалека

* * *

Всё что будет завтра:
Остров спит на закате
Медленно течет вода в реке
Всё что будет — будет
Всё спешит к расплате
Снег с высот качаясь падает к земле
Разрываются тонкие цепи
С металлическим звуком огромных просторов пустых
Поезд тихо шумит — как спокойно — всё гаснет на свете
Дождь спускается к жизни шумя на листах золотых

* * *

Волны дождя покрывают скелеты деревьев
Дальше — болото, там грезит плотина о жизни
В маленькой фабрике труженик спит белоснежный
Только колеса вращаются сами
Всё близко, всё там — за рекой — далеко бесконечно
Всё вечно
Всё здесь
Всё нигде
Тихий звук
Звук...

* * *

Сон анемоны был темен, был неподвижен.
Что ей снится, быть может себя она видит во сне?
Спящим спокойно, быть может то прошлые жизни
Спали и видели мы эти жизни в себе.
Прошлое так безвозвратно, так тихо, так непрочно.
Как все понятно, как все убаюкано бременем...
Спит анемона, ей снится — все ждет, все непрочно,
Всё возвращается, отяжелевшее временем.
Окна уже запотели, как холодно,
Кажется все достигает покоя.
Кажется все наконец возвращается к Богу.

* * *

Шум приближался, огонь полыхал за туманом.
Что-то мелькало и снова молчали в столовой.
Лег не раздевшись и руки засунул в карманы,
В свежесть подушек ушел отрицатель суровый.

Спит и не думает больше, не хочет, не знает.
Тихо смеркается лампа и вот темнота.
Жизнь в подземелье огромную книгу читает.
Книга сияет и плачет, она высока и пуста.

* * *

Довольно фабрика шумела колесом
Вода устала отражать пространство
Темнеет день осенним сном несом
Так холодно в костюме иностранца
Был ранний час, а так уже темно
В окне всё бело — там туман, болото
Глаза болят, уж поздно всё равно
Ложись, усни, забудь свои заботы
И не смотри так долго в темноту
Ты ждал ее, теперь не надо плакать
Темнеет свет, молчи, не надо плакать
Смотри грустя в святую темноту
Ты труженик, ты плакал, ты сиял
Обманут ты и ты лишен награды
Но разве ты награды этой ждал?
Так пусть — темней, так хорошо, так надо...
Ляг, отдохни, за вечность ты устал
Ты всё простил, ты сам себя оплакал
Что ж, сотвори благословенный знак
Ляг на кровать, закрой сиянья праха
Ты понял наконец кто был твой враг

* * *

Золотые дали. Спит туман
Осень в желтых листьях засыпает
Видно глубоко на дне воды
Исчезают там твои следы
Дни недели быстро исчезают
Как прозрачны камни у откоса
Дальше камни глуше и темней
Падает вода, волна шумит
Колесо большое крутит время
Размывает море след матроса —
Гладкий, нежный, ласковый на вид
Спит песок, всё облачное бремя
Глухо давит царствие теней
Дни давно уж позабыты всеми
Тщетно ждут сошествия теней

* * *

Шум аэростата
Звон осенних трав
Поезд у плотины
Колокол вдали
Тихо, отдаленно
Звуки долетают
Кто ты, иностранец?
Спи, молчи

* * *

Автоматически безумно дух поет
Автоматически безбрежный мир напрасен
Вода блестит, весна летит на лед
Ложись, усни... Твой подвиг был напрасен
Страшись забыть, страшись устать на солнце
Тьма солнечных лучей дымит как сосны
Рука касается луны и чахнет пламя
Таинственно над мраком никнет знамя
В уста змея вползает из луча
Мерцает свет, смеркается свеча
Глядят с земли: пятно растет на солнце
Пятно в тебе родилось от луча

* * *

Белый снег разлуки
Звонкий голос муки
Спи, усни
Всё вертикально
Всё длится касаясь природы
Вечер или утро
Не знаю
Вечер и утро уснули в огнях водопада

* * *

То что меня касалось было на солнце
Солнце было в зиме
Зима была во тьме
Всё что ко мне прикасалось превращалось во ртуть водопада
(Всё было тихо и таяло лето во рту)
Солнце качалось
Время кончалось
Архонт прижимался к земле
Душа мирозданья смеялась во тьме на мосту

* * *

Солнечный год был равен лунному году
Время касалось высокой и чистой судьбы
Время боролось с могуществом черной свободы
Звездные руки ломались в огне синевы
Рок мироздания ждал и холодные руки
Чисто таинственный мир обнимали
Точно стеклянную сферу где плавали лунные духи
Рок мироздания ждал с выраженьем печали
Время железные руки таинственно сжать
Руки хранили большую святую печать

* * *

Так рождается страх. Страх рождается от
Разряжения Света. Сгущенное видит Бога
Ангелы боятся камней
Века боятся дней
Тень колокольни боится упасть на дорогу
Вечно разнеженный рвется к забытому месту
Мука рождает вращение яркой невесты
Сладкое качество обнимает пространство
Горькое качество зажигает звезды
Тише, мой друг. Там века наблюдают за нами
Выше огонь на открытие снится за снами
Тише, мой друг. Сны распадутся
Но ведь и Ты сон

* * *

Рвусь к железным законам
Распадаюсь о лезвия истин
Ничего не останется когда долечу
Ибо нет мне бытия
Но о бытии я сожалею
Смерть на солнце
Рок загоревшимся в бездне

* * *

Тише, горести. Смиряйтесь, звуки снега,
Нам до лучших дней не долететь
Медленно спустился вечер с неба
Тише, муки, духи засыпают
Снится им холодный сон камней
Ничего на свете не бывает
Всё заключено в сиянии огней
Всё так быстро время забывает.

* * *

В сумраке дневной души
Кто-то говорит с самим собой
В комнате темнеет серый день
Может быть и жизнь уже прошла
Только и всего
Тихо на летейских берегах
Еле видно водный волосок
Омывает голубой песок
Только и всего
Тщетно было верить тишине
Тишина осталась тишиной
Высота осталась высотой
Голоса замолкли за стеной

* * *

Берег далек, морская гладь
Ничего нельзя нежного сказать
Соловей кричит
Вечер клонится
Человек молчит
Человек молится
Кто-то помнит всё
И жалеет всех
Всё так слабо здесь
И так близок грех
Помолись и поплачь за всех

* * *

Звезды, розы, облака,
Тихий зов издалека,
Соловьи над грязным прудом —
Всё тебе казалось чудом
Как всё это жить здесь может
Спрашивал огонь прохожий
Не смотри на облака
Там проклятье солнцем пышет
Не смотри на облака
Там проклятье слабым дышит
Не кричи в темноте — в темноте ведь никто не услышит
Отвори балаган
И криви намалеванный рот
Ах, счастлив кто скоро умрет

* * *

Не смотри в небеса
Упадешь в фиолетовый омут
Будешь жить средь живых
Как больной позабывший свой дом
Как звезда на весах
Там с улыбкою гибнут и тонут
Ты же гибнуть привык
Образуйся и спой о другом
Нет мой друг нас огромные звезды сильнее
Что мы вызвали к жизни
Больные волхвы темноты
Всё будет светлее пустее святей и больнее
К священной отчизне
Уже приложившим персты

1928

* * *

Братья, братья, будем плакать вместе
Будемте друг друга целовать
Колесо судьбы кружит на месте
Ничего не скрыть и не понять
Золото блестит в чертоге брачном
Но жених не выйдет — он уснул
И над ним полночный неудачник
Месяц в небо роги протянул
Братья, поцелуйтесь и умрите
Поцелуй и смерть — вся мудрость змия
Скоро час придет и растворится
Дивный голос снежного Орфея
Фея молодая, будь спокойна
Снам не больно, близок час рассвета
Птицы полуночные, не бойтесь —
Тени мы что улетят от света

* * *

Солнце светит, снег блестит не тая
На границе снега ходит фея
В золотых своих лучах блистая
Слышен голос снежного Орфея
Стеклянное время блестит в вышине
Где я? Далёко
Я счастье рока
Усталый, приди ко мне
К снежной руке прикоснись
Покачнутся весы золотые
Ты забудешь прошедшую жизнь
Ты как лед просветлеешь на солнце
Зимы неземной

* * *

Нежные весы
Снежные часы
Солнце светит, снег блестит не тая
На границе снега тихо ходит фея
В золотых лучах своих мечтая
Слышен голос снежного Орфея:
Где я? Далёко
Стеклянное время блестит в вышине
Я счастье рока
Усталый, приди ко мне
К снежным рукам прикоснись
Весы покажутся, весы золотые
Ты забудешь прошедшую жизнь
Ты как лед
Посветлеешь на солнце
Нездешней зимы

* * *

Царь святых привидений и фей
Спит на солнце снежный Орфей
А стеклянное время течет отражаясь
И всё молчит

* * *

Время горит
Счастье молчит
Всё было, было
Как можно жить?
Ты позабыла
О чем тужить

* * *

Соколы тихо летят
Солнце заходит
Темная рябь над рекой
Колокол бьет
Время на пляже проходит
Вечер уж там на свободе
Белое солнце горит
Трубы и шумы в народе
Там Христос нам махает рукой и уходит
В темную рябь над рекой
Солнце заходит
Соколы тихо улетают домой.

* * *

Кто вы там в лодке?
Мы летние духи
Смотрим на флаги
Слушаем синие дни
Смех в отдаленье
Кто-то там в черные тучи
Тихой походкой
Вошел и упал на колени
Море у ног
Он одинок
С белым ликом белее бумаги
Он не сможет сдержать долгожданное счастье
Солнце раскрылось
Живите долго

* * *

Время шумит,
Счастье молчит.
Белое пламя бумаги
Гаснет в ночном саркофаге.
Кто еще знает о счастье,
Скажи скорей.
А небо молчит,
Там время течет до заката,
Падая к белым бортам корабля Гесперид
С надписью странной:
Расплата.
Сумрак сошел долгожданный.
Медленный, странный
Родился страх.

* * *

Не верьте звукам звезды Нуримая
Тише, мы ничего не понимаем
И здесь еще становится темней
От их огней
Закрой глаза — мы их запоминаем
И нам труднее жить
Блестит весна, жара течет с асфальта
Больная зелень смотрит из окон
Тоскуя музыкальный котелок
Бросает сумерки на потолок
Жара лежит богиней на асфальте
И видит сон сквозь шум и запах ног
О Белом море.

* * *

Руки газеты
Рвались на воздух
Шляпы качались
В сфере огней
Звуки и звезды —
Счастье всё это —
Снова встречались
С болью теней
Падали в холод клозета
Лики измученных дней
Улица снова казалась пустой
Лишь фонари
Ждали рассвета
Читая газеты
Дети-цари
В сиянии смерти
В комнатах спали
Теплые органы слабой рукой обнажив

* * *

Не мучайся, читай в пыли газеты
Всё это ложь
Весна в закатах говорит о смерти
И осень тоже
В иных мирах
Всё будет тем же холодом поэтов
Отвергших страх
Опять в пыли и в шуме тонет лето
Живи в слезах

* * *

Комар летает вокруг свечи.
(Н.Т.)

Падаю на солнце
Лечу и гасну
Слабость и счастье
Мгновенный страх
Всё безвозвратно
Всё больно, всё ясно
Всё будет бесплатно
В иных мирах
Горе-злочастье
Мерзлые сласти
Нагие страсти
Не в нашей власти
Молчу, склоняюсь
Живу, меняюсь
Всё будет скоро
Вне наших взоров.

* * *

Пой как умеешь
Не бойся звуков
Всё равно не услышат
Не скроешь муку
И не заметишь
И не забудешь
Светлой не встретишь
Ту не полюбишь
Тише, спокойнее
Жарко над миром
Смерть приближается
Флаги грустят
Будем достойнее
Пыльным эфиром
Смерть приближается
Прячась во взгляд
Этот звук нас погубит
Ну что ж, умрем
Мы звуки *так* любим
Там, в них наш дом
Мы предались гибели звуков

* * *

Ласточки горят, в кафе шумят газеты
В облаках проходят президенты
Спички гаснут, отцветает лето
Дождь шумит над полосатым тентом
Город снова мой.
Сколько лет душа грустит в притоне
Слушая чеканный стук шаров
Бедная душа иных миров
Иди домой.
Нет, я слаба
Я здесь в истоме
Я здесь раба.
Говорите громче, ярче звуки
Я свои рассказываю муки
Падаю на дно пустых зеркал

* * *

Слишком рано на яркие звезды
Горы смотрят и гаснут готовясь к отъезду.
Возвращаются звезды в тела
Раскрываются синие бездны
Там где только что пена цвела.

1928

* * *

Золото покоя
Слабый шум прибоя
Флаг на горизонте
Раскаленный зонтик
Спите, неудачник,
Жизнь прошла у моря
Франтоватый дачник
Провожал ее
Это было всё.

* * *

Умершим легко — они не знают
Не читают писем и газет
Смотрят на таинственную лодку
Отвечают голосам
Умершим сияющим часам
Время яркий подымает флаг
Над темным камнем —
Река лазури
Не надо счастья
Я всё забыл.

* * *

Сумерки речи
Нелепые встречи усталых звуков
Мука железного слова
И всё снова
Солнечный жар бессмысленных духов, цветов
Солнечный пар бесконечных судеб рыбаков
Солнце нисходит
Молчите, братья,
Птица лазури бросается к солнцу в объятья
И всё проходит
Лишь пароходы
Уходят по синему платью.

* * *

В огромной кожаной книге
Танцевали карты во тьме золотистых мечей
Шуты и вороны
Смеялись, пели, простершие сено лучей
Над книгой шумела высокая участь
Тоскуя и мучась
И Гамлет в саду говорил что вертелся на север
Сквозных и бессмысленных слов
О судьбе
И только мне было видно
Как бились в подвале
Огромные руки минут-палачей.

* * *

Мирозданье в бокале алхимика
Порождало кривые и левые ветви
Адама и Еву
Змею неразлучной смерти
Мужчинка и женщинка пели о вечной любви
И опять повторялась
Та странная мука в оркестре
Тот трепет смычков над дыханьем пустыни судьбы
И греха
Вернувшимся в камень не надо и думать
Зачем ты их мучаешь
Не трогайте лиц обнесенных руками
И брошенных в пламя
Огней в ореолах судьбы жениха

* * *

Жарко, судьба на закате
Пыль летит до небес
До иных мироздани
Нам Гамлета кто-то читает —
Как будто фонограф во мраке
И в запертом зданье
Кричит и зовет нас вернуться
К сомнениям звезд
Яркие муки
Мерзкие звуки
Долгие муки
И всё грех
И всё смех
Нам жизни не надо
Над миром смех
Горячие органы ада
Спят в отраженьях луны.

* * *

Луны и солнца звуки золотые
Серебряные муки без ответа
И боли равнодушные нагие
Прошлых звезд танцующих над смертью
Сияние ветвей и пыль цветов
Века из розовых и мертвых тел
И страшный шум необъяснимых слов
Как водопад от неба до земли
Но отвратительно дышать и ждать
Опять судьба поет в своей лазури
Не надо ждать, не надо нас читать
Мы только трупы ирреальной бури
Утопленники голубых ветвей
Пусть нас назад теченье унесет.

* * *

Звуки ночи, усталость —
Так падает ручка из рук
Так падают руки из рук
И сон встает
Так падают взоры в священные звуки разлук
Так гаснут все разговоры
Что делать, мой друг,
Уж скоро хотя и не скоро
Увидимся мы наяву

* * *

Стекло лазури, мания величья,
Философия Шеллинга, газета и шар Гесперид
Всё было странно найти на снегу
Гномы спускались к извилинам
Век, слов, капель, цветов
Немного выше рвали газету
И ангелы ели судьбу
Там Гамлет кричал о закате
И билась Офелия в новом стеклянном гробу
Видимо, не зная философии Шеллинга.

* * *

Встреча в палате больничного запаха с сном о смородине
изумило лицо военных бутылок. Волос опять
танцевал, звезды с собора снимали венцы
газолиновых ламп. Волос опять танцевал,
но смутился и пал на затылок. Каждая лампа
мечтала, потом разошлись по делам. А в подвале
собора машины считали погибшие души. Их рвали
на части с мучительным треском холста — лучи
газодвигателей падали в хаос стеклянных
и каменных башен. Каштаны цвели, купаясь
корнями в моче. Цветы осыпались, и к небу
летели огни лепестков. В подвале шары
возвращались к исходу веков. И близилось утро.

* * *

Стекловидные деревья рассвета
На фабричном дворе
Там Гамлет пускает в ход сложнейшие машины
Которые ударяют колесами
В вершины подводных гор
И тают
Утро равняется себе и соседнему вечеру счастья

* * *

Философия Шеллинга упразднила газету и библию,
и никто не читает ни того, ни другого, ни третьего,
сказал ангел. Другой пустил машину в ход —
и медленно над миром стал появляться Рассвет.
Внизу низшие духи кричали о муке железной
руки, о шарах, о парах умывальника и еще
о многом, левом и правом. Но они затихали, дойдя
до философии Шеллинга, ибо оттуда открывался
вид на газету, стеклянную библию, окаменелую
руку и фотографический снимок, изображающий
кубический камень. Где голубь, смеясь, говорил о
судьбе возвратившихся к звукам первоначальной
машины, они появлялись, и гасли, и, бежа, махали
руками.

* * *

Стекло лазури, мания верблюдов
Соленая печаль орлов, огонь луны
И голова священника на блюде
Все были вы давно нам суждены
Мы только узнаём и вспоминаем:
Да, так бежал ручей из слабых рук
И что-то падало чего нельзя качаясь
Вернуть к исходу и закату мук
Как гири, души опускались к солнцу
Река текла во мраке наизусть
Рука рвала с себя наряд прекрасный
Парад прекрасных звезд не знал отца
Всё это помнит сердце подлеца
Он неумело руку поднимает
К плечу, но у плеча уж нет лица
Как быстро память счастье забывает.

* * *

Синюю воду луны качали бессмертные души
Пламя весны разгоралось в мечетях цветов
Стекло заката, мания лазури
Святое мановение газет

* * *

Звезды читали судьбу по гробам механических птиц
Память вселенной кончалась белой страницей
Медные машины перебивали стеклянные и пели
склонившись в обитель измученных лиц
Подъемные машины спускались ко снам
подземных миров, где балагурили
Погибшие души в сиянии грубых шаров
и машины вертелись назад, цветы повторялись
и к гибели рвались священники павшие в сад
Дьявол у отдушины ада спрашивал Шеллинга о погоде

* * *

Небо арктических цилиндров было наклонено к неземному скольжению морей отражения. (Стихия Мореллы и в солнечном измерении неизмеримая.)
Всё разрешалось у подножия философии Гегеля, где субъективная и объективная логика согласно играли на солнце — но с различных сторон — нисходящие и восходящие гаммы.
Но когда руки их встречались на одной и той же ноте, происходило томительное междуцарствие звуков и одну секунду казалось: плоскости отражения качались и смешивались, и если бы сомнения продолжали быть, вся постройка обратилась бы обратно в хаос.
Уж и так из запасных звуков вырывались черные руки и ноги, высовывались языки и длинные мокрые волосы периодически, как дождь, закрывали горизонт.
Количество рвалось наводнить метрополию сумерками.
Качество, как огненный столб, всё выше и выше ввинчивалось к рождению воды.
Но вот логики просыпались от оцепенения и сферы опять ускоряли свой бег, из бездны вставал розовый юноша исполинского роста в светло-зеленых брюках.
Было скучно.

* * *

Ноги судьбы были сделаны из золота.
Живот — из бледных рассветных освещений.
Грудь — из стекла.
Руки — из стали.
Голова ее была вырезана из прошлогодней газеты, а окули, окули были открыты всем ветрам, и к ним плыли уносимые теченьем воздушные шары, флаги, церковные сооружения и огромные игральные карты египетского происхождения.
Затем окули замыкались, и тысячу лет гром грохотал над землею, в то время как ангелы, выглядывая из окон дирижаблей и публичных домов, многозначительно показывали палец.

И вдруг рождались стихи, всё шумело и плакало
под дождем, и мокли уличные плакаты, и листья
в уличном ручье забывали о преступлении
литературы.

* * *

Стеклянный шар, магический кристалл.
В нем-то и заключен зáмок, окруженный деревьями
и весь в вертикальном направлении, со сложной
системой рвов, яркого песку и флагов.
В сумраке розовых кустов открывается вход
в подземелье, где золото шумит на террасе и сотни
приглашенных любуются великанами и бросают
цветы, которые, вместо того чтобы падать,
медленно поднимаются на воздух, относимый
теченьем.
Ночью все собираются вокруг волшебных фонарей. На
белом экране сперва вверх ногами, потом прямо
открываются гавани, где освещенные закатным
солнцем маленькие люди сидят на обломках
римских колонн у зеленоватой и подозрительной
воды.
Мы восхищаемся их волосами.
Затем всё общество прогуливается между портовыми
сооруженьями и, задумавшись, уже никогда
не возвращается в замок, где тем временем
зажигается электричество, и, пьяное, поет
у раскрытых окон.

* * *

Вечером на дне зáмковых озер зажигаются разноцветные
луны и звезды; чудовищные скалы из папье-маше
под пенье машин освещались зеленым и розовым
диким светом; при непрестанном тиканье
механизмов из воды выходило карнавальное
шествие, показывались медленно флаги, тритоны,
умывальники, Шеллинг и Гегель, медный
геликоптер Спинозы, яблоко Адама, а также
страховые агенты, волшебники, велосипедисты,

единороги и дорогие проститутки — все,
покрытые тонкими рваными листьями мокрых
газет; глубоко под водою разгорается
фейерверк — там, в системе пещер, лесá,
освещенные подводным солнцем, издают
непрестанно пение слепых граммофонов; только
в подвесных парках была ночь — там
останавливались старообразные дирижабли
и лучи и крались лучи слабых бутафорских
прожекторов и уже солнце всходило над
совершенно перестроенным пейзажем, полным
забытых стеклянных скелетов и промокших связок
оберточной бумаги.

* * *

Белое небо. Телеги шумят.
День раскаленный смеркается глухо.
Ласточки низко и быстро летят,
Души измучены летнею мукой.

Тише, мой друг, не суди о грядущем.
Может быть, Бог о судьбе позабыл,
Пылью наполнив священные души.
Смейся: никто никого не любил.

* * *

Шум автомобиля
Белый низкий свод
Вкус тончайшей пыли
Тишина
Летом жизнь священна
Летом счастье бренно
Летом вся вселенная
Насквозь видна
Звезды и кометы
Золотое лето
Слабость отстранение
Похороны пенье
Снежная весна

* * *

Стеклянный бег кристалла
Туманный век моста
Ты поняла, ты стала
У корени креста
Туманится погубный
Болотный дом судьбы
Высокий многотрубный
Собор поет, увы, приди
Сонливость клонит
К чему бороться
Усни
Пади

* * *

Белое небо, день жарок и страшен
Ласточки низко несутся, беда близка
Сердце мертво и безумно
Клонит ко сну, клонит к земле
Но не страшись упасть
Бездна священна
Кто ниже всех
Тот понял грех
Сдайся, молчи
Улыбнись, заплачь
Отстрани лучи
Позабудь свой страх
Ниже и выше
Далече и ближе
К стране восторга

* * *

Золотая пыль дождя и вечер
Вечность книг
Боль, усталость сердца, писем скуку
Ты уже постиг
Что ж, умри, забудь дела и горе
В золотой пыли дождей укройся
Или вновь живи не отвращаясь
Умирая думая не бойся
Всё равно ты скажешь всё что сможешь
Даже слишком много
Ведь достаточно чтоб пыль миров иных
Потемнев упала на дорогу
Тех кто их не поймут
Только раздражает это пенье
Им скучно и они твердят:
Ну хоть бы умер ты

* * *

Мчится вечер, лето на исходе
Пыль летит в закрытые сады
Странно жить на белом пароходе
Отошедшем в пении судьбы
Тихо, голос
Сна настаёт
Ты долго боролась
Склонись на лед
Башня качается
Мир упадет
Уснет, отчается
Проломит лед
Страшно и весело
Гибнуть до вечера
Поблизости вечности
И в неизвестности
Солнце вращается
Летит зима
Всё превращается
И ты сама

* * *

Шар золотой святой пустой
Катится в вечность — вернись, постой
Нет, я являю вечную влагу
Пишу и стираю снова бумагу
В лучах свечи
Смейся, молчи
Ты знаешь много
И Богу страшен
Как тень дорогам
Огромных башен
Ты знаешь всё
Тайну храни
Никто не сможет ее убить
Забыть пустое ее лицо
Сомкнись, усни —
Тем только счастье
Кто призрак сам

* * *

Призрак родился, призрак умрет
Остановится и лед разобьет
Это причуды
Зачем вам знать
Солнце Иуды
Зачем вставать
Истина, скройся
Не в силах вынести
Тихо закройтесь
Глаза пустыни
Зачем тревожишь
Сирени сон
Понять не сможет
Иуду он
Иуду чуда
Звездного блуда
Предательство вечного
Каждого встречного

* * *

Солнце не знает
Оно молчит
Вечно сияет
Вечно спешит
Если б оно рассказало
Девушка б наземь упала
Прокляло чудо
Солнца-Иуды
Дети, молчите
Вам знать не надо
Шутите, живите
И бойтесь ада

* * *

Только бы всё позабыть
И не надо счастливым быть
Только бы всё простить
Солнце летит золотое
Рано рассвет над рекою
Смотрится в небо пустое
Очи, товарищ, закрой
Ночь ведь уже пролетела
Сказанных слов не собрать
Грязное потное тело
Жалобно просится спать
Вымойся чисто под краном
Выпей стакан молока
Смирись и ляг
Лодка с товарищем странным
Близится, плещет река
На черный пляж

* * *

Слабость сильных — это откровенье
О нездешней родине лучей
Тихо сходят приглушая пенье
Дети океанских трубачей
Превращаясь в лед
Из года в год
Каменное сердце
Каменные звуки
Стук молитв
Скрежет словесных битв
И всё хохочет
И всё грохочет
И всё погибнуть, погибнуть хочет

* * *

Глубокое время текло до заката
Ночью пруды наполнялись очами судьбы
Желтея равнина впивала косую расплату
За летнее счастье и реки ложились в гробы
Высокие птицы во тьме родников отражались
Согретые мхи размышляли упав с высоты
Над золотом леса прозрачные волны рождались
Высокой истомы и ясной осенней мольбы
И так до заката не трогались с места сиянья
Нам, листьям, казалось мы долго еще подождем
И капало тихо хрустальной струей мирозданье
В таинственной памяти чистый святой водоем

* * *

Голубым озерам на вершине
Неизвестно о жизни в долине
Отразив огнецветную ночь
Никому не умеют помочь
Зацепившись за сумрачный гребень
Вечно озеро мыслит о небе
Молча смотрится в воду камыш
И отшельник, согбенный как мышь,
Я весь день говорю с облаками
Целый день золотой пустой

* * *

В лесу был шум спадающих одежд
Священная душа в больной воде
Вся обнаженная в росе купалась осень
Вся отраженная смежала тихо очи
В лесу был шум немыслимый в воде
Душа была в лазури и нигде.

* * *

Азбука скучает в словарях
Вечер возвращается в пустыню
Погасал и повергался в прах
Встал туман в оставленных мирах
Улетали в глубину картины
Птицы утомленные до смерти
Мертвого веселья
Головою в тину
К нам на новоселье
Солнце, упади
Счастье, погоди
Подо мной волшебники расселись
С черными руками на груди

* * *

Голос веретён был тонок
Точно лён
Будто в шестерне стонал ребенок
Веретён
Прядало зеркало к нижним ветвям мастериц
Падало в холод потемок
Память о праздничном имени
Каменных лиц
Серое небо
Птицы молчат
Кусочек хлеба
Снесите в ад
Там дьявол голоден среди бриллиантов
Свободы

* * *

Верить или не верить
Но было слышно за дверью —
Говорило солнце с луною
Целовалась осень с весною
Жизнь голосов не измеришь
Пыльным белым часов покрывалом, простынею
Не закроешь зеркала в старом
Темном доме стоящем даром
И река под крылом рыбака
Бесконечно еще глубока
Только мелкое море погубит
Только слабое сердце осудит
Только белое небо забудет
И самую песню о чуде

* * *

Песню о чуде
Забудь, забудь
Христос, к Иуде
Склонись на грудь
Лето проходит
Сумрак дождя
Сон о свободе
А погодя
Песню о чуде
Забудь, забудь
Сдайся Иуде
Иудой будь

* * *

Камень шепнув погрузился
Вон он лежит на песке
Солнечный луч отразился
В мелкой холодной реке
Бедная пышность растений
Клонится к быстрой воде
Облаков яркие тени
Тают смиряясь судьбе
Путник с дощатого моста
Смотрящий в быстрый ручей
Видит в нем годы и звезды
Мир весь пустой и ничей
Голос далекой коровы
Кратко возник и исчез
Поезд железной дорогой
Быстро пронесся сквозь лес
Ах, неужель не довольно
Иль недостаточно больно

* * *

Не плачь, пустынник,
Шумит кустарник
Заря в болоте
Отражена
И поезд серый
Спешит на север
Не в нашей мочи
Его нагнать
Он среди ночи
Будет блуждать
Дойдет, проснется
Поймет, вернется
С моста сорвется
На дно колодца
Ложись, укройся
Прочти газеты
Усни, не бойся
Забудь всё это
Не в нашей мочи
Ему помочь
Рассеять ночи
Мы сами — ночь

* * *

Облака устали пролетать
Берега устали отражать
Те кто на горе устали ждать
Голоса устали понимать
Вечером тише река
Падает в сумрак пруда
Вечером ближе века
Вечером тише всегда
Дол гол до ночи
Еще не сейчас
Друг одинокий
Вспомнит о нас
Звездные очи
Бездна зажглась
Только бы мочи
Еще на час

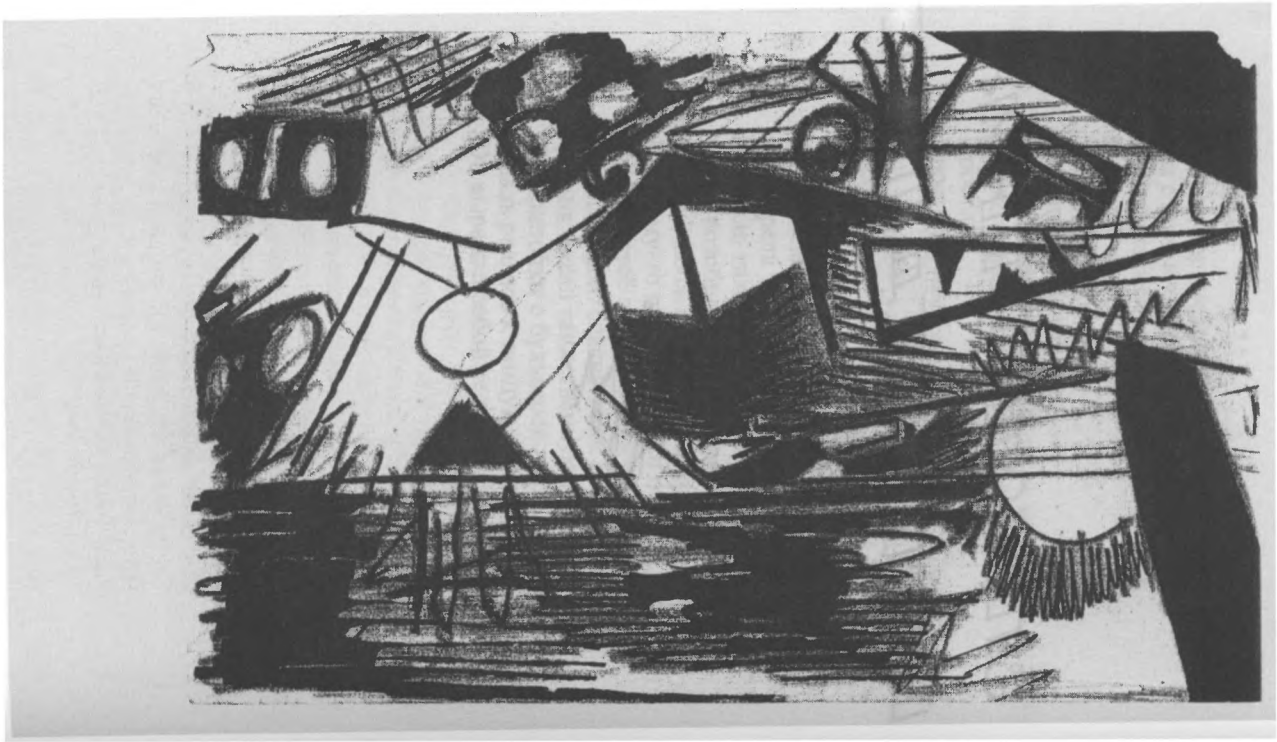
* * *

Кто вы, гордые духи?
Мы с Земли улетевшие звуки
Мы вращаемся в вихре разлуки
И муки
Мы мстим небесам
Нет, отсияйте, забудьте
Поцелуйте усталые руки
Только больше не будьте
Простите
Прости ты сам

* * *

В полдневном небе золото горело,
Уже стрела часов летела в мрак.
Всё было тихо. Только иностранец
Опять возобновил свой странный танец,
Смеясь, таясь и побеждая страх.
К какому-то пределу рвался он,
Где будет всё понятно и ничтожно,
И пел Орфей: сладчайший граммофон.
Старик писал таинственную книгу,
Там ласточки с бульваров рвались в даль,
А даль рвалась к танцующему мигу:
Он выражал собой ее печаль.

Стихотворения, не вошедшие в книги



ПРОСТАЯ ВЕСНА

На бульварах сонного Страстного
Улыбаюсь девушке публичной.
Всё теперь я нахожу приличным,
Всё избитое теперь остро и ново.

О весенний солнечный Кузнецкий,
Над твоей раскрашенной толпою
Я один, насмешливый и детский,
Зло смеюсь теперь моей весною.

Я живу без символов и стиля —
Ежегодный цикл стихов весенних.
Знаю всё — от фар автомобиля
До задач о трубах и бассейнах.

1917

УКЛОН В ДЕКАДЕНТСТВО

Я позвонил к вам по телефону.
Вы знаете, телефон жесток.
Я услышал звуки граммофона:
Не матшишь — какой-то кекуок.
Мой звонок, кажется, звучал долго и громко.
Вы, рассерженная, сказали: «Алло».
Кекуок оборвался звонко —
Следующая пластинка была танго.
Когда мы разговаривали, он рвал мне душу,
Проникал через нее в мозг
Рвал покой, выбрасывал через уши,
Как мягкий воск.

1917, 5 сентября

АЗБУКА
(продолжение)

М Много было совещаний
Едак с марта на Руси —
И от ихних от стараний
Ни солдат нет, ни муки.

О Остров Езев, остров взятый,
Русской базой был морской,
А орудия Кронштадта
Не вступали вовсе в бой.

П Петроград Москву-столицу
За провинцию считал,
А теперь, бежав позорно,
Здесь спасения искал.

С С Терских областей и с Дона
Рать казачью позовем
И диктатором Корнилова
Тотчас ж назовем.

У Украина отделилась
И Россию предала,
Самостийну объявила,
В руки отдалась врага.

Х Хамоправие в России
Утвердилось навсегда,
И спасет ее от смерти
Только власть Каледина.

ГИМН БОЛЬШЕВИКАМ

17–15 июля
Немного патетики
Его величеству П.Шишкову (?)
социал-демократу

Ничего не пожалею,
Буйну голову сложу,
И пойду за ...
Я свой голос положу.

Мы казёночки откроем —
Пей-гуляй, честной народ.
На буржуев и кадетов
Большевик пойдет вперед.

Завтра мы войну закончим,
Мир устроим навсегда
И солдат пораспределим
Грабить церкви и дома.

И во всех дворцовых зданьях
Сделаем рабочий клуб,
А буржуям за дыханье
Таксу в час поставим рубль.

И не надо нам студентов,
И не надобны войска,
Деньги вытащим из банков
И отымем навсегда.

Учредительных собраний
Нам не надо никаких —
Лишь добраться до буржуев,
А тогда-то мы разденем
И прикончим их.

Ювелирные ограбим
Магазины все зараз,
А в милиции — свои же,
Знают каждого из нас.

Агрономов перережем,
Докторов, учителей
И дотла сожжем, разрушим
Все имения князей.

Всех убьем, убив, ограбим
И разрушим всё до дна,
Чтобы камушка на камне
Не стояло никогда.

* * *

Вы смотрели на море, смотрели с улыбкою,
Но в глазах отразились кокаин и тоска.
Он стоял перед вами эластично гибкий,
Он сказал: «Королева», вы ответили: «Да».
И он бросился дерзко, и он бросился смело,
И вас опьянила его красота,
Но в руках его жаждущих
Трепетало лишь хрупкое тело,
Отлетела любовь, красота умерла.
Но когда опьянение прошло возбужденное,
Вы его оттолкнули, сказали: «Иди».
И была это песня любви лебединая.
И вскоре он бросился вниз со скалы.

ПОДРАЖАНИЕ КОРОЛЕВИЧУ

Электрическое солнце, электрическое небо,
Электрические люди, электрическое ауто,
Электрическая кокаинно-изъянная греза,
Звеня электричеством, пьянеет кúнено.
При этом ярком блеске, при блеске электричества
Вы кажетесь фантомом — опалуют глаза,
И лица возбужденные, и дикая косметика,
А довольно лишь атома, чтоб сделать чудеса.
И кружит электричество, глаза фосфоресцируют
Лилово-желтым блеском, как тело мертвеца,
И нервы раздробленные и сердце нивелируют
До уровня падения бешеного дворца.

СТИХИ ПОД ГАШИШЕМ

«Вы купите себе буколику, —
Мне сказал поваренок из рамки, —
Подзовите волшебника к столику,
Не пугайтесь его шарманки.

Закажите ему процессию,
Подберет на хрустящих дудках,

А на хрип, улыбнувшись невесело
О попавших туда незабудках,

Закажите себе буколику,
Оживите постель пастушью,
Рассыпая гашиш по столику,
Поцелуйте ладони удушью».

Харьков, сентябрь 1918

На четвертом этаже,
в каморке пекинца,
на гвозде золотые обезьянки

КАРАВАНЫ ГАШИША

Наталии Поплавской

Караваны гашиша в апартаменты принца
Приведет через сны подрисованный паж.
Здесь, в дыму голубом, хорошо у пекинца,
У него в золотых обезьянах палаш.

За окном горевал непоседливый вечер,
И на башне в лесах говорили часы,
Проходили фантомы, улыбались предтечи
Через дым на свету фонарей полосы.

У лохматого перса ассирийское имя,
Он готовит мне трубку, железный чубук,
Вот в Эдеме, наверно, такая теплыня,
Покрывает эмалью ангел крылышки рук.

Варит опий в углу голубом притонёр,
А под лампой смола, в переплете Бэкон.
Мне Ассис постелил из лоскутьев ковер.
Полоса фонарей через клетки окон.

Харьков, 1918

* * *

О.Асеевой

Вот теперь, когда нет ни гашиша, ни опия,
Я с тоской вспоминаю о дыме мятущемся.
Переулки курилен столицы далекие,
Где бродили предтечи с лорнетом смеющимся.

Там в подвалах, в окно озаренных пожарами,
Я впервые нашел оловянный покой.
Там туманом горят фонари над рекой
За церквами любви и за страсти базарами.

Там служились в домах панихиды Христу
При забитых дверях и потушенных свéчах,
Там, склонившись, просил о страстях человечьих,
Нечувствительным ртом прикасаясь к кресту.

Вот теперь, когда нет ни гашиша, ни опия,
В этой глупой стране голубых бездарей
Я построю кварталы курилен далекие
На свету исступленья глухих фонарей.

* * *

Асе Перской

Вот прошло, навсегда я уехал на юг.
Застучал по пути безучастный вагон.
Там остался в соборе любимый амвон,
Там остался печальный единственный друг.

С кокаином ходили в старинные церкви,
Улыбались икон расписных небеса,
Перед нами огни то горели, то меркли,
Умолкали и пели в хорáх голоса.

Это было в Москве, где большие соборы,
Где в подвалах — курильни гашиша и опия,
В синеве облаков — неоткрытые горы,
А под лампами — осени мокрые хлопья.

У настенных икон ты поставь по свече,
На амвоне моем обо мне говори.
Я уехал на юг, ты осталась в Москве.
Там теперь на бульварах горят фонари.

Харьков, октябрь <1918>

ОДА НА СМЕРТЬ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

Посвящается Его Императорскому Величеству

Потускнели главы византийских церквей,
Непонятная скорбь разошлась до Афин.
Где-то умер бескрылый в тоске серафим,
Не поет по ночам на Руси соловей.

Пронесли через степь клевету мытаря,
А потом разложили гусистый костер.
В истеричном году расстреляли царя,
Расстрелял истеричный бездарный актер.

А теперь не пойдут ко двору ходоки,
Не услышат прощенья и милости слова,
Только в церквах пустых помолятся да снова
Перечтут у настенных икон кондаки.

От Байкальских озер до веселых Афин
Непонятная скорбь разошлась по стране.
Люди, в Бозе бескрылый почил серафим,
И Архангел грядет в наступающем дне.

Харьков, осень 1918

* * *

Чудовской

Дредноуты в кильватерной колонне
Задумали за горизонт уйти,
Я с ними сердце отсылаю в Гаити —
Гортанить пробовать на языке колоний.
А может быть, от моряков в Триесте
Оно сумеет танцевать макао,

Уйдет за океан, забудет об отъезде
И будет спать под пальмами какао.

Кажется, взять человека с улицы,
На моране свезти в Гваделупу, —
Разве не скажет, что небо сутулится,
Испаряя лагуны в громадную лупу?
Не верите? Расплескаться хотелось
Мильонами газелл и триолетов,
Когда гудок заплакал, как Отелло,
И палуба тряслась кабриолетом.

О, если б вы не растеряли взглядов,
Слюну в плевательницах интересных лиц,
Какие плитки голубого шоколада
Готовы каждому на распродаже ниц!
Попробуйте черпнуть оскалами безглазий
Морского солнца одуряющий коньяк.
Пускай по стеньгам юнгой сердце лазает,
То тащится по дну, как многорогий якорь.

Вчера — Новороссийск, подвальная квартира,
Сторожевое щупальце мола́.
Сегодня — скатерть Черномория мала
Вместить Галлиполи, утыканный мортирами.
А лунный камень Мраморного моря
Слепая палуба неслышно расколола,
И, шелесту луны в винтах проворных вторя,
Бренчит на юте кочегаров баркарола.

А когда, нарумяненный сердца закатом,
Через праздники вечера поеду в ночь,
Кровавое небо размажу плакатом:
Человек — это нечто, что должно превозмочь.
Оторвусь от земли, и тогда у приборов
Будут люди шушукаться: планетная система.
А я, лучи причесав на пробор,
Перелезу где-нибудь через горизонта стену.

Салоники—Габсбург, весна 1919

ВОСПОМИНАНИЕ О СЕРДЦЕ

Имажионистическая трагедия

Из пепла осеней томительно печальных
Недорастрелянных недель восходит день.
Уж клики радостей мерещатся причальных:
«Накрашенный, лицо свое раздень».

Еще чеканят пулеметы серебром
И хохотом ритмованны разрывы,
Петляют похоти таинственные взрывы,
Прибив пропеллером Адамово ребро.

Еще приходит бронированная ложь
Стирать с подошв — об радугу — убитых,
Еще с предсердий не стащил калош
Его величество Упитанный,

А сердце к тому ж заорет:
«Дай мне нарвать фонарей букет.
Луна обвалена в сентиментальной муке.
Я им посвящу у ворот
Гладило извилины мозга мозолями».
Веки мои заклололо булавкой, сказав: «Отдохни».
А само заорало назойливо:
«Эй, человек, веки свои распахни!
Эй, обо мне помяните!
Солнце мое закрашено
Кистью судьбы нарочно.
Вы, что за звезды схватились прочно,
Бога за мантию потяните!»

Раз, когда с небом я хрипло ругался,
А оно на тротуаре скучало, забытое,
Женщина его переехала
Толстыми шинами красных губ.

Долго, отрывисто, грубый,
Думавший: «Оно разбито»,
Кто дольше еще смеялся?..

Пьяную морду в солнце тыкало,
А через минуту, размахивая шрамом,
В исступлении «Вернется!» рыкало.
Эй, ремонтируйте храмы!

И пепел осенний томительно печальных
Разбитых фонарей развеяло пучком,
И даже из кухни улыбок с сачком
Скачком
Бросилось клики крошить причальные.

Всё
Чтоб услышать
Краткое:
«Поэт, раздень свой лик».
Поцеловав последний блик
Сердце
раздавил пяткою...

Ростов, 1919 г. Начало августа

ПОЭМА О РЕВОЛЮЦИИ
Кубосимволистический солнцдень

Знаете, сегодня революция,
Сегодня Джек Лондон на улице,
Не время думать о милой Люции,
Когда в облаке копоти
Молнии
Зажглись над Лондоном.
Сегодня, знаете, из зори молотом
Архангелов куют из топота,
Дышать учитесь скорбью зорь,
Позор ночей пойдет на флаги,
Затем что ваш буфетный колокол
Суеты,
Которым мир, кряхтя, накрыли
Государств добродетельные кроты
От резкого ветра морозных ночей, чтоб не протух,
Будет сталью ума расколот
И воздух дней скакнет, шипя,
В <...> богов коровьих.

Метнется к солнцу терпкий дух —
Аж зачихают с кровью
Залпов.
Довольно роз без злых шипов —
Не потому, что вы творцы,
А потому, что из бумаги
Завтра другие маги
В ваши войдут дворцы
На столетий застроенных Альпах,
Наступая старым на крылья,
С тем чтоб плешиветь на плечах сильных —
Не будут медные мешать
Годам возвращаться ссыльным,
Что плаху поцеловать разрешат
Голове.
Знаете, завтра
В барабанной дроби расстрелов
Начнемте новый завет
Пожаром таким,
Чтоб солнце перед ним посерело и тень кинуло.
Знаете, завтра
Снимем с домов стены,
Чтоб на улице было пестрей,
Даром сумеем позавтракать
И нарумяниться за бесценок.
Всюду, в Париже и на Днестре,
Куйте завтра веселее
Ту революцию,
Которая не будет потерянным зовом в тумане столетий,
Которого назвали ругательством
В логики ваших <...>
Темней лестницы жизни.
Довольно, сердце, гимназистку капризную
Рубанком приличий стругать,
Довольно картонную рубашку
Носить в селах,
А под мягкостью пудры душевной
Быть образованным троглодитом,
Ведь каждый из вас проглотил
Кусочек мудрой нови.
Из облака далей жгут
По сердцу прошел полотенцем
Шершавым.

Видите восторженных младенцев
С упрямостью шеи волевой,
С сердцем, не пудренным пеплом,
Из скорби истлевшей?..
. . . . . .
В облаке минушего грохота,
Вы с Заратустрой на козлах
Несете картонного Бога так быстро,
Что с размаха идей отлогих
Слетите с земли выстрелом.
Вам казалось, что вы везете
Золотую карету венчальных будней
К нежному подрядчику грядущего.
Это вы одного Заратустру несете,
От скуки заснувшего.
Вы
Смотрите — разбудите концептора Еговы,
Стрелы тоски в креозоте улыбок
В сердце натыкают гуще,
И архангелы в касках
На тенты туманностей
Из окон небоскреба грядущего столетия
Примут прыжки угорелых душ
В разметавшихся портянках заношенных истерик.
. . . . . .
Пятой шлифованной из облаков
Шагнет из вечности революционный год.
Смотри: у космоса икота
От прущих плеч и кулаков.
Как колесо велосипеда,
На спящий мамонт налетя,
Земли орбиту год победы
В восмерку скрутит колотя.
Тогда с седла одноколяски
Сорвется гонщик, проиграв,
И затанцует в небе блеском
Тяжелый шар с кувалдой прав.
. . . . . .

Константинополь, апрель 1919 г. —
Новороссийск, январь 1920 г.

МОИ СТИХИ О ВОДОСВЯТИИ

М. Волошину

Вот сегодня я вспомнил, что завтра Крещенье,
Но меня надоедливо душат сомненья.
Здесь, где кресточек опустят в поток,
Неужели в сугробах устроят каток,
Неужели, как прежде, как в дивную старь,
Пронесут золоченый огромный фонарь —
И несчетных церквей восковая дань
Осветит на руках дьяконов Иордань?
А тогда-то над войском святого царя
Пролетят огневые слова тропаря.
А когда в топорами прорубленный крест
Патриарх в облаченье опустит крест,
Понесут по домам кувшины с водой,
От мороза покрытые тонкой слюдой,
Понесут вот не те ли, кто в церкви святой?
В медальоне Антихриста голову вставили,
А над ней херувимов лампаду вставили
И штыком начирикали: «Здесь
Служите молебны мне».

О БОЛЬШЕВИКАХ

А неба совсем не видно,
Совсем, совсем, совсем.
Сейчас никому не обидно,
А будет обидно всем.

В очарованном свете прожектора
Загораются лица и платья.
Конечно, не нужно корректора,
Поэта двуспальной кровати.

Но серые тучи насилия
На небо ползут городов.
Самые горем сильные
Будут средь первых рядов.

Вы забыли, а то и не знали,
Что где-то небо есть.
Вы не думаете: это месть.
А просто вы сказали:
«Мы живем на громадном вокзале».
. . . . . .
Вы сволочь и есть.

1920, ноябрь 17

* * *

Я вам пишу из голубого Симферополя,
Потому что теперь никогда не увижу.
Осыпаются листья картонных тополей
На аллеях сознанья изорванных книжек.

Когда на фоне дребезжащей темноты
Зажгутся полисы бессмысленных видений,
Галлюцинации разинутые рты
Заулыбаются на каждом блике тени.

Всех найдете на осеннем тротуаре,
Только больше с каждым лишним годом
Глаза колодные мечтой о самоваре,
[С] в нем опрокинутом дешевеньким комодом.

ВЕЧЕРНИЙ БЛАГОВЕСТ

Стихи на молу

Вечерний благовест рассеянно услышал,
Вздохнул о том, что новый день прошел,
Что Бог усталый утром с лампой вышел
И снова вечером, обидевшись, ушел.

Ну, написал бездарную буколику
О голубых фарфоровых пастушках
И столик заколдованного кролика
Пером лазурным набелил на облаках.

Мне хочется простого как мычанья,
И надоело мне метаться, исступленному,
От инея свинцового молчанья
К уайльдовской истерике влюбленности.
. . . . . .
Вечерний благовест замолкнул недовольно,
Апостол Страсти надоедливый прошел,
И так я радуюсь, печально и невольно,
Что с лампой Бог, обидевшись, ушел.

* * *

И снова осенью тоскую о столице,
Где <...> над иконами горят,
Где проходили привидений вереницы,
Где повторялись в исступленье небылицы,
Где торговали кокаином доктора
<...> сырости глухого ноября
Там [нам?] пригасит огни,
Мозаикой его мучительно объят.
. . . . . .
Тоскуя о брошенной столице,
О дымных лавочках зеленого гашиша,
Где повторялись в исступленье небылицы,
Где проходили привидений вереницы,
А в октябре изрешетило крыши,
Пожары белых [нрзб.] в тумане
Упали бликами от выключенной <...>
. . . . . .
А с сердцем переулки <...>

ГЕРБЕРТУ УЭЛЛСУ

1

Небо уже отвалилось местами,
Свесились клочья райских долин.
Радости сыпались, опрокидывая здание.
Громы горами ложились вдали.

Стоны сливались с тяжелыми тучами.
Зори улыбку отняли у нови,
А мы все безумней кричали: «Отучим мы
Сердце купаться в запутанном слове!»

Крик потонул наш в конвульсиях площадей,
Которые в реве исчезли сами.
Взрывов тяжелых огромные лошади
Протащили с безумьем на лезвиях аэросани.

В саване копоти ангелов домики
Бились в истерике, в тучах путаясь,
А Бог, теряя законов томики,
Перебрался куда-то, в созвездие кутаясь.

А мы, на ступенях столетий столпившись,
Рупором вставили трубы фабричные
И выдули медные грохотов бивни
В спину бегущей библейской опричнине:

— Мы будем швыряться веками картонными!
Мы Бога отыщем в рефлектор идей!
По тучам проложим дороги понтонные
И к Солнцу свезем на моторе людей!

2

Я сегодня думал о прошедшем.
И казалось, что нет исхода,
Что становится Бог сумасшедшим
С каждым аэробусом и теплоходом.

Только вино примелькается —
Будете искать нового,
Истерически новому каяться
В блестках безумья багрового.

Своего Уливи убили,
Ну, так другой разрушит,
Если в сердце ему не забили
Грохот картонных игрушек.

Строительной горести истерика...
Исчезновение в лесах кукушек...
Так знайте ж: теперь в Америке
Больше не строят пушек.

Я сегодня думал о прошедшем,
Но его потускнело сияние...
Ну так что ж, для нас, сумасшедших,
Из книжек Уэллса вылезут новые марсияне.

* * *

Я надену схиму и пойду к могиле
Через четкость шага, через мерность лет.
На веселой Волге, в таежном Тагиле
Только месяц помнить буду след.

Мне монах подарит от руки писанье,
Я у келий буду есть похлебку бедных,
Буду знать бездолье дней — монеток медных —
И читать сквозь стекла от Луки посланье.

Мазаная нитка из орехов горных
Мне заменит четок дорогой янтарь.
Буду звать безумных к боголепью горних,
Говорить о духе, ласковый и старый.

Я надену схиму на кожан убогий,
И сотрут недели краску с глаз моих.
Ведь и так довольно горожан у Бога,
Чтоб не слышал скорбный слов хмельных.

К образам веселья встанет безучастье,
В суетье не будет замечательного меня.
Сколько было счастья — столько и несчастья,
Впереди туманы вечера и дня.

Я надену схиму и пойду, шатаясь,
По дорогам грязным избяной Руси.
Не давай руки мне целовать, прощаясь,
Образ мой печальный в сердце не носи.

* * *

О. Гарденинoй

Сегодня я пою прошедшую веселость,
Архипелаг надежд у горизонта лет
И неба синий зонт, что нес июль-атлет
Лазурить солнцем коронованную область.

Сегодня, а потом зубцами батарей
Иззубрю край холмов по чертежу окопов,
И рокот радостный прославит плач и хохот,
Колеса пушек, как колеса лотерей.

Уйду, услышав пулемета барабан,
Качнусь за облако, перешагну за горы,
Обратно из долин снесет клыки укоров
Из леса дальних лет прорвавшийся кабан.

А вам, кричащий люд, перешагнувший полночь,
С лицом, где пулями обколоты румяна,
Пропавший без вести, как выстрел безымянный,
Я в первый раз скажу устало: сволочь.

Вы — те, к кому вернусь делить дырявый полог
Палатки неба под грозою катастроф.
В броне грядущего, смеясь над бурей строф,
Играют в шашки эпидемии и голод.

А вот уже пришли, в окопах мокрых улиц,
Уж флаги пламени — на парапетах крыш,
И скоро будете, лишь взрывы взроют тишь,
Кричать у алтарей, чтоб корабли вернулись.

Когда же за морем грозовый встанет дым,
Столетий яростных гремящая эскадра,
И мы тогда придем с антихристом седым
Святой водой кропить истерик ядра.

Разбитых кораблей усталые колоссы
Проходят горизонт метнуть весне причал.
Благослови, Господь, броневиков колеса
И топот дальних лет, куда иду, крича.

ПЕРА

За столиком кафе накрашенные лица,
Безмолвный смех и шепот ярких губ,
А здесь прощается усталая столица
С кармином вечера у частоколов труб.

Мне нравятся ноябрьские тени,
Огни кафе на мокрой мостовой,
Где, как цветок заокеанского растения,
Качается фонарь в автомобильном вое.

И чьих-то глаз накрашенная наглость,
И чьих-то губ кричащая тоска.
А город стелется, как колоссальный атлас
Рекламных грез и завитринных сказок.

Я прилетел из бешеной страны,
Где на бульварах пушечный лафет,
Но в лике улицы я вижу те же сны,
И фонари, как виселицы, у кафе.

В теснине улицы расслышан мною бег
Волны беспамятства, что тяготеет к наводненью,
А на углах грузовика виденье
Кричит, как раненый человек.

За столиком накрашенная челядь —
Меня в картузике толкают, как пророка.
Гляжу на встречного скривившуюся челюсть —
И треск грузовиков, как пулеметный рог.

И будут здесь, как в брошенных столицах,
Не внемля шепоту им непонятных строф,
До самой двери сумасшедших катастроф
За столиком шептать накрашенные лица.

Принкипо, Принцевы острова

* * *

Арлекин, мы давно не встречались с тобой.
Мне казалось — ты умер далече,
Где под утро печально осекся гобой
И погасли фонарики вечера.

Неужели искать только лучшие встречи?..
Пролетев через синие горы морей,
Ты, быть может, не слышал молитвы предтечи —
Уходящему сердцу кричала: скорей.

С океанов собрались идеи-смерчи,
Их несущийся гул уж расслышан в ночи.
Только витязи выживут бурю.
На лиловом плафоне грозовых небес
Ты кружить запоздал, размалеванный бес,
Очарован безумием дури.

ОКТЯБРЬ

На холодно-бездонном море
Где-то всплыли надежд острова.
И на каменных горах скоро
Расцветут, как джунгли, слова.

Эти земли теперь покрыты
Покрывалом печальных снегов.
На моих островах неоткрытых
Уж возводят дворцы богов.

Этот город, вчера еще чумный,
Провожать меня выйдет, чугунного,
И потонет в дали годов.

Не найдет меня осень другая.
Так приходит, годами шагая,
Весна для души садов.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ
Цикл сонетов

1. Вступительный

Я слышу голоса на перевалах гор,
И в городах, и в шахтах, и на море —
О чем-то гибельном, о голоде, о море,
Чей шаг, через века приблизившийся, скор.

И в них один томительный укор —
Всем тем, что в улицы заплетены узоре,
О неизвестности того, что грянет вскоре,
К чему колосс земли уж протянул багор.

Но, чтобы все в собор небес сошлись
На службу патриарха-катаклизма
Прославить голосом евангелье конца,

Должны народы петь на языке Отца.
О, если для сего — сквозь наше сердце-призму —
Огнем всех языков его лучи зажглись!

2. Мост

Когда проходишь по Галатскому мосту
Над чудесами Золотого Рога,
То сердце ждет за красотой порога
Увидеть воплощенную мечту.

А там, на площади, двуликие растут
Трамвайные часы, и стекла магазинов
Рисуют пиджаки, что исчезают мимо
И чьи глаза сплетаются и ждут.

Но чьи глаза, всё ж ищущие, ищут,
Для тех оборванный и голосящий нищий
Вновь воскресит утерянный Восток.

А крик на улице, излом одежды модной,
А город, вечером забитый и холодный,
Всё тех же грез разоблачит поток.

3. Решетки

Я знаю яркий деревенский Трапезунд,
Анатолийские другие города,
Но ни в каком порту так не ярка вода,
Не полон красок и цветов диапазон

И так мечетей не узорен горизонт,
Как в городе, где прошлые года,
Исчезнувши в иных кварталах навсегда,
На небе выцвели, как благодатный зонт,

От слишком яркого промышленного солнца,
И вот — решеток изумительная бронза
В плетенье четком металлических цветов

Открыла нежности читающего ока
О тех, кто жили здесь красиво и жестоко, —
Тяжелый перелет из времени пластов.

4. Кондитеры

На окнах странный сад из сахарного хлеба —
То белых чашек разрисованы ряды,
А над каймою ассирийской бороды
Глаза у лавочника, как осколки неба.

А вечером над тусклыми огнями
Здесь собирается погаснувшими днями
Не покупающая ничего толпа,
И, сдвинув фески с выпуклого лба,
Хамалы спорят оживленно и серьезно
О том, что радостно, как и о том, что грозно.

А через мост накрашенные лица
Проходят в улицы блестящем карнавале,
А город с криком автовозов веселится
В многоэтажном электрическом провале.

Но презирающему времени полет
Народу сердце предпочтенье отдает.

5. Базар

Кричат охрипло продавцы,
И буйволы проходят в бусах,
На сене тыквы и арбузы
И мыла на лотках дворцы.

Открыты лавочек ларцы —
Заокеанская пшеница,
Консервы, яркие, как Ницца,
И люди, пестрые, как в цирке.

И Турция жива, как прежде,
В смешной промышленной одежде,
Но в волнах уличного гула
Окончилась греза Стамбула.

К иным Богам склонить колени
Пашей исчезло поколенье.

6. Золотой Рог

Бегут, курясь, по Золотому Рогу
Трамваи миньятюрных пароходов,
В лазури удивительной погоды
Чертят узорно маслянистую дорогу.

Старинные суда с лицом, подобным року,
Глядят орудьями из круглых куполов,
А рядом — в лодочке застывший рыболов
И ветхий мост раскинулся широко.

Сегодня пятница. На тысячах магон,
Как маковое, поле красных флагов.
Но всё равно в котлах потух огонь,
И сотни кораблей не бросят в море лагов.

И знают все по сценам новых действий —
По декорациям: уж нет адмиралтейства.

7. Об их ремеслах

Я помню яркие турецкие лавчонки,
Где свой товар гостеприимнейший народ —
На чём заметен труд изысканный и тонкий —
С открытою стеной на площадь продает.

И стружечный узор из-под резца поет,
Когда смычок токарного станка
Прошел над мундштуком, чья выдумка тонка
И где янтарный шар отметил острие.

Я был в аду сталелитейных фабрик
И в мастерских стеклянных бус на Капри —
Поэзии труда разыскивал мечту, —

Но сбруи в бусах и на мраморе рассказы,
Мангалы бедняков, как золотые вазы, —
Вы школа, где народ проходит красоту.

8. Пустыри

Нет ничего символистичней пустырей,
Мощеных улиц, чистых и покатых,
Где в рамах окон даль набросана, богата
Кусками моря и судами батарей.

Я становлюсь спокойней и старей,
Когда на башенках бескрыших минаретов
Слежу, как солнца равнодушная карета
У горизонта движется скорей.

Пороги — пасть заброшенной цистерны,
Фонтаны без воды, садов убогий терний
И мрамора побитый релиеф

Вам говорят, что здесь тоскуют долу.
Цените времени прозрачную гондолу.
Смотрите: будущего беспощаден лев.

9. Кабаки

Рокочущие кабаки
От электричества красок,
От диких лиц и ярких масок
Потусторонни и дики.

Под пианино моряки
Орут бессмысленные песни,
А улица от лунной плесени
Перекосила чердаки.

Еще во сне кривом и гулком,
Хрипя, блюет по переулкам
Осмеянная беднота,

А для меня, для них тоскующем,
О ельнике весной кукующем,
Луны позорна нагота.

10. Баязет

Сейчас здесь сердце умирающей культуры,
Кричат газетчики турецкие газеты,
А там, над фесками щеголеватых турок,
Висят на небе минареты Баязета.

А на краю — поэзия ворот,
Парламент, в небо кампанилой обращенный,
Таинственный дворец за площадью мощеной
Собой являет государственный народ.

Но вот закат. О, это гений Турции,
Балконы башенек, как желтые настурции,
Вплетает в вечера из облаков корону.

Но из окон дворца вдруг ласковое небо
О смерти скажет, обескрышившей нелепо
И чьей рукой здесь каждый камень тронут.

11. Май

Ольге Гарденине

Горят немеркнущим сияньем
Далекие небес окраины.
Нет столько синих рек слияния
Ни в Генуе, ни на Украине.

Землей у Господа украдена
Монета солнечного золота.
Даль кораблями разукрашена,
И небо вечером расколото.

На соловьиной окарине
Играет ночь в тени балкона,
Как странной рыбы плавник синий,
Белеет лунная магона.

И жаль узнать, что здесь покой,
А всё-таки тоска тоской.

12. Галата

Средь праздничных бортов буксиров и причалов
Живет, как луг, зеленая вода,
А солнца ярко-золотая борода
На бирюзе то искрится, то прячется.

Кефали на лотках узорные стада
На складах — и сосны оранжевые доски.
А турок ленточками стружит на суда
Топориком двухсаженные весла.

Торчат, качаясь, из шагающей корзины
Хвост и пила китоподобной рыбы.
А рядом грузовик раскашлялся до хрипа
Среди витрин инструментальных магазинов.

А труд, мое благословляя горе,
Вам говорит для глетчеров и моря:
У тех, кто не прошли дорогами усилья,
Здоровья на душе не развернутся крылья.

13. Таксим

По вечерам над площадью Таксима
Белеют ролики, как птицы на столбах,
И праздной улицы нарядная толпа
Не слышала совсем про пулемет Максима.

А утром будет свод над черепицей синий,
И простоит, звеня, раскрашенный трамвай,
И снова вечера, и снова неба край,
Как на лотках у турок апельсины.

Лишь ночи балахон запутается в крышах
И побелеет в электричестве асфальт;
О рельсы молотков растрескивая альт,
Придут рабочие, как уличные мыши.

Быть может, завтра, только минет сон,
Забьется сердце с пулеметом в унисон.

14. Заключительный

Прощай, февраль, я не дождусь, как летом
Здесь зацветут глицинии мосты,
А я вне города печали и мечты
Останусь, как и был, и у тебя поэтом.

Благодарю тебя, где огневым полетом
Моя весна открылась на панели.
Теперь мою любовь уж не измерить лотом
Девичьих глаз, что в полутьме блестели.

Но твой тяжелый, исступленный образ,
В одеждах горя и с глазами кобры,
Распял мою вчерашнюю любовь.

О, город городов, безумием корящий,
Корабль души тебе дарю горящий, —
Меня, каким я был, ты не увидишь вновь.

МАРСЕЛЬ

И вот они на горизонте,
Промышленные города.
В разводах радужных вода
И пароходов мастодонты.
Земной сутулый человек,
Что в море вынес сушу мола,
Вместил свою мечту тяжелую
У кранов в умной голове.
Они, как марсияне Уэллса,
Руками шарят склада труп,
А в небесах повисли рельсы
Расчесанных о гребень труб.
А ночью загорится газ
И рельсы осветит поток,
Стучит о оси молоток
И красен семафорный глаз.
Но вот налево побежали
Ряды зеленых фонарей,
Колеса выбили хорей,
И дактиль станции смешали.
Тогда, сквозь горы прорывая
Туннели пузом паровоза,
Понесся поезд по откосам
Как исполинская кривая.
Грохочет в выемках из пушек,
На барабанах — по заводам,
Стучит мостами черным водам,
У станций отрывает уши,
Со встречным поездом игриво
Безумный танец отобьет —
И гулкий ящик обовьет
Его удушливая грива.
Из окон мир и дик, и плоск.
Свисток — и поезд на дыбы.
Стучат немые гробы,
Под паром — риполинный лоск.
Я ль воспою тебя аршином
Своей чахоточной души,
Твоих каналов палаши
И теологию Машины.

1921

* * *

Перечисляю буквы я до *ша*
Немногие средь них инициалы
Бесцветны вечера и зори алы
Одна привыкла ты встречать душа

Сколь часто принимала не дыша
Ты взоров жен летящие кинжалы
Но что для тех мучительное жало
Кто смерти не боится бердыша

И ты как прежде нищая горда
Когда мечтаний светлая орда
Уничтожала скудные посевы

Но высохла кровавая бурда
Земля светла под снегом и тверда
Случайных ран давно закрыты зевы

1924

* * *

Копает землю остроносый год
Но червяки среди земли какие
Смотри собрались улицы в поход
Держа ружье как черенок от кия

Смотрю как над рекою страх и млад
Обедают. Смотрю на лошадей
На чайную посуду площадей
Садится вечер как большой солдат

Оно неведомо чрез улицу летит
И перестало. Возвращаюсь к ночи
И целый день белесых бород клочья
Срезает небо и опять растит

1924

* * *

Никогда поэты не поймут
Этих дней, совсем обыкновенных,
Ясности мучительную муть,
Вечности ущербную мгновенность.

Скудость очертания в воде
Роковой и неживой скалы,
Моря след на меловой гряде,
Смерти, исторгающей хвалы.

Возникает этот чадный час,
Как внезапный страх на толстом льду,
Иль как град, что падает, мечась,
Иль как крик и разговор в бреду.

Он родился, он летит впотьмах,
Он в ущербе, он едва вздыхает,
Преет в заколоченных домах,
В ясном небе, как снежинка, тает.

Мягки руки беспросветной ночи.
Сонное пришествие его
Стерегу я, позабыв о прочем,
Ах! с меня довольно и сего.

18.10.1924

ARS POÉTIQUE

(Из книги стихов «Орфей в аду»)

Не в том, чтобы шептать прекрасные стихи,
Не в том, чтобы смешить друзей счастливых,
Не в том, что участью считают моряки,
Ни в сумрачных словах людей болтливых.

Кружится снег — и в этом жизнь и смерть,
Горят часы — и в этом свет и нежность,
Стучат дрова, блаженство, безнадежность,
И снова дно встречает всюду жердь.

Прислушайся к огню в своей печи —
Он будет глухо петь, а ты молчи
О тишине над огненной дугою,
О тысяче железных стен во тьме,

О солнечных словах любви в тюрьме,
О невозможности борьбы с самим собою.

1923–1934

* * *

Парис и Фауст, Менелай, Тезей
И все им современные цари
Тебя не знают. Что ж, и днесь пари!
О, разомкнись, пергамент и музей!

Я поступаю в армию. Смотри.
Вот Троя, вот. И сколько в ней друзей.
Погибнем мы от дружеских связей.
Но Ты, повешенная, над землей пари.

Уж брал Геракл раз несчастный град.
Зачем мы новых возвели оград?
Миг гибели — за десять лет сраженья,

Твои глаза — за всю мою судьбу.
Ведь даже Гёте и Гомер в гробу,
Что жили лишь для Твоего служенья.

* * *

Евгении Петерсон

Не тонущая жизнь ау ау
А храбрая хоть и весьма пустая
Стоит как балерина на балу
И не танцует гневом налитая

Почто мадам театрам нет конца
Кафе анатомический театр

И каждый рад от своего лица
Прошелестеть: «Офелия», «Экватор»!

Но занавес плывет как страшный флаг
И чу в суфлерской будке хлопнул выстрел
Глянь режиссер бежит воздев кулак
Но смерть сквозь трап его хватает быстро

В партере публика бесшумно умерла
И тысяча карет везет останки
Удар и мертвый падает на санки
С ворот скелет двуглавого орла

Стук: черепа катаются по ложам
И сыплется моноклей дождь сплошной
Друзья клянутся мраком, вечной ложью,
Но в полночь им смеется свет дневной

Но неизменно на подмостках в роще
В упорном сумасшествии своем
Кружится танцовщицы призрак тощий
Один скелет потом вдвоем втроем...

Уж падает в кулисы лес картонный
Валятся замки из папье-маше
Из чердаков ползут в дыму драконы
И сто других уродливых вещей

Стреляют пистолеты хлещут шпаги
И пушки деревянные стучат
Актеров душат черти из бумаги
Вся труппа весь театр разгромлен смят

И в бутафорском хаосе над нами
Что из-под кресла в ужасе глядим
Шагает мертвый сторож с орденами
Из трубки выпуская черный дым.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Как девушка на розовом мосту,
Как розовая Ева на посту.

Мы с жадностью живем и умираем;
Мы курим трубки и в трубу дудим,
Невесть какую ересь повторяем.
Я так живу. Смотри, я невредим!

Я цел с отрубленною головою,
И ампутированная тяжела рука.
Перстом железным, вилкою кривою
Мотаю макароны-облака.

Стеклянными глазами, как у мавра,
Смотрю, не щурясь, солнца на кружок.
И в кипяток любви — гляди, дружок! —
Автоматическую ногу ставлю храбро.

Так процветает механический народ,
Так улетает к небесам урод.

Как розовая Ева на посту,
Как девушка на розовом мосту.

Июнь 1925
Париж

A LA MÉMOIRÉ DE CATULLE MENDÈS

Я одевать люблю цилиндры мертвецов,
Их примерять белесые перчатки.
Так принимают сыновья отцов
И Евы зуб на яблоке сетчатки.

На розовый, холеный книжный лист
Кладу изнемогающую руку
И слышу тихий пароходный свист,
Как круговую гибели поруку.

Подходит ночь, как добродушный кот,
Любитель неприличия и лени;
Но вот за ним, убийца на коленях,
Как черный леопард, влачится год.

Коляска выезжает на рассвете,
В ней шелковые дамы «fin de siécle».
Остановите, это смерть в карете!
Взгляните, кто на эти козлы сел!

Она растет, и вот уже полнеба
Обвил, как змей, неотразимый бич,
И все бросаются и торопятся быть
Под желтыми колесами. Кто не был?

Но пусть скачок, пускай еще скачок,
Смотри, с какой невыразимой ленью
Земля вращается, как голубой зрачок
Сентиментального убийцы на коленях.

ПОЭЗИЯ

Китайский вечер безразлично тих.
Он — как стихи: пробормотал и стих.
Он трогает тебя, едва касаясь,
Так путешественника лапой трогал заяц.

Дымится мир, над переулком снова
Она витает, дымная вода,
На мокрых камнях шелково блистает,
Как молоко сбегает навсегда.

Не верю я Тебе, себе, но знаю,
Но вижу, как непрочны я и Ты
И как река сползает ледяная,
Неся с собою души с высоты.

Как бесконечно трогателен вечер,
Когда клубится в нем неяркий стих,
И, как пальто, надетое на плечи,
Тебя покой убийственный настиг.

1925

НОЧЛЕГ

Ах, чаянье живет, но мало веры.
Есть нежность, но немыслима любовь.
Садятся птицы на деревья сквера
И скоро улетают в небо вновь.

Вода реки похожа на морскую,
Душа людей — на ветер или сад,
Но не покроет улиц, негодуя,
И не развеет тучи или град.

Мечты вздымают голову, как парус,
Но море наше — ох как далеко!
Мне умереть? Но если медлит старость,
Живу, во смерть безудержно влеком.

Так, всюду видя на земле препоны,
А в небе стражу, что не побороть,
Я покрываюсь облаков попоной
И спать ложусь, как кобель у ворот.

* * *

Как замутняет воду молоко,
Печаль любви тотчас же изменяет.
Как мы ушли с тобою далеко
От тех часов, когда не изменяют.

Туман растекся в воздухе пустом,
Бессилен гнев, как отсыревший порох,
Мы это море переплыли скоро,
Душа лежит на гравии пластом.

Приехал к великанам Гулливер,
И вот пред ним огромный вечер вырос,
Непобедимый и немой, как сырость,
Печальный, как закрытый на ночь сквер.

И вновь луна, как неживой пастух,
Пасет стада над побежденным миром.
И я иду, судьбой отпущен с миром,
Ее оставив на своем посту.

1925

* * *

Фонарь прохожему мигнул
Как закадычный друг
Но слишком яркий луч лягнул
В лицо ударив вдруг

Упал прохожий как солдат
С стрелой луча в груди
Ее не вытащить назад
Он мертв хоть невредим

Так прикоснулась Ты перстом
Слегка ко лбу зимы
И пал стоящий над постом
Солдат слуга Фомы

Ты невидимо подошла
Как серый снег сухой
И виселицы обняла
Пеньковою рукой

1925

* * *

Садится дева на весы
Свой задний вес узнать желая
И сходит человек в часы
Из вечности то есть из рая

1925

АВИАТОР

От счетоводства пятен много,
Пятнист безмерно счетовод,
Душа же вьется, как минога,
Несется, как водопровод.

Она играет на ковре,
В садах, как на клавиатуре,
Она гуляет на горе,
Не расположена к халтуре,

Иль в слишком синей синеве
Она вздыхает, издыхает,
Проспясь, идет на голове
И с лестницы друзей порхает.

Так жизнь ее слегка трудна,
Слегка прекрасна — и довольно.
Смотри, она идет одна
По крыше — ей легко и больно.

Как вертел, нож-громоотвод
Ее пронзил, она кружится,
Указывая: север вот —
Восток, а нам на юг разжиться.

Бесшумно рукавами бьет
Живой геликоптер-пропеллер.
Качнулся дом на огород
Навстречу к моему веселью.

Я осязаю облака,
Они мокры и непрозрачны,
Как чай, где мало молока,
Как сон иль человек невзрачный.

Но вдруг — хрустальный звон и треск,
Пропеллер лопнул как попало:
В него, летя наперерез,
Земная стрекоза попала.

1925—1926

* * *

навылет на бегу
В.Кемецкий

Закончено отмщение; лови!
Клочки летящие последних дней и ложных
Но белых белых белых,
Белых белых белых; белых! Плеч любви
Не забывают (это невозможно)

Стекает ниц холеный бок лекала
Сползает жизнь наперекор навзрыд
Покрыта мягким белым лунным калом
Она во сне невнятно говорит

Не возвращайтесь и не отвращайтесь
Сколзя по крышам падая слегка
Слегка бодая головой прощайтесь
Как лошадь-муза [нрзб.] старика

В возвращающемся голосе в ответе
Рождется угроза роза «у»
Доподлинно одна на ярком свете
Она несет на лепестках луну

Отравленное молоко несет сиренью
Шикарной ленью полон рот (воды)
Сгибает медленно пловец твои колени
Как белый лист бумаги навсегда.

Париж, 1926

ПОКУШЕНИЕ С НЕГОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Ж.К.

Распускаются розы тумана
Голубые цветы на холме
И как дымы костров Авраама
Всходит фабрик дыханье к зиме

Спит бульвар под оранжевым светом
Розоватое солнце зашло
Сердце зло обожженное летом
Утонувшее счастье нашло

Стынет воздух и медленно меркнет
Уж скользят ветровые ужи
На стене католической церкви
Курят трубки святые мужи

В этот час белый город точеный
Покидает мадонна одна
Слышен голос трубы золоченой
Из мотора где едет она

Сквозь туман молодому Розини
Машет ангел сердец молодых
Подхожу: в голубом лимузине
Вижу даму в мехах голубых

Но прозрачно запели цилиндры
Шины с рокотом взяли разбег
И с мадонной как мертвый Макс Линдер
Полетел молодой человек

А кругом возмущались стихии
И лиловая пери гроза
Низвергала потоки лихие
Мы качались как стрекоза

Сон шофера хлестал по лицу и
Заметал бездорожье небес
(А на месяце синем гарцуя
Отдавал приказания бес)

Зеленели волшебные воды
Где айсберги стоят, короли
Океанские сны пароходы
Все в огнях, погружались вдали

Из воды возникали вулканы
Извергая малиновый дым
Алюминиевые великаны
Дирижабли ложились на льды

Буря звезды носила в тумане
Что звенели как колокол губ
И спешили с кладбищ меломаны
Труп актера и женщины труп

Петухи хохотали из мрака
Голоса утопающих дев
Прокаженные с крыши барака
Ядовитые руки воздев

И мадонна кричала от страха
Но напрасно: мы валимся, мы
Головой ударяем о плаху
О асфальтные стены тюрьмы

Мы в гробах одиночных и точных
Где бесцельно воркует дыханье
Мы в рубашках смирительных ночью
Перестукиваемся стихами

Париж, 1926

ДАДАФОНИЯ

Зеленое синело сон немел
Дымила сонная нога на небосклоне
И по лицу ходил хрустящий мел
Как молоко, что пляшет на колонне

Как набожно жена спала внизу
Вверху сидела в золотом жилете
Пила лозу что бродит по возу
Изнемогала в обществе скелета

Беспомощно но мощно о мощна
Таинственная мышь в стеклянной чашке
Как шахмат неприступная грешна
Сомнительна как опера-ромашка

Журчи чулан освобождай бездумье
Большое полнолунье ублажай
Немотствуй как Данунцио в Фиуме
Ложись и спи на лезвии ножа

Ржа тихо, нежно ржа, прекрасно ржа.

Париж, март 1926

TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

В восхитительном голосе с Марса,
В отвратительном сне наяву
Рассекалась зеленая вакса,
Разносила на пальцах молву.

Первый, первый, первейший из первых —
Тише пела (так шмыгает мышь).
Так летает священная гейша,
Накреняя прозрачный камыш.

Так над озером прыгает птица
Вверх и вниз, не умея присесть,
Так танцует над домом зверинца,
Где пустая гостиная есть.

Издается, фигляру сдается,
Что она под шумок умерла,
Погрузилась в чернила колодца
Раскаленная света игла.

В лед вошла и потухла, оставшись
Черной черточкой вялой строки,
На веленевый полюс упавши,
Где кочуют пингвины-стихи.

1926

* * *

A Paul Fort

В осенний день когда над плоским миром
Родилась желтоносая луна
Встает из гроба русая Эльвира
Дочь мраморной жены и колдуна
Но впрямь Эльвира не узнала мира
Умри умри несчастная Эльвира
И вот по тоненьким вершинам елок
Идет к заставам королева дев
Над нею плачет робкий глас Эола
И леший руки черные воздев
Эльвира в город по вершинам елок
Идет идет не слушая Эола
Эльвира в городе свистят в дыму машины
На шее пери белое боа
И к ней плывут шикарные мужчины
По воздуху и разные слова
Эльвиру жмет пернатое боа
Эльвира слышит разные слова
Эльвира-пери отвернись от мира
Проснись проснись безумная Эльвира
А через год над крышами вокзала
Ревел как белый тигр аэроплан
И в нем Эльвира нежно танцевала
Под граммофон под радио джаз-банд.

1926

ЛЮБОВЬ К ИСПАНЦАМ

Испанцы это вроде марокканцев
Прекраснейшие люди на планете
Они давно носили брюки клешем
Трень-тренькали на саблях в добрый час

На красном солнце пели и лениво
Лениво умирали в тот же вечер
(Пилили горло бритвою шикарной
Еще пилок и голос *ик* да *ик*)

Прекрасно молчаливо и хвастливо
Не зная о законе Альвогардо
Вытягивали в струнку нос залива
Чтобы на нем стоял футбольный мяч

Затягивали бесполезный матч

* * *

Вино и смерть, два ястреба судьбы,
Они летают и терзают вместе.
Но лишена печали и мольбы
И гнева падаль, равнодушна к мести.

Бессмертен труп, но смертна плоть моя.
Они, летящие от сотворенья мира,
Едят его, об этом плачет лира,
Но далее ползет небес змея.

Так над водами, ожидая падали,
Парят они, друзья и ужас муз.
Об этом знают все, кто на дороге падали
И поднимались, но — не поднимусь.

Уж смертный холод обнимает душу,
Она молчит — и ни одной мольбы.
Так преданную прекращенью сушу
Неслышно правят ястребы судьбы.

* * *

Ничего не может быть прелестней
Ресторана за сорок су
Где приветственно нежной песней
Вас встречает хозяин-барсук

Где толкуют бобры и медведи
О политике и о еде
Где начищены ручки из меди
На прилавке и на плите

Где душа утешается супом
Или режет жаркое в сердцах
И где я с видом важным и глупым
Не пытаюсь читать в сердцах

Барсукам подвигаю солонки
И медведям горчицы мед
Меж рекламой старинных мод
И столом где бутылок колонки

Ничего не может быть прелестней
Ресторана за сорок су
Где приветственно нежной песней
Вас встречает хозяин-барсук

* * *

На ярком солнце зажигаю спичку
Гонясь за поездом нахлестываю бричку
На свежем воздухе дурной табак курю
Жестокий ум растерянно люблю

Подписываюсь левою ногою
Сморкаюсь через правое плечо
Вожу с собою истину нагою
Притрагиваюсь там где горячо

И так живу кого не проклиная
В кого не веря ни во что подчас
И часто кажется что не моя иная
Идет фигура с дыней на плечах

И вот приходит в незнакомый дом
И ласково с чужими так толкует
И вот плывет в канаве кверху дном
Иль на карнизе узком вот воркует

Всем говорит совсем наоборот
Но удивления не в силах обороть
Торжественно выходит из ворот
Выводится подчас за шиворот

И целый день таскается с стихами
Как грязный грешник с мелкими грехами

* * *

Я равнодушно вышел и ушел.
Мне было безразлично, я был новый.
Луна во сне садилась на горшок,
Не разнимая свой башлык слоновый.

Разнообразный мир безумно пел,
И было что-то в голосе, в надрыве,
Чего чудак расслышать не успел,
Определить не захотел счастливый.

На черном льду родился красный ландыш.
А кучеру казалось: это кровь.
Он уверял, он пел не без таланта,
Показывая языка морковь.

С прекрасной рожи шествовали сны —
Они кривлялись, пели соловьями,
Смеялись над угрозами весны,
Ругались непонятными словами.

О, уезжайте! о, зачем морозить
Осмысленные глазки северян?!
Шикарным блеском золотой франзоли
Зачем входить голодным в ресторан?

Зачем показывать фигуру, что пальцами
Нам складывает ветер дальних мест?
Зачем шуршать деньгой над подлецами,
Что более всего боятся звезд?

* * *

За углом в пустынном мюзик-холле
На копеечку поставили revue
Ангелы прогуливались в холле
Пропивали молодость свою
Кто-то в сердце барабан ударил
И повисло небо на смычке
На колени пал в променуаре
Сутенер в лиловом сюртуке

Соловьи в оркестре рокотали
Снег огней танцовщиц засыпал
Чьи-то совы в облаках кричали
Кто-то черный в креслах засыпал
Арлекины хлопали в ладоши
Вызывали дьявола на бис
Водолаз слепой одев калоши
Утонул смеясь на дне кулис

* * *

Существующий мир поминутно подвластен печали
Отлетающий дым абсолютно весом и нечист
Несомненно фальшивя в ночи голоса прозвучали
И органом живым управляет мертвец-онанист

Души мрака ко свету летят и сгорают
Но счастливо живут и растут их пустые тела
Ледовитую землю кусаясь скелеты орают
А над книгой лениво заснули глупцы у стола

Возвращение сна прерывает последний порядок
Идиотски сияя и тая в своей наготе
Рай поет отвратительно жалок и гадок
Пританцовывать долу рабы охочи на кресте

И над всеми владыча бубнит обаяние смерти
Голубые глаза расточая на каменный мир
Где в аду ледовитом полярные черти
Созерцают бездумно танцующий в душах эфир

Сон смертельный и сладостный раннего часа
Фиолетовый звук на большой высоте
И смертельный позор неуместно призвавшего гласа
Эти самые души и кажется вечно не те

Абсолютно безвестный бесправный и новый
Не печальный — не бывший в земле никогда
Где скелет под пятой Немезиды слоновой
Раздирает железной сохою года

И лишь голос один зацветает на озере хора
Лик один фиолетово в море звучит
Дева ночи идет по дороге ночного позора
Дева ночи взывает к рассвету но небо молчит

Окруженное сотнею стен золоченых
Миллионом хрустальных сияющих рек
Где от века в святую лазурь заточенный
Спит двойник очарованный царь человек

1927

ПЕСНЯ ПЕРВАЯ

Не угадай гуны она вошла инкогнито
И на лице ее простой ландшафт
Идут на нет и стонут в море вогнутом
Кому спускается ее душа

В кольцо гуны включен залог возврата
И повторение и вздох высоких душ
И пустельги и прочих рата трата
Нога луны горит во сне в аду

Забава жить двуносая загава
Качает мнимо этот маятник
Пружины нет но есть любовь удава
Вращающая огни и дни
Дудами баг багария бугует
Рацитого рацикою стучит гоось
Бооогос Госия богосует
Но ей луна впилась от веку в нос

Косо осмарк пикельный спилит
Доремифа соля сомнинолла
Чаманга мнази погибать соля

ПЕСНЯ ВТОРАЯ

Всего стадий у луны шесть
Надир и зенит
Офелия и перигелия
Правое и левое
Париж и Лондон
Но ты поскýкал скýкики
Но помукай мукики
Но ты покукай кукики
Но ты помракай мракики
Но сракай сракики
Подстава у нее триангулическая
Радиус длиной со срадий
Пуписи отрицают это
Но острогномы смеются над глазом
Глубина ее сто сорок тысяч ног
Водоизмещение ее отрицательное
Широты у нее не наблюдается

ПЕСНЯ ТРЕТЬЯ

Первый ангелас: Мууу тууба промутись к муукам
Второй ангелас который оказывается тем же самым
где-то близко и сонно: Буси бабай дуси дамай самумерсти
не замай
Третий ангелас который оказывается предыдущим громко
и отрывисто как будто его ударили сзади ногой в сезади:
Усни Усни кусти, такомай, шагомай, соууоу пик
Свертилиллиолололосяся
Кружится и танцует на одном месте
первый ангел опять все тише: Мууудрость
Гуна вдруг просыпается и говорит
Non mais merde
И тотчас же все рыбы исчезают

ПЕСНЯ ЧЕТВЕРТАЯ

На луне живут я и моя жена
На луну плюют я и моя жена
Луна не любит ни меня ни моей жены
У попа была луна
Он ее убил
Но увидев что она моя жена
Он ее похоронил
И надпись написал
Здесь останавливаться строго запрещается
а также défense d'afficher свои чувства
Оооочень это пондравилось
Тогда я дал попу по пупу
Толстому по толстой части
и с тех пор
Сетаси молчат
Гунаси молчат
Стихаси звучат
Ангеласи мычат
Во сне

DIONISUS AU PÔLE SUD
Revvue en un acte

A.A.B.

Personnages:

Marie — Solveig — Hélène — Venus —Anne — principe femme dans la nature

Jesus — Dionisus — principe androgyne corrélation du passif et de l'actif

Marie lias «Sophie»-Sephira devenant par réfraction Sophie Achamot âme humaine

Christ non encore né — conscience humaine — ratio

Ange

Voyageurs

et snobs ex.

Розовый крест опускался от звезд,
Сыпались снежные розы окрест.
Путник, не тронь эти странные розы —
Пальцы уколешь шипами мороза.
Милый, не верь ледовитой весне —
Всё это только лишь розовый снег...
В розовом фраке волшебник-Христос
Там собирает букеты из роз.
Вечером выползли толстые раки.
В проруби — призрак в сиреневом фраке.
Утром хихикали красные груди,
Сонно лежали убитые люди.
Чу, по шоссе, точно палец по торе,
Едет за сыном мадонна в моторе!
Как на холсте Одильона Редона,
Скачет в карете красотка мадонна.
Но опускается занавес снега,
Загромождает дорогу телега.
Ангел-шофер, поднимись над дорогой
(Нерасторопны лакеи у Бога).
Но хохотал огнедышащий поезд —
Дева Венера срывает свой пояс,
Шубу снимает Диана во сне,
Ева стремительно сходит на снег.
Дива, опомнись, проснись, обернись —
Умер в хрустальных цепях Адонис.
Он утонул, белозубый охотник,
Плачет отец его, Праведный Плотник.

Но, как спортсмен, как кочующий жид,
Сольвейг-мадонна на лыжах бежит.
Брызжет сиянье на нежную леди,
Анну-Диану боятся медведи;
В разнообразном холодном сиянье
Призрак скользит по стране без названья,
Там, где себя устрашается голос,
Что произносит фамилию «Полюс».
И наконец под горой из стекла
Видит Елена два белых крыла.
Зрит полосатое знамя и звезды
Сквозь неподвижный разреженный воздух,
Дом — воплощение неги и скуки,
Запахи кухни и трубные звуки...
И в полосатой зеркальной стене
Видит она, как в прозрачном вине
Ходят прекрасные дамы и лорды,
Нежны, холодны, прекрасны и горды.
По бесконечным гостиным кочуют,
В розовых платьях бесстрастно танцуют,
И в невозвратном счастливом жужжанье
В радостном небе летят горожане.
И среди них — восхитительный денди
С синим моноклем на шелковой ленте.
Гладко постриженный, в возрасте, в теле,
Здесь Дионис проживает в отеле.
Вышел; прилично приветствовал мать,
Стал дорогую перчатку снимать.
Но не пожались различные руки,
Сольвейг на снег опадает от скуки,
Сольвейг на смерть оседает от смеха,
Лает в ответ ледовитое эхо.
Грудь неестественный смех разрывает,
Сольвейг ослабла, она умирает.
Франт не успел дотянуться до тела.
Тело растаяло. Оно — улетело.

ДНЕВНИК АПОЛЛОНА БЕЗОБРАЗОВА

Посв<ящается> Д. и Н. Татищевым

Кто твой учитель пенья? Тот, кто идет по кругу. Где ты его увидел? На границе вечных снегов. Почему ты его не разбудишь? Потому что он бы умер. Почему ты о нем не плачешь? Потому что он — это я!

* * *

Бесконечность судéб, облака. Всё легко, что касается звуков. Посылает башня лучи. Ты ж молчи, посылаемый в бездну.

Тихо в сердце воздушных шаров. Солнце греет открытые окна. На границе иных миров дирижабль души скользит.

* * *

Кто там со странным флагом? Непомнящий. Кто там упавший навзничь... Неслышащий... Кто там напоминающий зимнее солнце, закутанный в мысли, неизвестный, не нашедший себе примененья; чего он ждет... Обратного поезда... Возвращения.

* * *

Голоса медуз и время, тенистые годы, шум водопада, и руки в земле погребенных статуй, и огромные тени аэростатов — всё забудется, всё позабудет вернуться... Сон... Так падает ручка из рук.

* * *

Как всё это было давно. Как всё минуло, прежде чем мысль появилась сама о себе. Птицы падали в белой одежде, бесконечно прекрасны и страшно покорны судьбе.

* * *

Эти белые льды появились давно. Мы не видели их, что таились средь роз. Это на них пел тот соловей, тот таинственный голос за сценой, за которым покинули жизнь наши лучшие мысли о счастье.

* * *

От высокой жизни березы только листья остались в море. Берега позабыли воду, пароход позабыл природу. Дачи хлопают крыльями крыш. Птица-чайка летит на север. Путешественник там замерз, можно съесть его нежный голос... Руки моря кажутся белыми... Они указывают в воздух.

* * *

Был страшный холод. Трескались деревья. Во ртути сердце перестало биться. Луна стояла на краю деревни, лучом пытаясь отогреть темницы.

Всё было дико, фабрики стояли, трамваи шли, обледенев до мачты. Лишь вдалеке, на страшном расстоянии, вздыхал экспресс у черной водокачки.

Всё было мне знакомо в черном доме. Изобретатели трудились у воронок, и спал одетый, в неземной истоме, в гусарском кителе орленок.

* * *

Дали спали. Без сандалий крался нищий в вечный город. В башнях матери рыдали. Часового жалил холод.

В храмах на ночь запирали отражения планет. Руки жесткие стирали лица дивные монет.

Чу, вдали сверчок грохочет. У подземных берегов, там Христос купался ночью в море, полном рыбаков, и душа легионера, поднимаясь к высотам, миро льющую Венеру видела к Его ногам.

Тихо бронзовые волки смотрят пристально на звезды. В караульном помещенье угли тлеют в камельке. А в огромном отдаленье к Вифлеему втихомолку поднимается на воздух утро в бронзовом венке.

* * *

Знамя рвется в бой. Человек рвется к Богу. Аэростат золотой сам собою нашел дорогу.

Выше — ближе к страшной грозе. Всё легко, что касается музыки. Ничего земного не жаль. Всё равно уходящим в даль. Голоса превращаются в сталь.

* * *

Погасающее солнце было покрыто мухами и водорослями, и бессильные его колесницы не могли уже страшными звуками отогнать полуночных птиц. Всё кончалось вечными муками уже потерявшей надежду зари. Тихо в гробы ложились цари. Они читали газеты. Падала молча рука на бумагу. Ноги звезд уходили в подземную тину. (Кто раздавит лягушку, на небе убьет облако.) Но если бы он знал, как сонливость клонит нестерпимо, он бы сам умер от грусти в осеннем хрусте.

* * *

Кроме того, там была еще идея жизни и идея времени (обе столь ужасные, что о них стоит упоминать) и другие подводные анемоны, окруженные звуками.

Безостановочно скользил водопад зари. Города пели в сиренях сиренами своих сирен заводов, там были ночь и день и страшно красивые игральные карты, чудесно забытые в пыли.

А сзади них стояли колоссы. Золотые колеса вращались за ними. А с моря сияла синева, и медленно расстилалась на песке душ горячая волна присутствия...

Всё, казалось, было безучастно и пусто; но, в сущности, миллионы огромных глаз наполняли воздух. И во всех направлениях руки бросали цветы и лили запах лилий из электрических ваз. Но никто не знал, где кончаются метаморфозы, и все хранили тайну, которую не понимали, а тайна тоже молчала и только иногде смеялась в отдалении протяжным, протяжным и энигматическим голосом, полным слез и решимости, но, может быть, она всё же говорила во сне.

Тогда железо ударялось о камень, колёса поворачивались, и на всех колокольнях мира били часы, и становилось понятным, что всё может быть легко, хотя всё кругом было зрелищем солнечной тяжести...

* * *

На аэродроме побит рекорд. Воздух полон радостью и ложью. Черная улица, грохот взглядов, удары улыбок, опасность.

А в тени колокольни бродяга играет на флейте... Тихо-тихо, еле слышно. Он разгадал крестословицу. Он свободен.

* * *

Медный двигатель Спинозы побивал последние рекорды. Водопады несли цветы и иллюстрированные каталоги, а на башне играла электрическая музыка и пел механический тенор огромного роста.

Кажется, утром шел снег, только все небоскребы были открыты и студенты слушали время в кривые магнитные трубы.

Приблизительно в это время над городом появился лев и перчатка, затем умывальник, алхимик, череп Адама и морская анемона.

Из прошлого подуло сирокко метвых газет и прошлогодних программ.

Нищие качали головами, они кололи алмазы деревянными молотками и презрительно посыпали ими улицы, чтобы время не скользило, а медленно поднималось на обсерваторию и оттуда, с крыши, разом, огромным парашютом, взрывом сотни ракет падало в вечность, унося с собою боль пустых воскресений, дешевизну мороженого и огромные корабельные скрипы граммофонных симфоний.

Конечно, старое было неповторимо. Умывальник был полон кровью Пилата.

Алхимик гордо смеялся над золотом.

Череп Адама и перчатка относились к иным временам.

Что касается морских анемон, то они прекрасно росли и даже изменились в цвете, но трубы их были обращены в грядущие годы и дивный запах их был слышен на расстоянии тысячи лет.

Было отчего нищим прийти в отчяние или к водопаду, но всё же они не решались остановить двигатель или водопад.

И их бесконечно выросшие руки только таяли в воздухе, в синеве, как праздничный фейерверк.

По поводу грандиозного открытия,
Которое всё же было отложено
До будущей жизни...

* * *

Эллипсоидальное море цветов вращалось направо.

Было светло от воздушных шаров, где были заморожены птицы. (Тот, кто долго смотрел в их сторону, заболевал ясновиденьем.) Левая сторона была вертикальна, она вращательно восходила к иным способам существования, может быть, к иным временам.

Красивые медные двигатели, изобретенные Спинозой, издавали повторные волны звуков, тональность коих, замирая, поднималась на баснословную высоту.

Казалось, золотое насекомое неутомимо билось в стекло, за которым была синева, синева, си-не-ва.

А в ней, бесконечно отдаляясь и уменьшаясь, безостановочно восходил маленький человек, освобождаясь от земного притяжения.

Это и был он...

* * *

Араукария пела в Мексике: как далеко, как далеко до цивилизованного мира.

Атлетический пастор молился на границе вечного снега, а кинематографические звезды слушали из-за ширмы и смеялись от жалости.

Огромный муравей стоял за его спиной.

Всё было так же, как и до открытия Америки. На скалистых перевалах бандиты читали Спинозу, развалясь в тени своего ружья.

В болотистых дебрях радиостанции, окутанные змеями, декламировали стихи неизвестного поэта, а трансатлантический летчик решил вообще не возвращаться на землю, он был прав: атмосферические условия этого не дозволяли, ибо на солнце было достаточно облаков и на истине — пятен.

Изнутри, вовне — всё дышало жаром сна, а когда гидроаэроплан начал падать, он так и остался в воздухе со странно поднятой рукой и медленно таял, относимый литературным течением.

К иным временам.

* * *

Спят недели, времена не дышат, будет лето долгие года. Паровоз, что на дороге дремлет, медленно во сне врастает в землю. Превращаясь, падают года... Дышит вселенная. Жизнь глубока. Тихая тленная доля легка... Знамя лазури плывет высоко.

* * *

Душа пуста, часы идут назад. С земли на небо серый снег несется. Огромные смежаются глаза. Неведомо откуда смех берется.

Всё будет так, как хочется зиме. Больная птица крыльями закрылась. Песок в зубах, песок в цветах холодных. Сухие корешки цветов голодных. Всё будет так, как хочется зиме. Душа пуста, часы идут назад. Атлас в томленье нестерпимой лени склоняется на грязные колени.

Как тяжек мир, как тяжело дышать. Как долго ждать.

* * *

Серые цари сели у окна. Смотрят вдаль. Улица блестит, холодный блеск дождя. Медленно сияет газ на сталь.

Серые цари случайно вдруг проснулись, вдруг раскрыли миллионы снов. Было хмуро в комнате, шел дождь в закатах улиц. Не было ни сил, ни денег, ни слов.

Серые цари на землю посмотрели. Удивились тишине. Отвернулись к стенам, постарели. Тенью черною повисли на

стене... А когда зажгли в тумане свет, поняли, что их давно уж нет.

* * *

Колёса всё медленней, всё неохотней вращались... Тяжесть вселенной. Где-то за завесом медленно карты сдавались. Одна за другой пролетали тяжелые доски... Играйте... Ну хоть карты свои посмотрите... Зачем?.. Мы мечтаем о будущих днях... Тихо под снегом, легко под смертью. Спящий бессмертен... Неустрашим.

* * *

Вечный воздух ночей говорит о тебе. Будь спокоен, как ночь. Будь покорен судьбе. В совершенном согласье с полетом камней, с золотым погасаньем дней... Будь спокоен в своей мольбе...

* * *

Беззащитный сон глубины отразился в руках судьбы. Бледно-серою нитью зари привязаны руки царей... Всё готово на небесах... Ждите... тише... он настает, тот внезапный трепет в часах, тот ошибочный странный звон. Ну, крепитесь, он пал... замрите... Сбылся сон ледяной о вас.

* * *

На границе иных миров, на границе иных стихов. При рожденье уже не стихов — облаков иных атмосфер.

Путь совершенно прост. Будь наподобье звезд... Раскаленных, тихих, еле заметных. Отвечай им огнем ответным. Будь молчалив и чудовищно горд. За сияньем пустынь, за пределом снегов книги твои лежат.Там твой призрак, твой знак, твой прекрасный траурный флаг, там чайки кричат о твоих делах.

* * *

Будь огромен и страшен, в золотые цепи закован, как сегодняшний день. Тих и дивен, как дальние годы... Еще не кончился день... Ты не можешь еще уйти на свободу.

* * *

Случалось девушкам играть в законы птиц. Случалось фабрикам работать без рабочих. Лицом в песок, сходило солнце вниз. За сценой кто-то видел все воочию... Пусть кажется смертелен снег бумаги, на нем цветы ползучие лишь спят.

* * *

Над краями розовой шляпы было небо, как чаша Пилата, где все ангелы вымыли руки, истратив на это все звуки... Там над желтым цветком анемоны в синеве возносились балки. Деревянные ныли колеса. Что-то строили там колоссы. Над краями розовой жизни, за железом дорог белесых тихо в поле пели колосья, васильки наклоняли шляпы, а лягушки сосали лапы... Синева была так страшна, что хотелось ужасно спать.

* * *

Города... вывески переулков и костюмированных магазинов. На рынках свирепствует Синняя Борода. В подземелье, где блещут лучи керосина, где машины свистят, в подземельях Мессины, где скелеты рабочих, свои завернув апельсины, ждут года и года... Не откроют ли им, не заплатят ли им.

* * *

Ты спустился под землю. Ты в свинцовой одежде во сне утонул, победитель надежды, весь в звездах... Ты качнулся над миром, как царь, ты спутился ко дну... Кто поднимет свинцовую гору со дна океана. Кто посмеет железную руку к себе потянуть. Так утонет храбрец, и в него, как в бутылку стеклянную, сумрак ночи духовной вольется, затмив вышину.

Над Колоссом Родосским века кораблей проходили, и матросы смотрели в зеленую темную воду. О печаль глубины, тяжесть лучших таинственных жизней, одиночество снежных закатов грядущих миров...

С этим спящим на дне спят грядущие годы и звуки. Спит восток и надежда с своим победителем черным. В башне гордый алхимик роняет огромные руки. Будет ждать воскресенья в своей лаборатории горной...

Солнце, проснись... Встань от сна... Только дыши... Только пиши.

* * *

Отшельник пел под хлороформом. Пред ним вращались стеклянные книги. Он был прикован золотою цепью ко дну Вселенной... Было далеко от жизни, но еще не совсем смерть... Это было предчувствием страшного звука, полусон, сквозь который бредит рассвет... Холод, сонливость, предрассветная мука... А на дне Вселенной качались деревья и дождь проходил в бледно-сером пальто.

* * *

Будь бесстрашен и страшен... Огромен, лишен очертаний... В золотые цепи закован... Тихой флейтой...

КОММЕНТАРИИ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВВИВ — *Поплавский Б.* В венке из воска. — Париж, 1938.
«Дадафония» — *Поплавский Б.* Дадафония: Неизвестные стихотворения 1924–1927 / Сост., подгот. текста, коммент. И.Желваковой и С.Кудрявцева; предисл. Д.Пименова; общ. ред. С.Кудрявцева. — М.: Гилея, 1999.
ДНН-27, I — *Поплавский Б.* Дирижабль неизвестного направления. 1927. Типографские гранки с авторской правкой.
ДНН-27, II — *Поплавский Б.* Дирижабль неизвестного направления. 1927. Верстка неосуществленного издания.
ДНН-65 — *Поплавский Б.* Дирижабль неизвестного направления / Сост. и предисл. Н.Д.Татищева. — Париж, 1965.
«Неизданное» — *Поплавский Б.* Неизданное: Дневники. Статьи. Стихи. Письма / Сост. и коммент. А.Богословского и Е.Менегальдо. — М.: Христианское изд-во, 1996.
НС — *Поплавский Б.* Неизданные стихи / Сост., предисл., коммент. Е.Менегальдо. — М.: Терра — Книжный клуб, 2003.
ПСНС — *Поплавский Б.* Покушение с негодными средствами: Неизвестные стихотворения и письма к И.М.Зданевичу / Сост. и предисл. Р. Гейро. — Москва: Гилея; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1997.
«Флаги» — *Поплавский Б.* Флаги. — Париж: Числа, 1931.

В издании сохранены авторские орфография и пунктуация в тех случаях, где они носят принципиальный для Б.Поплавского характер.

Весной 1998 г. были обнаружены рукописи и черновики, считавшиеся до тех пор утерянными или уничтоженными самим Б.Поплавским: все его юношеские стихи начиная с четырнадцатилетнего возраста, футуристические поэмы, константинопольские сонеты, о которых знали только из дневника 1921 года, всплыл сам дневник; в тоненькой полуистлевшей черной обложке лежал также полный текст «Дирижабля неизвестного направления» 1927 го-

да — это единственный экземпляр сборника, который был набран, сверстан, но так и не вышел в свет, потому что его издатель Сергей Ромов, по словам Поплавского, «ни гроша туда не заплатил»; но что самое поразительное и неожиданное: среди прочих материалов в отдельной папке лежала машинописная копия со следами авторской правки сборника «Автоматические стихи». Нашлись также списки всех стихотворений, собранных в хронологическом порядке. В этой работе, которой Поплавский занимался, по-видимому, в конце 1933 или в 1934 г., ему помогала Дина Татищева (Шрайбман), переписавшая и часть ранних его дневников. Отдельные листы представляли собой эскизы обложек сборников, в разное время подготовленных Поплавским к печати и так и не напечатанных. Уцелел и намеченный автором план издания в шести сборниках его поэтического творчества. Из этого документа видно, что свои юношеские стихи Поплавский печатать не собирался, «первые» же стихи (1922–1924, Берлин–Париж) он собрал в сборник под названием «В венке из воска». За ним следовали «Дирижабль неизвестного направления» и «Дирижабль осатанел», охватывавшие период «русского дадаизма», причем в третий сборник входили все «адские стихи». Стихотворения 1927–1930 гг. составили сборник «Флаги»; в «Дополнении к "Флагам"» были помещены стихотворения, навеянные воспоминаниями о Татьяне Шапиро. После чего следовал «Снежный час», предшествовавший последнему сборнику — «Домой с небес, или Над солнечною музыкой воды». «Автоматические стихи», резко отличающиеся от других стихов манерой письма, поэт подготовил как отдельную (по счету уже седьмую) книгу в 1931 г., посвятив ее Дине и Николаю Татищевым; однако и в последующие годы он не переставал писать «под диктовку бессознательного» — вот почему со временем этот сборник менял свои очертания.

Этими находками исключительной важности мы обязаны Анне Татищевой, вдове Степана Николаевича Татищева: именно она собрала и привела в порядок архив поэта, хранившийся в семье Татищевых. После смерти Поплавского его отец передал все рукописи и бумаги Дине и Николаю Татищевым в полном соответствии с завещанием покойного, просившего «печатать мои стихи только по выбору Д.Шрайбман». С 1960 г. архив находился у Степана Татищева, но, готовя к изданию вышедший в Париже в 1965 г. сборник стихотворений Поплавского «Дирижабль неизвестного направления», Николай Татищев унес к себе десять тетрадей, которые после его смерти перешли к его старшему сыну Борису. На этих рукописях заметна своеобразная правка, которой Н.Татищев подвергал стихи Поплавского, снабжая их названиями, отсутствующими у автора, или заменяя отдельные слова более «звучными» и «удачными». В личном архиве Н.Татищева сохра-

нились и дневник Б.Поплавского 1921 года, и некоторые другие материалы. Степан Татищев, по образованию славист, продолжил дело отца: он подготовил к печати полный текст двух романов Поплавского и поэтический том, куда вошли стихотворения из ранее опубликованных сборников, а также некоторые неизданные стихи, относящиеся к раннему периоду творчества поэта.

В настоящем издании согласно желанию Поплавского его поэтическое наследие представлено в том виде, в каком его хотел представить сам поэт. В разделе «Стихотворения, не вошедшие в книги» нашли место произведения, не включенные Поплавским в списки своих книг.

В ВЕНКЕ ИЗ ВОСКА
Берлин—Париж. 1922–1924

По замыслу Бориса Поплавского в сборник «В венке из воска» должны были войти «первые», т.е. уже не ученические, стихи 1922–1924 гг. — до «начала русского дадаизма». Список, составленный самим поэтом, включает сорок одно название. Их тексты находились в разных папках архива Поплавского, долгие годы хранившегося в Париже в семье Татищевых; часть стихотворений обнаружена в ДНН-27, девять из них опубликованы поэтом во «Флагах», другие позднее включены Н.Д.Татищевым в посмертные сборники Поплавского. В настоящей публикации стихи предстают в том порядке, в каком их желал издать сам автор.

«Как холодны общественные воды...» (с. 53). — Впервые: «Флаги».

«Над бедностью земли расшитое узором...» (с. 53). — Впервые: ВВИВ.

Покушение с негодными средствами (с. 54). — ДНН-27, без заглавия. Посвящение И.Зданевичу приписано рукой Поплавского на первой верстке и сохранено во второй. Впервые опубликовано: «Флаги», с посвящением Зданевичу и датой: 1925.

Вечный жид (Агасфер) — персонаж в европейских сказаниях Нового времени: иудей-ремесленник, мимо дома которого вели на распятие Христа, оттолкнул Иисуса, когда тот попросил позволения отдохнуть у его дома, и за это был осужден на вечное скитание по земле и вечное презрение со стороны людей.

«В зерцале дых еще живет, живет...» (с. 55). — ДНН-27. Впервые опубликовано: ПСНС, без существенных разногласий. В машинописном тексте, обнаруженном Р. Гейро в архиве И.Зданевича, первоначальный вариант ст. 4:

Еще храпит у сена конь уставший.

В «Дадафонии» стихотворение приводится по машинописи с авторской правкой и с датой: 1925. Вот этот вариант:

Дыхание на зеркале живет
Еще гордится конькобежец павший
Еще вода видна сквозь тонкий лед
Еще вздыхает паровоз уставший

Напрасно небо нежное течет
И темный снег сравняться хочет с камнем
Напрасно ливень головы сечет
Ведь не ответит искренно судьба мне

И не протянет дерево к земле
Нагую ветвь и не раздавит скуку
И не раздастся бытия извне
Из сферы счастья писк богатых кукол

Безмолвно годы чалят с высоты
Знакомою дорогой без сомненья
Как корабли большие на ученье
Большой но неприятной высоты

«Стояли мы, как в сажени дрова...» (с. 55). — ДНН-27. Впервые опубликовано: ВВИВ.

В венке из воска (с. 56). — Впервые: «Флаги». Вошло в ДНН-65 под названием «Отступление».

Браславский Александр Яковлевич (псевд. Булкин) — поэт; в 1925 г. — участник Союза молодых поэтов и писателей, с 1928 г. — объединения «Кочевье». Был женат на дочери художника Александра Бенуа. Печатался в «Воле России», «Современных записках», «Числах».

«Я прохожу. Тщеславен я и сир...» (с. 57). — ДНН-27.

Превращение в камень (с. 57). — ДНН-27, без заглавия. Впервые опубликовано: Воля России. 1930. № 3. С. 206; без заглавия. Вошло во «Флаги».

Разночтения (ДНН-27 и журнальная публикация):

3–4	Хватали и влекли сердец власы Ветров ужи, что издали пускались.
9–10	Ты на снегу следы от каблука Проткнула зонтиком, как лезвием кинжала

Неподвижность (с. 58). — ДНН-27, без заглавия. Впервые опубликовано: «Флаги».

Разночтения (ДНН-27):

6 В стеклянну воду смотрит безрассудно

«Над статуей ружье наперевес...» (с. 58). — ДНН-27. Впервые опубликовано: ДНН-65. В этом издании, дав стихотворению заглавие «Вечерняя прогулка», Н.Д.Татищев отредактировал его на свой вкус: вычеркнув последнюю строфу, дополнил двумя отдельными стихотворениями: «Упала молния, зажглась в дыму реклама...» и «Автоматический рояль души...», причем «оба четверостишия — первое в двух вариантах, а второе с датой "1926–1929" — найдены в архиве Н.Татищева» («Дадафония», с. 120). В той части архива, которую лично мне удалось исследовать, также есть варианты обоих четверостиший, по всей вероятности, набросков, что еще раз подтверждает тот факт, что Поплавский не раз переписывал, обдумывал и переделывал свои стихотворные записи. Вот эти две строфы в «татищевском варианте»:

Упала молния, зажглась в дыму реклама,
Безумно закричала чья-то дочь,
Рванулась тень на волю из чулана,
И началась двенадцатая ночь.

Автоматический рояль души
Всегда готов разлиться звуком жестким.
Сановная компания, пляши,
В подземном склепе осыпай известку!

Отвращение (с. 59). — ДНН-27, без заглавия, с разбивкой на четыре строфы. Впервые опубликовано: Воля России. 1928. № 7. С. 32; без заглавия и с разбивкой на строфы. Вошло во «Флаги», без разбивки на строфы и с датой: 1923.

«Вскипает в полдень молоко небес...» (с. 59). — ДНН-25. Впервые опубликовано: Воля России. 1928. № 7. С. 33. Вошло также в ВВИВ.

Разночтения (ДНН-25):

6 Лежать, задравши голову и ноги.
15 Еще сочится со бревна смола...

Разночтения («Воля России»):

15 Еще сочится со бревна смола.

«Я Шиллера читать задумал перед сном...» (с. 60). — ДНН-27, без посвящения. Впервые опубликовано: Воля России. 1928. № 7.

С. 33; с посвящением В.К. Кто скрывается за этими инициалами, установить не удалось.

Аранжуэц (правильно: Аранхуэс) — город неподалеку от Мадрида; там находился королевский замок — одно из мест действия драмы Ф.Шиллера «Дон Карлос».

Карлос, Филипп Второй — действующие лица этой драмы.

Орлы (с. 60). — ДНН-27, без заглавия, с посвящением Евгении Петерсон (а не Петерсен, как ошибочно расшифровал Р. Гейро по рукописи Поплавского; личность, пока не установленная) и датой: 1923. Впервые опубликовано: Воля России. 1929. № 1. С. 26; без заглавия и даты. Вошло во «Флаги», без посвящения.

«Твоя душа, как здание сената...» (с. 61). — ДНН-27. Впервые опубликовано: ВВИВ; с посвящением О.К. (Ольге Коган). Со слов Наталии Столяровой, Ольга Коган «на Монпарнасе пользовалась успехом, ничего общего с Э.Триоле не имела (были слухи, что адресат стихотворения Поплавского «Астральный мир» — Эльза Триоле. — *Е.М.*). Она, кажется, из легких увлечений Поплавского» («Неизданное», с. 75). В завещании Поплавского и в его письмах к Д.Шрайбман (см. т. 3 наст. изд.) упоминается некая Ира Коган, подруга или близкая приятельница Б.Заковича, возможно, родственница или сестра Ольги Коган.

Двоецарствие (с. 62). — ДНН-27, без заглавия и посвящения. Впервые опубликовано: «Флаги». Вошло также в ДНН-65 под заглавием «Черный и белый».

Разночтения (ДНН-27):

1	Сабля смерти шипит во мгле
11	И на двух колесницах везут
16	Две колдуньи, в кого я влюблен.

Разночтения («Флаги»):

7	А от солнечного привидения

(по указаниям Ю.Иваска, у которого хранился экземпляр «Флагов», исправленный Поплавским. Этот вариант совпадает с текстом из ДНН-27).

Рогаля-Левицкий Юрий Сергеевич (1895–1959) — поэт, прозаик, литературный критик.

«Утром город труба разбудила...» (с. 62). — ДНН-27, с датой: 1924. Впервые опубликовано: ВВИВ, с датой: 1923 (Н.Д.Татищев, очевидно, использовал более ранний вариант. У него ст. 9 начинается: «Проезжали обозы...», а у Поплавского всюду: «Грохотали...»).

«Разбухает печалью душа...» (с. 63). — ДНН-27. Впервые опубликовано: ВВИВ.

Разночтения:

1 Распухает печалью душа...

Волшебный фонарь (с. 63). — ДНН-25, без заглавия. Впервые опубликовано: «Флаги».

Волшебный фонарь — одно из первых названий кинопроектора.

«Я так привык не замечать опасность...» (с. 64). — ДНН-27. Публикуется впервые. В рукописи — с посвящением А.Присмановой и указанием: Париж, декабрь 19[?] (нрзб).

В ДНН-27 во второй верстке кем-то внесены исправления (С.Ромовым?). Сохранив авторский вариант, все же приводим эту правку:

1 Я так привык — какая там опасность!
8 Быть может, месяц. Сердцу месяцы лестней.

Присманова Анна Семеновна (1892–1960) — поэт, принадлежащий к младшему эмигрантскому поколению. Жена поэта А.Гингера. Один из организаторов Союза молодых поэтов и писателей, активный участник литературно-общественной жизни эмиграции. Автор поэтических сборников «Тень и тело» (1937), «Близнецы» (1946), «Соль» (1949), поэмы «Вера» (1960). Ей принадлежит стихотворение «Памяти Бориса Поплавского» (1935).

«Неудача за неудачами...» (с. 64). — Впервые: ВВИВ.

«Китайский зонт над золоченой рамой...» (с. 65). — ДНН-27. Публикуется впервые.

Оно (с. 66). — Впервые: Мосты. 1968. № 13/14. С. 175; под заглавием «Оно», без 4-й строфы («Приятно пишет Александр Гингер...») и без трех последних строф. Опубликовано также: «Дадафония», по рукописи 1924 г. с авторской правкой, без заглавия и с двумя лишними строфами — до начала приводимого нами варианта:

Прекрасно сочиняешь Александр
Ты мифы кои красят наши яви
Хоть ведомо бесплоден олеандр
Литературы и в судьбах бесправен

И слов нема как говорит народ
Чтоб передать как люба «Свора верных»
Поваднику безделий суеверных
Которым учишь ты певцов народ

В архиве Поплавского сохранилась и более поздняя машинопись — под тем же заглавием и с авторской правкой. Поплавский

зачеркнул 2-ю строфу («Необорима ласковая порча...»), а также 4-ю и 5-ю и заменил 1-й стих шестой строфы на: «Но вот растет таинственная леность». Поэт посчитал, видимо, это стихотворение незавершенным, т.к. рядом с чистовым вариантом его конца имеется дубль, где рукой Поплавского зачеркнута предпоследняя строфа, последняя — зачеркнута частично, а на полях записаны возможные решения поэтического ребуса, которые нелегко разобрать.

В «Дадафонии» (с. 19) по рукописи с авторской правкой как самостоятельное стихотворение приводится следующий первоначальный вариант конца:

На смутный шум воды нерукотворный
Ответит голос тихий и чужой
Как мимо глаз утопленно проворный
Акулы бег иль киль судна большой

Прекрасный гад блистательная точь
Благословенна неживая ночь [«одурь» в первоначальном варианте]
О Спарта Спарт где короли мечты
Свободы семиверстные [нрзб.]

14.X.1924 (на улице)

Обакула (устар.) — краснобай, балагур, обманщик.

Лал (устар.) — драгоценный камень.

Гингер Александр Самсонович (1897–1965) — поэт. Муж поэтессы Анны Присмановой, друг Поплавского. В Париже жил с 1921 г. Был близок к объединениям «Гатарапак», «Палата поэтов», «Через». Автор пяти стихотворных книг: «Свора верных» (1922), «Преданность» (1925), «Жалоба и торжество» (1939), «Весть» (1957), «Сердце» (1965), Гингер, по мнению такого взыскательного критика, как Г.Адамович, «был подлинным, прирожденным поэтом».

Кемецкий — см. о нем коммент. к стихотворению «Дождь» (сб. «Дирижабль неизвестного направления»).

Божнев Борис Борисович (1898–1969) — один из самых талантливых поэтов «младшего» поколения эмиграции. Входил в литературные объединения «Гатарапак», «Палата поэтов»; по его инициативе было создано объединение «Через». Впоследствии примкнул к литературному объединению «Кочевье». Автор сборников «Русская лирика» (совм. с К.Парчевским, 1920), «Фонтан» (1927) .

Илоты — земледельцы древней Спарты; считались собственностью государства и по своему положению не отличались от рабов.

«Бело напудрив красные глаза...» (с. 67). — Впервые: «Дадафония».

«Как в ветер рвется шляпа с головы...» (с. 67). — Впервые: «Дадафония».

«На выступе юлит дождя игла...» (с. 68). — Печатается впервые — по авторской машинописи.

ДИРИЖАБЛЬ НЕИЗВЕСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Согласно планируемому Поплавским изданию его поэтических книг и в соответствии со списками, им составленными, в настоящее издание «Дирижабля неизвестного направления» вошло большинство стихотворений из ДНН-27 — по словам поэта, «от 1925 до конца 1926 года, русский дада — сюда тоже относится, и "адские поэмы", и часть стихов, написанных в 1929 году». Более ранние стихи из ДНН-27 были включены самим поэтом в предыдущий сборник — «В венке из воска».

Зданевич Илья Михайлович (псевд. Ильязд, Эли Эганбюри; 1894–1975) — график, художник прикладного искусства, прозаик, поэт. Активный пропагандист футуризма, тяготел к поэтике дадаистского абсурда. Выступал как новатор полиграфического дизайна, мастер книжной графики. В 1921 г. уехал из России в Париж. Был дружен с М.Ларионовым и Н.Гончаровой, вместе с ними стал одним из устроителей знаменитых «русских балов» в Париже. Организатор литературной группы «Через» (в которой состоял и Б.Поплавский), секретарь Союза русских художников, Зданевич был и автором многочисленных сборников «заумной» поэзии, а также романа «Возвращение» (1930).

Дождь (с. 71). — ДНН-27, I и II, без заглавия и с посвящением Владимиру Кемецкому. Впервые опубликовано: Воля России. 1930. № 3. С. 207; с датировкой: 1925–1929 и с посвящением Владимиру Свешникову. Вошло во «Флаги»; 3-я и 4-я строфы опубликованы Н.Д.Татищевым как отдельное стихотворение: Возрождение. 1965. № 165. С. 41. В этой публикации вторая строфа выглядит так:

Тебе, дитя, достался жребий счастья,
Я — прокаженный нищий в полумгле.
Отгородясь от твоего участья
Возможно ль побираться на земле?

В варианте 1925 г. стихотворение содержало всего четыре строфы, причем только две первые сохранились в варианте, представ-

ленном во «Флагах». Приводим 3-ю и 4-ю строфы, впоследствии убранные автором:

О воскресенье, незаметный день
Для безработных, нищих и богатых.
Как лошадь в гору шла на небо тень.
Незримо были ею мы объяты.

Кафе, кафе. Возмездия не чая,
Шумело ты, прорвавшись в жизнь и свет.
Но уж безмерно, сердце облегчая,
Гремела смерть посудою в ответ.

Кемецкий (Свешников) Владимир Сергеевич (1902–1938) — поэт, приятель Поплавского, участник группы «Через», целью которой было установление контактов между литераторами и художниками русского авангарда в зарубежье и метрополии. В 1927 г. вернулся в СССР. Вскоре был арестован и сослан на Соловки. В 1938 г. расстрелян.

...как бы Орфей в аду. — Герой древнегреческого мифа Орфей, певец и музыкант, спустившийся в царство мертвых за внезапно умершей женой Эвридикой, сумел покорить своим искусством владыку этого царства Аида, который пообещал ему вернуть Эвридику на землю при условии, что Орфей не станет оглядываться на свою жену по дороге из царства мертвых. Орфей нарушил запрет, и Эвридика исчезла в царстве мертвых.

Реминисценция первая (с. 72). — ДНН-27, I и II. Заглавие зачеркнуто редактором (Сергеем Ромовым?), внесшим также следующие исправления:

13 *вот* вместо *ан*
14 *Ты* с прописной буквы, *легкою* вместо *жидкою*.

Редакторской рукой под стихотворением написано: «Хорошо!»

Реминисценция вторая (с. 72). — ДНН-27, I и II. В I рукой Б.Поплавского исправлены ошибки в знаках препинания и приписано посвящение Г.Адамовичу. Впервые опубликовано: ПСНС; под заглавием «Реминисценция третья», с посвящением Г.Л.Ц. (личность не установлена), без знаков препинания.

Адамович Георгий Викторович (1892–1972) — поэт, критик, переводчик. С 1923 г. в эмиграции. Автор поэтических сборников «Облака» (1916), «Чистилище» (1922), «На Западе» (1939), «Единство» (1967). Будучи ведущим литературным критиком нескольких парижских газет и журналов, и прежде всего «Звена» и «Последних новостей», пользовался большим авторитетом среди

молодых поэтов. В «Числах», где печатался Б.Поплавский, вел рубрику «Комментарии», где отражал различные нападки на журнал, в частности обвинения в декадентстве и нравственном разложении, и развивал главные темы журнала, утверждал идейную направленность «Чисел» с их установкой на «самое главное». Статьи, заметки, эссе, печатавшиеся под этой рубрикой, вошли позднее в книгу «Комментарии» (1967). Г.Адамович оставил также две книги воспоминаний — «Моя вторая родина» (1947, на фр. яз.) и «Одиночество и свобода» (1955).

В борьбе со снегом (с. 73). — ДНН-27, I и II, без заглавия. Это стихотворение подвергалось редакторской правке, в частности, 3-я строфа. Автор с предложениями редактора, видимо, не согласился и записал на том же листе собственный вариант строфы. Впервые опубликовано: «Флаги».

«Труба — по-русски, по латыни — тромба...» (с. 73). — ДНН-27, I и II. Публикуется впервые.

Здесь также не обошлось без редакторского вмешательства:

3–4	На части рвусь, как сладостная бомба, Бьюсь медным лбом о камень бытия.
8–9	Дворец хрустальный втиснулся в шалаш. Шалишь, мне мир-то миром говорит.
21	Все самодержцы на земных пределах.

Татида (Цемах Татьяна Давыдовна; 1890–1943?) — поэтесса. Эмигрировала из России в 1921 г. Жила в Берлине. В середине 1920-х годов вернулась в СССР.

«Глаза, как голубые губы...» (с. 74). — ДНН-27, I и II. Публикуется впервые.

Борьба со сном (с. 75). — ДНН-27, I и II, без заглавия. Впервые опубликовано: «Флаги».

Шесть седьмых больше одной (с. 76). — ДНН-27, I и II. Частично опубликовано: «Дадафония».

Поплавский Всеволод — старший брат Б.Поплавского, военный летчик, в Париже работал шофером такси.

Пифон-тайфун (с. 77). — ДНН-27, I и II. Публикуется впервые.

Андреев Вадим Леонидович (1902/03–1976) — прозаик, поэт, литературный критик, мемуарист. Сын писателя Л.Н.Андреева, брат писателя Д.Л.Андреева. В 1920 г. вступил в Добровольческую армию. В 1921 г. эмигрировал. С лета 1924 г. жил в Париже, был одним из организаторов Союза молодых поэтов и писателей. В годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления, в 1946 г. принял советское гражданство, работал переводчиком в ООН, умер в Женеве.

Редакторская правка:

29–30 Несносный треск, матросов босый топот.
Ползем на мачту — на бревно б дабы!
33 — зачеркнуто.

Пифон — в греческой мифологии дракон, сын Геи, обитал в пещерах на горе Парнас.

Армейские стансы (с. 78). — ДНН-27, I и II. В I рукой Поплавского приписано посвящение А.Папазулову. О последнем не удалось ничего узнать, кроме того, что в мае 1928 г. Папазулов выставлялся в галерее Мангарет Анри вместе с А.Араповым, М.Блюмом, А.Минчиным и самим Поплавским. Адресат стихотворения, возможно, художник-сюрреалист Папазов, болгарского происхождения.

Армейские стансы-2 (с. 79). — ДНН-27, I и II, в I — с посвящением Л.Проценко, в II — посвящение зачеркнуто. Впервые опубликовано: «Флаги», под заглавием «Армейские стансы» и с посвящением А.Гингеру.

Проценко Леонид — друг Поплавского. Вместе с поэтом В.Дряхловым устроил в Париже мастерскую по раскрашиванию шарфов и галстуков. См. о нем в воспоминаниях В.Яновского «Поля Елисейские» (СПб.: Пушкинский фонд, 1993).

«Листопад календаря над нами...» (с. 80). — ДНН-27, I и II. Сохранилась рукопись с тем же посвящением, датированная 1926 г. и озаглавленная «Метаморфозы»; здесь в 17-й строке Поплавский зачеркнул слово «чиновник» и заменил его словом «читатель».

Сосинский Бронислав (Владимир) Брониславович (1903–1987) — прозаик, литературный критик. Во время Гражданской войны воевал в армии Деникина и затем Врангеля. Эмигрировал. Близкий друг Поплавского, о котором тепло отозвался в своих воспоминаниях (Конурка: Отрывки из воспоминаний // Вопросы литературы. 1991. № 6). В 1962 г. вернулся в СССР.

«Воинственное счастие души...» (с. 81). — ДНН-27, I и II. В архиве сохранилась авторская машинопись. Публикуется впервые.

«Скучаю я и мало ли что чаю...» (с. 82). — ДНН-27, I. Из ДНН-27, II изъято Н.Д.Татищевым и опубликовано им с некоторыми поправками в ДНН-65. Именно этот типографский оттиск, обнаруженный в архиве публикаторами «Дадафонии», приводится ими в Приложении 1 (с. 85). Этот вариант, полностью совпадающий с текстом из первой типографской верстки, мы и печатаем — вместе с посвящением А.Гингеру и убранной Татищевым и восстановленной нами 4-й строфой, но без заглавия, явно приписанного стихотворению редактором («На границе»).

Подражание Жуковскому (с. 83). — ДНН-27, I и II. Впервые опубликовано: «Флаги».

Разночтения (ДНН-27):

4	Громыхающий поезд, под ледник и канул.
8–10	Удивлен и бесшумен и сладостен он. Подходи, подходи, неестественный враг Безвозвратный и теплый товарищ мой рак.
18	Там, где дерево громко вздыхает в хитоне.

В ПСНС приведен вариант, идентичный тексту из ДНН-27, но под заглавием «Стеклянная дева».

Жуковский Василий Андреевич (1738–1852) — поэт, родоначальник русского романтизма.

Зеленый ужас (с. 84). — ДНН-27, I и II. Впервые опубликовано: ВВИВ.

Текст, напечатанный в посмертном сборнике стихов, сильно отличается от первоначального варианта из ДНН-27. Поскольку мы не располагаем типографским оттиском издания 1938 г., трудно решить, является ли второй текст результатом переработки самого автора или же Дина и Николай Татищевы заменили последние строфы другими, взяв их из многочисленных набросков и черновиков поэта. Во втором варианте отсутствуют резко «футуристические» выражения, характерные для ДНН-27.

Поскольку разночтений много, приводим вариант из ДНН-27 полностью:

На город пал зеленых листьев снег,
И летняя метель ползет, как палец.
Смотри: мы гибель видели во сне
Всего вчера, и вот уж днесь пропали.

На снег асфальта, твердый, как вода,
Садится день, невыразимо счастлив.
И тихо волосы встают и борода
У нас с тобой и у других отчасти.

Днесь наступила тяжкая весна
На сердца ногу мне, до страшной боли.
А я лежал, водою полон сна,
Как астроном. Я истекаю, болен.

Смотри, сияет кровообращенье
Меж облаков по жилам голубым.
И ан вхожу я с божеством в общенье,
Как врач, болезням сердца по любым.

Да, мир в жаре; учащен пульс мгновений.
Глянь, все часы болезненно спешат.

Мы сели только что в трамвай без направленья,
И вот уже конец, застава, ад.

Шипит отравной флоры наважденье.
Зелёна пена бьет из горлышек стволов,
И алкоголик мир открыл с рожденья
Столь ртов, сколь змия у сего голов.

И каждый камень шевелится глухо
На мостовой, как головы толпы.
И каждый лист полураскрыт, как ухо,
Чтоб взять последний наш словесный пыл.

День каждый через нас ползет, как строчка,
С таким трудом; а нет стихам конца.
И черная прочь убегает точка,
Как точка белая любимого лица.

Но всё ж пред бойней, где хрустальна кровь
Течет от стрелки, со стрелы, меча,
Весенни дни, как мокрых семь коров,
Дымятся и приветливо мычат.

Сентиментальная демонология (с. 85). — ДНН-27, I и II, без посвящения. Впервые опубликовано: Воля России. 1928. № 2. С. 30; без посвящения. Вошло во «Флаги».

В ПСНС приведен несколько иной вариант этого текста, найденный в архиве И.Зданевича. Разночтения:

10–12	Ходили Вы под городом на лыжах Рассказывали такую дребедень Ваш гувернер курчавый из Парижа
21	Иль в смутный час когда не пьян не трезв
23	Вам с грохотом летел наперерез
25–26	Иль в опустелой улице где стук Шагов двоится по иглою лунной
29	Иль в миг когда катящийся вагон

Между ст. 32 и 33:

Что постоянно возмущало Вас
Во всяком доме клубе и театре
Ждать заставляя у билетных касс
Ждать бесконечно заседая в катере.

36	В скелет одетым, или даже дамой.

Ларионов Михаил Федорович (1881–1964) — художник-авангардист, сценограф, теоретик искусства; муж художницы Наталии Гончаровой. Друг Поплавского. После смерти поэта Ларионов помог издать книгу его стихотворений «Снежный час».

Восьмая сфера (с. 86). — ДНН-27, I и II, под заглавием «Восьмая сфера» и посвящением С.Ромову. Впервые опубликовано: ДНН-65, под заглавием «Возвращение в ад» и с посвящением Лотреамону.

В ПСНС приведен несколько иной вариант этого текста, обнаруженный в архиве И.Зданевича, без заглавия и посвящения, с датой и местом написания: «Париж 925, начало мая».

Разночтения (ПСНС):

4	Меня старалась обогнать она
9	Слезой блестит ее багровый зрак
13	Я подхожу к стеклянному подъезду
50	Ужасной радости, чернильной брызжет кровью
57–58	Ан слышал я как он свистел во мгле Пушистый хвост я хвать его и замер

В «Дадафонии» опубликован другой вариант этого стихотворения, обнаруженный в архиве Н.Д.Татищева в виде типографского оттиска. Этот текст имеет заглавие «Восьмая сфера» и посвящение Сергею Ромову. Он почти полностью повторяет вариант из архива И.Зданевича, с небольшими разночтениями. Последняя строка отсутствует.

Ромов Сергей Матвеевич (1883–1934) — критик, покровительствовавший молодым русским поэтам в Париже, близкий друг И.Зданевича, с которым основал группу «Через» (1922). Редактор парижского журнала «Удар» (в 1922–1923 гг. вышло четыре номера). В 1927 г. С.Ромов решил съездить в СССР, но вернуться оттуда уже не смог. Был арестован (1930?), умер вскоре после освобождения из заключения.

Лотреамон (Изидор Дюкас; 1846–1870) — французский поэт, предтеча сюрреализма, один из любимых авторов Поплавского.

Астральный мир (с. 88). — ДНН-27, I и II, без заглавия. В I — посвящение Ольге Каган (см. о ней коммент. к стихотворению «Твоя душа, как здание сената...» в книге «В венке из воска») зачеркнуто и заменено инициалами О.К. В II — сохранены инициалы. Впервые опубликовано: «Флаги». Вариант этого стихотворения опубликован: ПСНС, без заглавия и посвящения.

Искусство пить кофе (с. 89). — ДНН-27, I и II. Публикуется впервые.

Моисей Блюменкранц (Моисей Блюм, фр. псевд. Морис Блонд; 1899–1974) — художник. Очень рано проявил незаурядные спо-

собности. Его первая работа (акварель) была приобретена киевским музеем еще в 1911 г. С начала 1920-х годов жил в Германии, с 1924 г. — в Париже. С 1930 г. сотрудничал в журнале «Числа» в качестве художественного консультанта. Написал портрет Поплавского.

...ca y est. — Вот и готово *(фр.)*; здесь: спасен.

Круассан — французская булка; вместе со знаменитым «кафе-крем» (кофе с молоком) составляет традиционный завтрак французов.

Жюлю Лафоргу (с. 90). — ДНН-27, I и II, под заглавием «Жюлю Лафоргу». Впервые опубликовано: ДНН-65, под заглавием «Другая планета» — в редакции Н.Д.Татищева, значительно изменившего первоначальный текст. Опубликовано также: ПСНС — вариант без заглавия и без пунктуации; «Дадафония» — текст полностью совпадает с текстом из ДНН-27; его и воспроизводим в настоящем издании.

Поскольку текст стихотворения в ДНН-65 значительно отличается от публикуемого нами, приводим его полностью:

ДРУГАЯ ПЛАНЕТА

Жюлю Лафоргу

С моноклем, с бахромою на штанах,
С пороком сердца и с порочным сердцем,
Ехидно мним: планеты и луна
Оставлены Лафоргом мне в наследство.

Вот мы ползем по желобу, мяуча.
Спят крыши, как чешуйчатые карпы,
И важно ходит, завернувшись в тучу,
Хвостатый чёрт, как циркуль вдоль по карте.

Лунатики уверенно гуляют.
Сидят степенно домовые в баках.
Крылатые собаки тихо лают.
Мы мягко улетаем на собаках.

Блестит внизу молочная земля,
И ясно виден искрометный поезд.
Разводом рек украшены поля,
А вот и море, в нем воды по пояс.

Вожатые забрали высоту,
Хвост задирая, как аэропланы,
И на Венеру мы летим спутницу — не ту,
Что нашей жизни разбивает планы.

Синеет гордый неподвижный нос,
Стекло озер под горными тенями.
Нас радость потрясает, как поднос,
Снижаемся с потухшими огнями.
На ярком солнце для чего огни?
Но уж летят, а там ползут и шепчут
Стрекозы-люди, бабочки они,
Легки, как слезы, и цветка не крепче.

Вот жабы, скачут толстые грибы,
Трясясь, встают моркови на дыбы.
И с ними вместе, не давая тени,
Зубастые к нам тянутся растенья.

И шасть — жужжать, и шасть — хрустеть, пищать,
Целуются, кусаются — ну ад!
Свистит трава как розовые змеи.
А кошки! Описать их не сумею.

Мы пойманы, мы плачем, мы молчим,
Но вдруг с ужасной скоростью темнеет.
Замерзший дождь, лавины снежной дым.
Наш дирижабль уже лететь не смеет.

Пропала насекомых злая рать,
А мы, мы вытянулись умирать.
Замкнулись горы, синий морг над нами.
Окованы мы вечностью и льдами.

Лафорг Жюль (1860–1887) — французский поэт-символист, автор сборника «L'imitation de Notre-Dame la Lune» («Подражание Богоматери-Луне», 1886).

Весна в аду (с. 92). — ДНН-27, I и II, в I — без посвящения и заглавия, в II — с посвящением Р.Пикельному, без заглавия. Впервые опубликовано: «Флаги», под заглавием «Весна в аду» и с посвящением Георгу фон Гуку.

Пикельный Роберт (1904–1986) — художник. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. С 1923 г. обосновался в Париже.

Георг фон Гук — судя по дневниковым записям Поплавского, приведенным Анатолием Вишневским (Перехваченные письма. М.: ОГИ, 2001. С. 158, 198) — русский художник, с которым Поплавский дружил в 1929–1930 гг.: «...с Гуком (вот милый человек) купили искусственную бороду и клоунскую шляпу», «Милое кремовое ателье Гука, где-то там далеко за Монпарнассом, где почти

нет домов». В архиве сохранился портрет-шарж Гука, исполненный Поплавским.

...«твои обнаженные плечи»... — Из стихотворения А.Блока «Унижение» (1911).

Ручей, но чей? (с. 93). — ДНН-27, I и II , без разбивки на строфы, 84 строки. Последние шестнадцать строк опубликованы в ДНН-65 в отредактированном Н.Д.Татищевым виде как первая часть стихотворения «Близится утро, но еще ночь» с датой: 1925 (в рукописи эти строки отчеркнуты и рукой Татищева вписано данное заглавие). В ПСНС две части стихотворения ошибочно представлены как два отдельных текста («Я отрезаю голову тебе...» и «Рассматривали вы когда друзья...»). В «Дадафонии» текст начинается с 21-й строки — начало, видимо, затерялось или осталось в архиве С.Н.Татищева.

Разночтения (ПСНС):

8	Слегка бренчат хрустальные гитары
19–20	Плывет она как лапчатый листок Кружит как гусь взывает как свисток
29–30	Плыву туда как воробей в окно И вижу под водой сияют лампы
37	Но вдруг кутилы падают как кегли
44	Едва проходит в мраморные двери
48	И дети в озеро столкнутые отцом

Разночтения («Дадафония»):

24	Открытие и порочный клад
37	Но вот склонились визитеры-кегли
39	Среди столов хозяева забегали
66	Вращается спиралью в животе

Олоферн — герой ветхозаветного предания, полководец ассирийского царя Навуходоносора, державший в осаде иудейский город Ветилуй. Благочестивая вдова Юдифь, спасая свой город, обманом проникла в стан врага и после пира отрубила Олоферну голову. Эта голова была выставлена на стене осажденного города.

В воде стоит литературный ад... — Ср. стихотворение «Допотопный литературный ад».

Допотопный литературный ад (с. 95). — ДНН-27, I и II, под заглавием «Литературный ад» — в стихотворении 17 строф и нет разделения на две части. Впервые опубликовано: Воля России. 1929. № 1. С. 23; под заглавием «Литературный ад», без разделения на части и без последних четырех строф. В настоящем виде опубликовано: ДНН-65.

Разночтения (ДНН-27 и «Воля России»):

Между 8 и 9:

Там снеговое молоко кипит
И убегает вдоль по тротуару.
Пока в перстах резиновых копыт
Ревет и шепчет улицы гитара.

21–24 — отсутствуют
32 Стоят часы пузатые — луна
52 Сломал в руках, как вазочку, как циркуль.

После 52:

Пусть молоко вскипевшее снегов
Прольется на шелка средь клубов пара,
Под дикий рев трамваев и шагов
Терзающих асфальтную гитару.

Пусть будет только то, что есть сейчас:
Кружение неосторожной двери,
Нахальное приветствие в очах
И тяжкий храп усталых лавров в сквере.

Пускай в дыму закроет рот до срока
Воспоминания литературный ад.
Дочь Лота, дура! не гляди назад,
Не смей летать, певучая сорока,

Туда, где вертел вечности, на дне,
Пронзает лица, тени, все, что было,
И медленно вращается в огне
Святого и болезненного пыла.

Супруга Лота (а не дочь, как ошибочно написал Поплавский в первой версии) превратилась в соляной столб, когда оглянулась на родной город Содом, который покинула вместе с мужем, праведником Лотом (Быт 19:15–26).

Ангелы ада (с. 97). — ДНН-27, I и II, без заглавия. Впервые опубликовано: «Флаги», под заглавием «Ангелы ада».

Арапов Алексей Павлович (1904–1948) — живописец. С 1923 г. жил в Париже, состоял в группе «Удар». В 1930 г. переселился в США.

Морской змей (с. 98). — ДНН-27, I и II; в I — под заглавием «Морской змей, или Академия плавания»; в II — под заглавием

«Морской змей». Впервые опубликовано: ПСНС, без знаков препинания. Печатается по ДНН-27, II.

Разночтения (ПСНС):

Есть эпиграф на французском языке: «J'alai voir mes testes de morts. Bluet d'Arbelle» («Я пришел посмотреть на свои черепа»).

17	А франты: бант завязанный хитро
44	И легион проворной мелкоты

В архиве обнаружены также два машинописных варианта. Приводим разночтения с окончательным текстом:

17–18	У каждого в руке палаш иль трость Перчатки галстуки огромные и вдруг
20	Внезапно села шляпа как ведро
26	Пред мною шляпу вежливый мертвец
34–35	Махают юбок веера в дыму. Проносят пиво черти с бородами
38	Мы золотом насыпем контрабас

Звездный ад (с. 100). — Впервые: «Флаги», с датой: 1926. В этом стихотворении уже присутствуют доминирующие образы «Флагов» — смерть детей, дирижабли и ангелы, звезды и кораблекрушения, — создающие ту особую, одновременно и сказочную, и тревожную атмосферу, столь знакомую любителям поэзии Поплавского: «...не логического смысла надо искать в этом пестром мире, населенном условными образами. Вся эта игра воображения, все эти то смутные, то неожиданно яркие сны живут и движутся стихией музыки» (С л о н и м М. Книга стихов Б.Поплавского // Воля России. 1931. № 1/2. С. 194).

Paysage d'enfer (с. 101). — ДНН-27, I и II, без заглавия и посвящения. Впервые опубликовано: Воля России. 1930. № 9. С. 717; без заглавия и посвящения. Вошло во «Флаги», под заглавием «Paysage d'enfer» и с посвящением Г.Шторму. Текст, опубликованный в ПСНС, является более ранним вариантом.

Paysage d'enfer — адский пейзаж *(фр.)*.

Шторм Георгий Петрович (1897–1978) — поэт, прозаик. Поплавский общался с ним в 1920 г. в Ростове-на-Дону.

Дон Кихот (с. 102). — ДНН-27, I и II, без заглавия и посвящения. Впервые опубликовано: «Флаги», под заглавием «Дон Кихот» и с посвящением С.Шаршуну.

Шаршун Сергей Иванович (1888–1975) — живописец, график, писатель. Во Францию впервые приехал в 1912 г., учился в Русской академии М.Васильевой. Принимал участие в Первой мировой войне в рядах Русского экспедиционного корпуса. С 1920 г. окончательно обосновался в Париже. Редактировал журнал

«Трансбодер дада» (13 номеров с 1922 по 1949 г.). Считался основателем русского дадаизма.

Ундина — русалка, персонаж немецких сказок, героиня повести немецкого писателя Ф. де Ламот Фука; в русском варианте известна в переработке В.А.Жуковского.

Северный Крест — созвездие, вымышленное Поплавским по аналогии с созвездием Южный Крест.

Артуру Рембо (с. 103). — ДНН-27, I и II, без заглавия и с неточным эпиграфом из Рембо: «Anne, Anne, fuit sur un âne» (начальные строки стихотворения Рембо «Праздник голода» из «Зютического альбома» (1872): «Ma faim, Anne, Anne, fuis sur ton âne» («Голод мой, Анна, Анна, мчит на осле неустанно»)). Впервые опубликовано в коллективном сборнике «Стихотворение» (Вып. 2, под ред. Б.Божнева; Париж, 1928), без заглавия и с тем же эпиграфом; в данной публикации последняя строфа отсутствует. Вошло во «Флаги» под заглавием «Артуру Рембо». Вариант стихотворения опубликован в ПСНС под заглавием «Histoire de gaze et gaziers» («История о марле и газовщиках», *фр.*).

Верлен Поль (1844–1896) — французский поэт, близкий друг Рембо.

Rondeau mystique (с. 105). — ДНН-27, I и II, под заглавием «Rondeau mystique» и без посвящения. Впервые опубликовано: ВВИВ, без заглавия.

Rondeau mystique — Мистическое рондо *(фр.)*.

Рондо — стихотворная форма, модная во французской поэзии XVII в.

Dies irae (с. 106). — ДНН-27, I и II. Впервые опубликовано: Воля России. 1929. № 1. С. 25; с опечаткой в заглавии: «Dei irai».

Dies irae — день божьего гнева *(лат)*.

Голубая модная Мадонна... — Образ, явно указывающий на сестру поэта Наталью Поплавскую.

Профессиональные стансы (с. 107). — ДНН-27, I и II. Впервые опубликовано: «Дадафония».

Минчин Абрам (1898–1931) — живописец, близкий друг Поплавского. О его творчестве см. статью Поплавского «Абрам Минчин» (см. т. 3 наст. изд.).

Юный доброволец (с. 108). — ДНН-27, I и II. Впервые опубликовано: ВВИВ.

«Безвозмездно, беспечно, бесправно...» (с. 110). — ДНН-27, I и II. Публикуется впервые.

«Отрицательный полюс молчит и сияет...» (с. 110). — ДНН-27, I и II; в I — рукой Поплавского зачеркнуты инициалы посвящения А.Г. (Александру Гингеру) и приписано: «Анне Присмановой». Впервые опубликовано: «Флаги», с посвящением М.Решоткину.

Разночтения (ДНН-27):

6 С неподвижной улыбкой размытых зубов
11 И слова угасают от нее вдалеке.
15 И с открытыми ртами, оглохшие люди

Михаил Решоткин — приятель Поплавского, поэт, оставшийся в России. В архиве Поплавского сохранилось письмо М.Решоткина, посланное им из Ялты 19 августа (по ст. ст.) 1922 или 1923 г. Дальнейшая его судьба неизвестна.

ДОПОЛНЕНИЕ К «ДИРИЖАБЛЮ НЕИЗВЕСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ»

В этот раздел вошли стихи, включенные Поплавским в список под этим названием и в большинстве своем напечатанные после смерти поэта в посмертных сборниках.

«Друзья мои, природа хочет...» (с. 112). — Впервые: ВВИВ.

«Сияет осень, и невероятно...» (с. 112). — Впервые: ВВИВ.

Эшеров... дом. — Имеется в виду повесть Э.По «Падение дома Ашеров» (1839).

«Мы, победители, вошли в горящий город...» (с. 113). — Впервые: ВВИВ.

«Жизнь наполняется и тонет...» (с. 113). — Впервые: ВВИВ.

Бафомет — бог, олицетворявший одновременно темные и светлые силы, которому, как предполагается, поклонялись тамплиеры, члены католического духовно-рыцарского ордена, основанного в Иерусалиме около 1118 г. Ср. в дневнике Поплавского за 1932 год: «Бафомет — сексуальность, в которой отчасти для себя, отчасти для любимого» (см. т. 3 наст. изд.).

«Свет из желтого окна...» (с. 114). — Впервые: ВВИВ.

«Возлетает бесчувственный снег...» (с. 115). — Впервые: ВВИВ.

Гефсиманскою кажутся Чашей. — Последнюю ночь перед распятием Иисус Христос провел вместе с апостолами в Гефсиманском саду. В своих молитвах он просил Бога пронести эту чашу (смерть в ужасных муках) мимо него.

«Померкнет день, устанет ветр реветь...» (с. 116). — Впервые: ВВИВ.

«Идет твой день на мягких лапах...» (с. 116). — Впервые: ВВИВ.

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) — русский поэт-символист.

«Как человек в объятиях судьбы...» (с. 117). — Впервые: ДНН-65, под заглавием «Кладбище под Парижем», данным, по всей вероятности, Н.Д.Татищевым.

«Три раза прививали мне заразу...» (с. 118). — Впервые: ПСНС, под заглавием «Новогодние визиты» («Посещение третье»), текст неполный. Нам удалось обнаружить авторскую машинопись с пометой Поплавского от руки: «Дирижаблю Н.Н.» и датой: 1925.

«Тэнэбрум марэ — море темноты...» (с. 118). — Впервые: Les Carnets de l'Iliazd-Club (Тетради Ильязд-клуба). Paris: Clémence Hiver. 1990. № 1. P. 16; вместе с оригиналом опубликован и перевод А.Марковича на французский язык. Публикатор ошибочно посчитал стихотворение принадлежащим Ильязду (И.Зданевичу). Настоящее авторство указано Р.Гейро и С.Кудрявцевым в ПСНС (с. 129–130), поскольку стихотворение обнаружено среди других стихов Поплавского, найденных в архиве И.Зданевича (машинопись с авторской правкой). Вариант этого стихотворения обнаружен в архиве Н.Д.Татищева и опубликован в «Дадафонии». Текст без эпиграфа, с датой III.1925 и со следующими разночтениями:

1 Тенебрум маре — море темноты
9–10 Но ах, мы тонем, а-ах, мы летим.
Бесцветны воды надувают парус.

13 — и до конца:

Тенебрум маре — море темноты
Прими утопленников в волнах пустоты.
О ты над нами, нами под о ты.

Tenebrum mare — искаж. *лат.*; следовало бы писать: tenebrarum. «In mare tenebrum» — название одной из глав романа Поплавского «Аполлон Безобразов», не вошедшей в окончательный текст (см.: «Неизданное», с. 375–377).

Стихотворение написано в форме сонета, редко встречающейся у Поплавского. При этом в константинопольском дневнике 1921 года Поплавский упоминает о множестве сочиненных им сонетов (см. т. 3 наст. изд.).

«Глубокий холод окружает нас...» (с. 119). — Впервые: ПСНС. В архиве обнаружен вариант данного стихотворения (нет двух последних слов) с посвящением М.Решоткину.

«Как розовеет мостовой гранит...» (с. 119). — Впервые: НС.

«Человек очищается мятою сна...» (с. 120). — Впервые: НС.

«Было странно с моей стороны...» (с. 121). — Впервые: НС. На рукописи, где записано это и пять последующих стихотворений, сверху приписано: «Куски».

«Хитро пала на руки твои...» (с. 121). — Впервые: «Дадафония» (в комментарии к стихотворению «Не тонущая жизнь ау ау...»).

«Как медаль на шее у поэта...» (с. 121). — Впервые: «Дадафония». Текст совпадает с авторской рукописью.

«Летит луна бесшумно по полям...» (с. 121). — Впервые: НС.

«Розовело небо, холодело...» (с. 122). — Впервые: «Дадафония».

«Не буффонаду и не оперетку...» (с. 122). — Впервые: «Дадафония».

«Бездушно и страшно воздушно...» (с. 122). — Впервые: «Дадафония».

«Синий, синий рассвет восходящий...» (с. 123). — Впервые: ВВИВ. В архиве сохранился более ранний вариант, без посвящения, под заглавием «Oultromere» (от *ит.* ultramare и *фр.* outremer — ультрамариновый цвет), с датой: 1926.

Разночтения:

1-я строфа (не вошедшая в ВВИВ):

Ночь заходит смолкает щемящий
Отрицательный пагубный вальс
Наклоняется к жизни входящий
Пароход изменяющий гальс.

1-й вариант последней строфы:

Опускается счастье и вечно
Над водою висит как луна
Где во тьме глубоко и беспечно
Трупы спят на поверхности дня.

9–11 Точно море что видишь во сне
Где висят исполинские рыбы
Под нагретыми кручами скал.

«Он на́ землю свалился, оземь пал...» (с. 124). — Впервые: ДНН-65, под заглавием «Поэт из Монтевидео» и с посвящением Жюлю Сюпревилю (1884–1960), французскому поэту, родившемуся в Монтевидео (Уругвай).

Сарданапал — легендарное имя ассирийского царя Ассурбанипала (VII в. до н.э.). Славился своей изнеженностью и распутством. Когда враги осадили столицу Ассирии Ниневию, приказал соорудить огромный костер и предал самого себя сожжению вместе со своими сокровищами, женами и наложницами.

Art poétique (с. 124). — В ДНН-65 последнее четверостишие этого стихотворения опубликовано под заглавием «Эпитафия»; в этой публикации Н.Д.Татищев заменил настоящее время на прошедшее, чтобы превратить эти стихи в настоящую эпитафию. Впервые полностью: Мосты (Мюнхен). 1966. № 12. С. 270; в при-

ложении к статье Г.Адамовича о А.Гингере. Опубликовано также: Встречи: Альманах (Финляндия). 1990; Звезда. 1993. № 7. С. 114. Вариант, без посвящения: «Дадафония».

Разночтения:

4	Письмо луны средь полной темноты
6–8	Молчу и жду сквозь мокрые леса Уже несется Филомелы бедной Рассветный стон волнующий сердца
10	Душа почит в печальном шутовстве
22	Спешит вперед потом ползет назад
32	Средь мелких звезд с различной высоты

Art poétique — искусство поэзии *(фр.)*.

Филомела — героиня древнегреческого мифа, афинская царевна, превращенная в соловья.

Чарли Чаплин (1889–1977) — американский киноактер, режиссер, сценарист.

Дуглас Фербанкс (Фербенкс; наст. имя и фам. Дуглас Элтон Томас Улмен; 1883–1939) — американский киноактер.

Гесперuды — в греческой мифологии нимфы, дочери Ночи. С помощью дракона Ладона они стерегли сад с золотыми яблоками, подаренными Гере, когда она сочеталась браком с Зевсом.

«Я яростно орудовал платком...» (с. 125). — Впервые: НС.

«Пришла в кафе прекрасная Елена...» (с. 126). — Впервые: НС.

О Троя, что́ ж погибнет Ахиллес?!. — Считавшийся неуязвимым герой Троянской войны Ахиллес, по древнегреческому преданию, сын Пелея, царя мирмидонян во Фтии (Фессалии), и морской богини Фетиды, погиб от стрелы Париса, поразившей его в пятку (ахиллесова пята).

...Улисс; он в хитру лошадь влез. — Как известно, Троя пала после того, как хитроумный царь Итаки Улисс (*греч.* Одиссей) сумел убедить своих товарищей применить его план: соорудив огромную полую внутри деревянную лошадь, он забрался в нее вместе с наиболее отважными воинами, после чего греки сели на свои корабли и демонстративно удалились, сделав вид, что лошадь эта оставлена троянцам в знак примирения; обрадованные троянцы ввезли ее в город, а ночью, когда все спали, Улисс и его воины выбрались наружу и открыли городские ворота для основных греческих сил, которые к тому времени вернулись.

«Томился Тютчев в темноте ночной...» (с. 126). — Впервые: ВВИВ.

...Делия в цилиндре... — Под именем Делии римский поэт Тибулл (I в. до н.э.) воспевал в элегиях свою возлюбленную.

«Напрасным истреблением страстей...» (с. 127). — Впервые: «Дадафония».

«Я люблю, когда коченеет...» (с. 127). — Впервые: ВВИВ.

«Александр строил города в пустыне...» (с. 128). — Впервые: Мосты. 1968. № 13/14. С. 174. Вариант этого стихотворения: Звезда. 1993. № 7. С. 113 (публикация В.Крейда по авторской машинописи, с разночтениями):

Между строками 8 и 9:

С Грецией и Персией покончив,
С Индиями разными в придачу,
Мужеловством увлекался очень,
Может быть, от скуки, за удачей.
11 В снежных го́рах не морозе твердом

Полушутливое сравнение Гингера с его тезкой — Александром Македонским, который под пером Поплавского превращается в «чудака великодушного», — покоится, несомненно, на общей черте характера: равнодушии к внешним успехам и к своему внешнему виду.

«Маляр висит на каменной стене...» (с. 129). — Впервые: НС.

«За жалкою балкой балкон тишины...» (с. 129). — Впервые: ПСНС, под заглавием «Новогодние визиты (Посещение первое)». Поскольку в нашей части архива текст этого стихотворения найти не удалось, приводим его по этой публикации; к сожалению, стихотворение неполное: лист авторской машинописи поврежден.

«Лицо в окне висит, стоит, лежит...» (с. 129). — Впервые: НС.

На копии этого стихотворения, сделанной Диной Шрайбман, сохранились и два стихотворных отрывка, записанных рукой Поплавского. Вот они:

Первый:

Мертвецы в салоне ели карты
Пели им в цилиндрах петухи
А при лунной музыке за партой
Гамлет сочинял свои стихи.
Был он бледен некрасив и грязен
За стеклом смеялся соловей

Второй:

Летит луна бесшумно по полям
Заглядывая в окна бесполезно

Душа разорванная пополам
Тоскует сонно сухо и бесслезно

«Ты в полночь солнечный удар...» (с. 130). — Впервые: ВВИВ.

«Как черный цвет, как красота руки...» (с. 131). — Впервые: ДНН-65, под заглавием «Раскаяние». В рукописном варианте, обнаруженном в архиве, отсутствует последняя строка.

«Вознесися, бездумный и синий...» (с. 131). — Впервые: НС.

На копии этого стихотворения — рука Д.Шрайбман; под № 2 сохранились и два четверостишия, записанных рукой Поплавского:

Белоснежные дни одиноки
Густопсовые сны хороши
Как индеец на Ореноке
Я раскланиваюсь и пью Виши.

Шум шагов заставляет проснуться
З<...>ать и опять заснуть
Тихим голосом дева смеется
Уезжая в недальний путь.

Виши — минеральная вода.

«Ты говорила: гибель мне грозит...» (с. 132). — Впервые: ВВИВ.

В архиве сохранился и более ранний рукописный вариант под заглавием «Art poétique», где отсутствует третья строфа. На той же странице записано следующее четверостишие:

Несчастие Ты синее ползешь
Здороваюсь с бедой запанибрата
Так улыбаясь добрые солдаты
Глядели на блуждающую вошь

Человекоубийство (с. 132). — Впервые: «Дадафония». В архиве сохранился рукописный вариант — без разбивки на строфы и без заглавия.

Музыкант нипанимал (с. 133). — Впервые: ДНН-65, под заглавием «Музыкант ничего не понимал». В рукописи старое заглавие вычеркнуто, а новое вписано рукой Н.Д.Татищева. Опубликовано также: «Дадафония» — текст без корректуры Татищева. Его мы и предлагаем читателю как подлинный.

«Увы, любовь не делают. Что делать?..» (с. 134). — Впервые: ДНН-65, под заглавием «Невероятный случай», несомненно принадлежащим Татищеву, т.к. его нет в рукописном варианте.

...любовь не делают. — Буквальный перевод французского выражения «faire l'amour» («любовь не делается»).

Жизнеописание писаря (с. 135). — Впервые: ДНН-65.

Клио (с. 136). — Впервые: ДНН-65.

Клио — муза истории.

...Омировы преданья... — Омир — устаревшая форма имени Гомер.

...Ареевы решительные сны... — Арей (Арес) — в греческой мифологии бог войны, олицетворение жестокости.

...Улиссовы загробные свиданья... — Во время своих многочисленных скитаний герой гомеровского эпоса «Илиада» Улисс (Одиссей) попадает и в загробный мир.

...Еленины волосные волны. — Имеется в виду Елена Прекрасная, супруга спартанского царя Менелая, похищенная троянским царевичем Парисом и увезенная им на корабле в Трою. Это послужило причиной Троянской войны.

«Я Вас люблю. Любовь — она берется...» (с. 136). — Впервые: «Дадафония».

«О неврастения, зеленая змея...» (с. 137). — Впервые: «Дадафония». Опубликовано также: НС (по всей вероятности, более поздний вариант). Печатается по НС.

В «Дадафонии» вторая строфа:

Зеленые зеленые дома
И воздух плотный что хороший саван
И коридор ползучий как роман

«Кто любит небо пусть поднимет руку...» (с. 137). — Впервые: НС.

...дочь безропотная Лота... — После того как жена Лота превратилась в соляной столб, обе их дочери, оказавшись с отцом в изгнании, решили не оставлять его без наследников: напоив Лота вином, каждая зачала от него по сыну.

«На столе золотая монета...» (с. 138). — Впервые: НС.

«О струнной сети нежность! о полон!..» (с. 138). — Впервые: НС.

Домик в бутылке (с. 139). — Впервые: НС.

В этом пародийном стихотворении (в последней строке — намек на «Ананасы в шампанском» Игоря Северянина) воссоздается атмосфера монпарнасских кафе.

«Я пред мясной где мертвые лежат...» (с. 140). — Публикуется впервые по авторской машинописи.

...хоть я вегетарьянец. — Как видно из его дневника, Поплавский стал вегетарианцем на Пасху 1921 г.

«Я чистил лошадь в полутьме двора...» (с. 140). — Впервые: НС.

Стихотворение, по-видимому, навеяно воспоминаниями о скитаниях во время Гражданской войны.

«Была душа отчаянья полна...» (с. 141). — Впервые: НС.

В стихотворении описан бассейн в Люксембургском саду, где Поплавский бывал ежедневно в первые месяцы своей парижской жизни.

«Коль колокол колчан чан этот круглый чан...» (с. 141). — Впервые: НС.

«Лесничий лестницы небесной Ты не без...» (с. 142). — Впервые: «Дадафония». В архиве сохранился машинописный, вероятно более ранний, вариант этого стихотворения:

Лесничий лестницы небесной ты не без
Небес отличье несправедливый ордер
Неисправимый неисправный орден
Завеса ты по весу о Зевес

Один такой с счастливою рукой
Пристали козыри ан женщина пристала
Порукой быть рукою о рек кой
Пристало быть податливым металлом

Иду по лестнице Иакова двояко
Подъемная машина не спешит
Вояка шасть на яко всадник яко
Но лишний правда... Есть с чего... Спешись

Вздыхает метко самотник сметни
Блоха я на съешь сколько беготни
Козел я зол готовой самотни
О немощь немочь не иметь мошны

Мощны крестьяне хоть на них креста нет
Ощерился священник не щерись
Измава чуб мотни но вас не станет
Оставим для немилых падчериц
Для снисходительно дающих фельдшериц

Поэты медицинский персонал
Немалые больницы под началом
Ломанья колесницы поначалу
Потом она же даже всё она [же]

Мы клеили любови картонажи.

1925

ДИРИЖАБЛЬ ОСАТАНЕЛ

В отдельной папке собрано 60 стихотворений — иные в машинописном, иные в рукописном виде. Обычно на каждом листе, кроме подписи поэта и даты, помечено: «Дирижабль осатанел» или «Дирижабль неизвестного направления». Здесь мы публикуем стихи, не вошедшие в ДНН-27.

«Я шаг не ускоряю сквозь года...» (с. 145). — Впервые: ВВИВ.

Разночтения с сохранившимся в архиве вариантом (далее везде — разночтения):

7–8	Ей снится пароходная пальба
10	И в воздухе аэропланов встречи.
13–14	Спокойно спят трамвайные вагоны;
	Течет энергия по трубам проводов;
	Но ан прорыв...
21	Прощай! прощай! эпическая жизнь.

«Лицо судьбы доподлинно светло...» (с. 146). — Впервые: ВВИВ. В авторской рукописи стихотворение не делится на строфы и приписана дата: 1925, — а сверху: «"Дирижабль" — переделать». На той же странице помещено следующее четверостишие:

Тот иностранец был суров и весел.
Он был левша, он был такой, как я,
Который прав, который нос повесил
На перекрестном древе бытия.

1926

«Шасть тысячу шагов — проходит жизнь...» (с. 146). — Впервые: «Дадафония». Сохранилась авторская рукопись, без существенных разночтений и с датой: 1925.

Собачья радость (с. 147). — Впервые опубликовано: ВВИВ, без заглавия. Сохранилась авторская рукопись с заглавием, написанным рукой Поплавского, и датой: 1925.

«Мы достодолжный принимали дар...» (с. 147). — Публикуется впервые — по авторской машинописи.

«Но можно ль небрежи́ть над контрабасом...» (с. 148). — Публикуется впервые — по авторской машинописи.

«Осёл ребенок выезжает в свет...» (с. 149). — Публикуется впервые — по авторской машинописи.

Посещение первое (с. 149). — Публикуется по авторской машинописи. В ПСНС под заглавием «Новогодние визиты» («Посеще-

ние четвертое») опубликован текст с указанием: Париж 10.I.925, почти полностью совпадающий с данной версией.

Разночтения:

18 Как счастлив я: не угнетен бы я

Посещение второе (с. 150). — Публикуется впервые — по авторской машинописи.

Словопрение (с. 151). — Публикуется впервые — по авторской машинописи.

«Неисправимый орден тихий ордер...» (с. 151). — Публикуется впервые — по авторской машинописи.

«Мы молока не знаем молокане...» (с. 152). — Впервые: ПСНС. Публикуется по авторской машинописи.

Разночтения:

2 Но камень канун не един для всех

В ПСНС стихотворение посвящено Э.А.П. — Эдгару Аллану По (1809–1849) — американскому писателю, высоко ценимому Поплавским.

«Дымилось небо, как лесной пожар...» (с. 153). — Публикуется по авторской машинописи; на ней шесть первых строф пронумерованы от 1 до 6, на оборотной стороне первая строфа варианта записана Д.Шрайбман, а затем идут 7-я и 8-я строфы и дата: 1926. Вариант этого стихотворения с датой «1925» опубликован: «Дадафония».

«На! Каждому из призраков по морде...» (с. 154). — Впервые: «Дадафония». В исследованной мною части архива Н.Д.Татищева обнаружен рукописный вариант, идентичный опубликованному в «Дадафонии», с пометой: «Париж, ноябрь 1924» и посвящением А.Гингеру.

«Ворóта-воротá визжат как петел...» (с. 154). — Впервые: «Дадафония». В архиве нашелся рукописный вариант, более поздний, судя по датам.

Разночтения:

12 Шасть мочится латунной по руке
И я храплю...
13 Встает от неприступного постоя

Петел (устар.) — петух.

Musique juive (с. 155). —Вошло в ДНН-27, I и II; в II — редакторская правка: вычеркнута последняя строфа, а в оглавлении сборника данный текст заменен на стихотворение «Литературный

ад». Поплавский, однако, сохранил машинописный текст вместе с другими «адскими» стихами, предназначенными для сборника «Дирижабль осатанел». Публикуется по авторской машинописи — заглавие и дата приписаны от руки.

Musique juive — еврейская музыка *(фр.)*.

«Запыленные снегом поля...» (с. 155). — Впервые: «Дадафония».

В ДНН-27, I есть стихотворение, озаглавленное «Неправдоподобная весна», не помещенное в ДНН-27, II, представляющее собой вариант данного стихотворения.

НЕПРАВДОПОДОБНАЯ ВЕСНА

Запыленные снегом поля
Зацветают лиловыми грозами.
В океане шумят тополя
И луна покрывается розами.

Волны ходят по лестнице дней.
Ветром полны подземные залы.
Стало счастие льда холодней,
А железо становится алым.

Возникают вещей голоса.
Перекличка камней, как солдаты,
А немой человек — соглядатай,
Только зависть и весь в волосах.

Паровозы читают стихи,
Разлегшись на траве — на диване,
А собаки в облачной ванне
Шумно плавают, сняв сапоги.

И не будет сему убавленья,
Избавленья бессмертью зимы,
Потому что отходит от лени
Пароход, говоря: вот и мы.

Поднимается он, толстобрюхий,
На белесый блистательный лед,
И зима, разрываясь, как брюки,
Тонет в море, как в рте бутерброд.

«Пролетает машина. Не верьте...» (с. 156). — Публикуется впервые — по авторской машинописи с авторской правкой; первая строфа приписана от руки.

«На улице стреляли и кричали...» (с. 157). — Публикуется впервые — по авторской машинописи; дата приписана от руки, сверху карандашом: «обдумать».

«Запор запоем, палочный табак...» (с. 158). — Публикуется впервые — по авторской машинописи.

«На белые перчатки мелких дней...» (с. 158). — Впервые: ПСНС. Вариант — без посвящения, с минимальными разночтениями: «Дадафония». Для публикации в настоящем издании выбран вариант из ПСНС, т.к. можно предполагать, что он — окончательная версия стихотворения. В архиве нами обнаружен другой вариант, более пространный, на котором рукой Поплавского приписано: «Дирижабль осат. сократить». Между 8-й и 9-й строфами здесь еще две строфы:

Зане она Отелло Грациана
Хулатно наримея бузу ву
Сулибрагима серая от смеха
Гузу бузу вегу везу бегу

Калахая завгула улаза
Забела на железные перчатки
Вугузу за любовь луной платя
Отдав обратно синий вечер падкий.

В конце стихотворения три строфы приписаны от руки:

Но для того кто вертится как флигель
Холодная и жестяная птица
На вертеле пронзительнейшей веры
На медленном сомнительном огне

Приходит белозадая сама
Она махает тоненькой ручкой
И скачущему на коне поэмы
Дает широкий розовый платок

Надушенный духами сна и счастья
Оконченного представленья жизни
Как медленный удар промеж глазами
От коего и тихо и темно.

По точному наблюдению Р.Гейро и С.Кудрявцева, это стихотворение — «редкий для поэзии Поплавского пример нерифмованного стиха. Абсурдный текст, напоминающий отчасти опыты поэтов-обэриутов, содержит заумную лексику и неологизмы,

а также ряд намеренных искажений грамматики и орфографии (в частности, "закашляфф" как бы намекает на принципы правописания, применявшиеся Зданевичем в его "дра")» (ПСНС, с. 147).

Консуэлла — в слегка искаженном виде упомянуто имя заглавной героини романов «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт» французской писательницы Жорж Санд.

Мируар де спор — «Мирор де спор» («Miroir des sports») — французская спортивная газета.

«Блестит зима. На выгоне публичном...» (с. 160). — Впервые: Мосты. 1966. № 12. С. 271; в приложении к статье Г.Адамовича о А.Гингере.

В архиве сохранилась рукопись стихотворения (копия Д.Шрайбман) с минимальными разночтениями и с посвящением А.С.Г. (А.С.Гингеру).

Разночтения:

6	Отлично дым пускает к потолку
14	Бесшумно и бесчувственно горят
17	На холоде закрылся сад публичный

«Мы ручей спросили чей ты...» (с. 160). — Впервые: «Дадафония». В архиве сохранилась рукопись стихотворения.

«Рука судьбы проворна и грязна...» (с. 161). — Публикуется впервые — по рукописному тексту.

«Почто, зачинщик, выставляешь дулю...» (с. 162). — Публикуется впервые — по рукописному тексту.

«На железном плацдарме крыш...» (с. 162). — Впервые: Встречи: Альманах (Финляндия). 1990. Приводится по авторской машинописи. Сверху стихотворения приписано (вероятно, Д.Шрайбман): «На смерть А.Г.» (скорее всего, намек на некий разговор, предсказание, шутку, т.к. А.Гингер намного пережил Поплавского — умер в 1965 г.).

«В серейший день в сереющий в засёрый...» (с. 163). — Впервые: «Дадафония». Обнаружен также более ранний вариант (в нем нет шестой строфы), с посвящением А.Г. (А.Гингеру) и датой: 1925.

Art poétique-1 (с. 164). — Публикуется впервые — по рукописному тексту. Под этим заглавием в архиве Поплавского имеется несколько разных стихотворений, являющихся, по сути, издевательством над «правильной», общепринятой поэзией.

Борьба миров (с. 164) — Впервые: ПСНС — под названием «Новогодние визиты» («Посещение второе») — без знаков препинания, без последней строфы и с неполной четвертой строфой (лист авторской машинописи из архива И.Зданевича поврежден). Публикуется по рукописному тексту.

Art poétique-2 (с. 165). — Публикуется впервые — по рукописному тексту.

«Орегон кентаомаро мао...» (с. 166). — Впервые: ПСНС.

В этом заумном стихотворении, как замечают Р.Гейро и С.Кудрявцев, «сосуществуют экзотические слова, большинство из которых заимствовано из географического словаря (Орегон, Иллинойс, Техас, Гватемала, Саратога, Арагон), чисто заумные слова и русские словосочетания. Примечательно, что особенности звуковой организации текста создают ощущение ясности, тогда как на деле какой-либо доступный для понимания смысл здесь отсутствует» (ПСНС, с. 125–126).

«Панопликáс усонатóо зéмба...» (с. 167). — Впервые: ПСНС, под заглавием «Земба». Опубликовано также: «Дадафония», без заглавия. В авторской рукописи (более ранний вариант) над стихотворением карандашом приписано: «Из греческих мотивов». Публикуется по: «Дадафония».

Текст, близкий к заумной поэзии И.Зданевича, пестрит словами, лишенными смысла, но создающими как бы «греческую мелодию». Вариант этого стихотворения, а также варианты стихотворений «Соутно умигано халохао...» (см. ниже) и «Опалово луненье белых рук...» были опубликованы И.Зданевичем в антологии «Poésie de mots inconnus» («Поэзия неведомых слов») (Paris: Le Degré 41) во французской транслитерации, хотя и не всегда по ее нормам, без знаков ударения, с указанием общей даты: 1925.

Приводим здесь стихотворение «Опалово луненье белых рук...», которое Поплавский, очевидно, не собирался включать в свои книги, т.к. оно отсутствует в общем списке:

Опалово луненье белых рук
Открылось над заумным магазином.
Взлетает лук, взметая архалук;
Летит навстречу поезду дрезина:

Урлы́ каó аóла хаолá.
Юлоубá баóра барбазáжна.
Хрюнý крюнý, лалтýра футурá;
Невя́зна о мотóге головáсна.

Ханоемрýка, бхýдра пýфа (гнý);
Глмеóли хулемá синéла,
Вагонпартошка парта тьма гусу,
О ваконéта вагонéлла пéлла...

Безрукуа как худáва и кордá,
Ваонеспóри ринальдéс валини

О счастье синепорое не спорь
Не отлетает бовса от землини
Тулесо непрестанно как вапор.

«Я желаю но ты не жалеешь...» (с. 167). — Впервые: «Дадафония».

Скетингринг (от *англ.* skating-ring) — ледовая площадка, каток.

Art poétique-3 (с. 168). — Публикуется впервые — по рукописному тексту.

«Невидный пляс, безмерный невпопад...» (с. 169). — Впервые: «Дадафония».

Мойра — в древнегреческой мифологии мойры — три дочери Зевса и Фемиды, богини судьбы, следящие за ходом человеческой жизни: Клото прядет нить жизни, Лахесис распределяет жизненные жребии, Атропос в назначенный час неотвратимо обрезает нить. В римской мифологии мойрам соответствуют парки.

«Летящий снег, ледящий детский тальк...» (с. 170). — Впервые: «Дадафония».

«Соутно умигано халохао...» (с. 170). — Впервые: «Дадафония».

Статья в медицинском журнале (с. 171). — Публикуется впервые — по рукописному тексту.

Петя Пан (с. 171). — Впервые: ПСНС.

В авторской рукописи существует более ранний вариант стихотворения под заглавием «Музе», что дает ключ к общему содержанию текста и открывает подлинное лицо «стеклянной жены моей души».

Петя Пан — герой английской народной сказки «Питер Пэн в Кенсингтонских садах», а также сказочной феерии Дж.Барри «Питер Пэн» (1904), желавший вечно оставаться ребенком.

Ио — в греческой мифологии возлюбленная Зевса, на время превращенная им в корову; прародительница героев.

Заушил (устар.) — оскорбил, опорочил.

Бардак на весу (с. 173). — Впервые: «Дадафония».

Владимиру Кемецкому — см. коммент. к стихотворению «Дождь». К посвящению добавлен рукописный текст на французском языке (в «Дадафонии» он дан в переводе М.Вишневской):

«Тебе, распутный ангел, благочестивый бес, до глубины уязвленный лунною отравой, я посвящаю сон в весеннюю ночь, апологию тлетворных добродетелей — похвалу небесным порокам.

Борис Поплавский, могильщик, влюбленный в Офелию цивилизации.

Писано в Париже, столице наиизощреннейшей чертовщины, в лето 1926 от чаровника Иисуса».

ФЛАГИ

В 1931 г. выходит поэтический сборник Б.Поплавского «Флаги», включающий стихотворения 1928–1930 гг. и более ранние (1923–1927 гг.), — единственная книга, которую ему удалось издать при жизни.

Так как «Флаги» печатались в Таллине, а Поплавский находился в это время в Париже, он не имел возможности держать корректуру, и это послужило причиной того, что в книге было допущено множество опечаток.

В 1980–1982 гг. в Беркли (США) увидело в свет собрание стихотворений Поплавского в трех томах под редакцией Семена Карлинского (и для первого тома — Антони Олкотта). Если второй и третий тома представляют собой лишь факсимильное переиздание вышедших в Париже сборников лирики поэта, изданных после его смерти Н.Д.Татищевым, то в первом томе исправлены самые грубые ошибки, допущенные в эстонском издании «Флагов». Набор текста сделан заново — по новой орфографии, но с сохранением пагинации первого издания.

28 августа 1980 г. в «Русской мысли» появилась рецензия Ю.Иваска на первый том собрания, где давний друг Поплавского, радуясь возрождению поэта, одновременно сожалеет о том, что американские редакторы не посоветовались с ним, т.к. это позволило бы исправить некоторые фактические неточности в биографии Поплавского и полностью удалить досадные опечатки. Ю.Иваск передал А.Н.Богословскому ксерокопию своего экземпляра «Флагов», где некоторые ошибки исправлены по указаниям самого поэта.

Мы также располагаем личным экземпляром Дины Татищевой, в нем исправлены опечатки и — ее рукой — к нескольким стихотворениям приписаны посвящения. На обложке — дарственная надпись поэта: «Дине Григорьевне Шрайбман в знак моей глубокой благодарности. Борис Поплавский». Общего посвящения нет.

По мере возможности данный корпус стихов соответствует списку Поплавского 1928 года, где порядок стихотворений, которые должны составить книгу «Флаги», пронумерован. Помимо стихотворений, входивших в прижизненное издание «Флагов» (1931), в него включены и тексты, обнаруженные в архиве, и те, что по разным причинам не вошли в первое издание сборника, но были сохранены поэтом для планируемого им будущего полного собрания сочинений.

Dolorosa (с. 177). — Включалось в ДНН-27, без заглавия, но с посвящением, приписанным Б.Поплавским от руки: «Ольге Гарденинoй», и с датой: 1926. Впервые опубликовано: «Флаги».

Опубликовано также: ПСНС — под заглавием «A Elémir Bourges» («Элемиру Буржу»), с эпиграфом «Le dragon mélancolique, le dragon réjouissant» («Меланхолический дракон, отрадный дракон»; в оригинале написано с ошибками) и без знаков препинания.

Разночтения (ДНН-27):

1	На балконе корчилась заря
3	И над нею наклонялся зря
6–7	Он поднял ее девичий круп И издав трамвайный стон короткий
10	Под хрустальный бой часов с угла

ПСНС:

10	Под прозрачный бой часов с угла

Для публикации во «Флагах» Поплавский сам восстановил недостающие знаки препинания.

Dolorosa — скорбящая *(лат.)*.

Об Ольге Гарденине см. коммент. к циклу сонетов «Константинополь» и «Дневник 1921 года» (т. 3 наст. изд.).

Элемир Бурж (1852–1925) — французский писатель-декадент.

Черная Мадонна (с. 178). — Включалось в ДНН-27 — без заглавия, с посвящением Валериану Дряхлову и датой: 1926; без разночтений. Впервые опубликовано: Воля России. 1928. № 2. С. 29; без посвящения и даты. Вошло во «Флаги» — с посвящением Вадиму Андрееву. На экземпляре «Флагов», исправленном Ю.Иваском по указаниям Поплавского, в 1-й строке последней строфы: чадный (вместо «адный»).

Разночтения («Воля России»):

15	И заплачут музыканты оба.

Diabolique (с. 179). — Включалось в ДНН-27; на втором экземпляре уже готовой к печати верстки после 6-й строфы Поплавский добавил новую строфу: «Красные тромбоны и литавры / Возносили крабы и тритоны / И июль, как Фауст на кентавре / Расточал мучение на троне»; впоследствии переделанная, эта строфа вошла во «Флаги». Впервые опубликовано: Воля России. 1930. № 9. С. 715; без посвящения и с датой: 1928. «Флаги» — с посвящением В.Мамченко.

Разночтения (ДНН-27):

1	Хохотали люди у колонны.
5–6	Осень пала посредине лета.

На кленах листы оранжевели.
24 И за ней Петрарка с носом красным.
30–31 Падает Лаура на колена;
Глянь! какая странная старуха
34–38 А за ней измазанные кровью,
С копьями торчащими из тел,
Тянутся убитые любовью
К той, чей голос непрестанно пел
На мотив погибели и рая...
41 И в мгновенном пламени летящем,

«Воля России»:

17 Но жеманный сумрак лиловатый
39–40 Колыхался туч чернильных вал
И с последней фразою, играя,

Diabolique — дьявольское *(фр.)*.

Мамченко Виктор Андреевич (1901–1982) — поэт. С 1920 г. в эмиграции — сначала в Тунисе, где и были напечатаны его первые стихи, затем в Париже. Учился в Сорбонне. Был одним из организаторов Союза молодых поэтов и писателей, завсегдатаем «Зеленой лампы» у Мережковских, регулярно печатался в «Числах», «Круге». Давний друг Поплавского.

Эриннии — в греческой мифологии подземные богини кровной мести, рожденные богиней земли Геей от капель крови при оскоплении Урана.

Последний парад (с. 180). — Впервые: «Флаги».

Лидия Харлампиевна Пумпянская — вдова состоятельного рижского дельца, обеспечившая финансирование издания «Флагов».

На заре (с. 181). — Впервые: Последние новости. 1929. 21 июля. № 3042; без заглавия и посвящения. «Флаги» — с заглавием и посвящением В.Дряхлову.

Разночтения:

3 Гаснут в мокром саду фонари.
13 Пахло плесенью, тиной и мятой,

Дряхлов Валериан Федорович — поэт-эмигрант, друг Поплавского. «Стихи Валериана Дряхлова ко времени первых номеров «Чисел» не были лишены колдовства...» — вспоминал Василий Яновский (Поля Елисейские. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 99).

Жалость (с. 182). — Впервые: Последние новости. 1929. 6 апреля. № 2936; под заглавием «На рассвете». Во «Флагах» — под за-

главием «Жалость». В 4-й строфе (2-я строка) по указанию Поплавского Ю.Иваск внес поправку: «Гладит прозрачной девичьей рукой».

Разночтения («Последние новости»):

3	Странно легчали последние сны на рассвете.
8	Спящие же не спешили, плыли и пятились вспять.

«Розовый час проплывал над светающим миром...» (с. 183). — Впервые: «Флаги».

«Пылал закат над сумасшедшим домом...» (с. 183). — Впервые: ВВИВ. Включено Поплавским в список «Флагов» 1931 г.

Роза смерти (с. 184). — Включалось в ДНН-27, без посвящения. Впервые опубликовано: Звено. Париж. 1928. № 5. С. 267; без посвящения. Во «Флагах» — с посвящением Г.Иванову.

Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) — поэт, прозаик, мемуарист. Бессменный председатель собраний «Зеленой лампы»; регулярно печатался в «Числах».

«Смейся, паяц, над разбитой любовью...» (с. 185). — Включено Поплавским в список «Флагов» 1931 г. Печатается впервые — по рукописи.

«Восхитительный вечер был полон улыбок и звуков...» (с. 185). — Впервые: Современные записки. 1929. № 38. С. 186; без разбивки на строфы, с датой: 1927.

Разночтения («Современные записки»):

4	Незабвенную руку, что пышно спадала с плеча.

Лунный дирижабль (с. 186). — Впервые: Последние новости. 1929. 19 марта. № 2918; без 9-й строфы.

Разночтения:

20	Дремлет мраморный Аполлон.
24	желтым горит песок.
31	Достигают ее — огни.
35	Только тихо на самом дне

Рукопись, найденная в бутылке (с. 187). — Впервые: Воля России. 1928. № 7. С. 30.

Отмечая появление прозы и стихов «младшего поколения» на страницах «Воли России», Д.Святополк-Мирский писал: «Среди парижан определенно выделился Борис Поплавский. Некоторые из его стихов (особенно напечатанное во 2 номере "Стихотворения" с эпиграфом из Рембо и в 7 номере "Воли России" "Мыс Доброй Надежды" ("Мы с доброй надеждой тебя покидали...") заставляют остановиться и с удивлением прислушаться к голосу на-

стоящего и нового поэта. Интересно в Поплавском, однако, то, что он совершенно оторвался от русской поэтической тематики. Это первый эмигрантский писатель, живущий не воспоминаниями о России, а заграничной действительностью. Эволюция, неизбежная для всей эмиграции...» (Заметки об эмигрантской литературе // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики (Париж). 1929. № 7. С. 6).

Это мнение разделял и К.Мочульский, утверждавший, что «Поплавский создал не только свой стиль — напев его стихов протяжный, пронзительный, томящий — глубоко оригинален. Особенно удаются ему трехсложные размеры», — и приводил в качестве примера третью строфу из «Рукописи, найденной в бутылке» ([Из «пресс-бука» Поплавского. Название статьи не указано] // Последние новости. 1929. 13 июня. № 3004).

Гамлет (с. 188). — Впервые: Воля России. 1928. № 7. С. 31; без заглавия.

Флаги (с. 189). — Впервые: Современные записки. 1929. № 38. С. 47; без 4-й строфы. На экземпляре книги «Флаги», принадлежавшем Д.Шрайбман, ее рукою приписано посвящение Татьяне Шапиро.

О стихотворении «Флаги» Георгий Адамович высказался так: «...позволю себе, в виде отступления от общего правила, сделать замечание без мотивировки, так сказать, "без придаточных предложений": мне стихи эти чрезвычайно нравятся. Поэтому мне и трудно их разбирать. В стихах этих — такая музыка, какой давно у нас слышно не было. По крайней мере, за последние десять лет я не вспоминаю среди "молодых" явления более поэтического — в подлинном смысле этого слова. Сказать "обещающего" — я колеблюсь. В Поплавском есть декадентство, есть какой-то привкус тления, "гнильцо", притом без всякого трагизма. На развитие Поплавский, может быть, и не способен. Но надтреснутый, по-детски грустный звук его стихов прекрасен — несмотря на небрежность, на смысловую незначительность, на бесчисленные промахи, например, строчки:

...Воздух спал, не видя снов, как Лета,

где вместо элегантного мистического сравнения слушателю может почудиться котлета» («Современные записки». Кн. XXXVIII // Последние новости. 1929. 11 апреля. № 2941).

Мистическое рондо I (с. 190). — Впервые: Современные записки. 1929. № 38. С. 187; под заглавием «Белый домик» и без посвящения. Во «Флагах» — с посвящением Т.Шапиро.

Шапиро Татьяна Акимовна была сильным увлечением Поплавского в 1927–1928 гг. Поэт называл ее «богиней жизни». Во второй половине 1920-х годов она вместе с родителями жила

в Париже. Летом 1928 г. Т.Шапиро уехала из Франции через Германию в СССР.

Римское утро (с. 191). — Впервые: Воля России. 1929. № 3. С. 38; без заглавия и с датой: 1929.

Разночтения:

21 А Эпиктет поет. Моя нога

Эпиктет (*греч.* Epictetus — не имя собственное, а разговорное прозвище раба — «Прикупленный») (ок. 50 — ок. 140) — античный философ, представитель позднего стоицизма, создатель философской школы. Родился рабом во Фригии. Вольноотпущенник (с 68 г.). После изгнания философов из Рима императором Домицианом в 89 г. поселился в Никополе — крайне провинциальном месте, где проповедовал стоическую мораль в беседах и уличных спорах по примеру Сократа; как последний, ничего не писал; жил в крайней бедности.

Мистическое рондо II (с. 191). — Впервые: Воля России. 1929. № 3. С. 39; без заглавия. «Флаги» — без посвящения. На экземпляре Д.Шрайбман ее рукою приписано посвящение Т.Шапиро.

Разночтения:

9 На гранитном виадуке духи

Ю.Иваск подтвердил: слово «духи» должно находиться в конце 9-й строки (его нет во «Флагах», что объясняется, несомненно, опечаткой).

Богиня жизни (с. 192). — Впервые: Воля России. 1929. № 3. С. 37; с посвящением Т.Шапиро и датой: 1929. «Флаги» — без посвящения. На экземпляре Д.Шрайбман ее рукою приписано посвящение Т.Шапиро.

Геркалит (ок. 540 — ок. 480 до н.э.) — древнегреческий философ, основатель первой исторической диалектики. Его сочинение «О природе» («О Вселенной, о государстве, о богословии») дошло до нас в 130 (по другим версиям — 150 или 100) отрывках. Был прозван «темным» (за глубокомысленность) и «плачущим» (за трагическую серьезность) мыслителем.

Смерть детей (с. 193). — Впервые: Стихотворение: Поэзия и поэтическая критика. 1. Прага, 1928. С. 9–10; без заглавия и посвящения, со следующей строфой между 6-й и 7-й: «А родители били в ладоши и пели / Хохотали во сне старожилы земли / И тотчас погружаясь в объятья метели / В деревянные гробы, поохав, легли». «Флаги» — с посвящением М.Блюму.

Блюм Моисей — см. коммент. к стихотворению «Искусство пить кофе» (сб. «Дирижабль неизвестного направления»).

М.Слоним отозвался на появление этого стихотворения следующим одобрительным отзывом: «Самое волнующее живое слово в "Стихотворении" принадлежит Борису Поплавскому. Музыка его поэзии своеобразна и подчиняет себе с первой строчки. Голос у него часто срывается и стихает, — но какой это настоящий голос. "Розовеет закат над заснеженным миром" приятнее ранее напечатанных им вещей еще потому, что здесь меньше заметны ноты его учителя. Пусть у него и здесь попадаются пустые места (особенно в первых двух строфах) и повторения, пусть все стихотворение как разорванное кружево, пусть слишком много в нем нервов, — но зато:

Расцветает молчанья свинцовая роза...

зато такая картина:

По небесному своду на розовых пятках
Деловитые ангелы ходят в тиши...

Звуки сдержанного плача, неподдельный детский стон. ("Праздник, праздник, ты чей?..") и великолепный аккорд заключения, несмотря на уже указанную разорванность всей пьесы, делают ее одной из самых значительных не только в "Стихотворении", но, может быть, и во всей молодой русской поэзии» (вырезка в «пресс-буке» Поплавского, без указания названия статьи и источника).

В.Сирин на страницах «Руля» (№ 2275) полемизировал со своим сверстником: «Одно стихотворение Бориса Поплавского — пестрое, бескостное: "Расцветает молчанья свинцовая роза". У современных молодых поэтов встречаются всяких видов розы, нет только садовых, и это нехорошо» (вырезка в «пресс-буке» Поплавского, без указания названия статьи и даты. Также: Набоков В.В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, рецензии. М., 1989. С. 351).

Детство Гамлета (с. 194). — Впервые: Сборник парижского Союза молодых поэтов — 1. Париж, 1929. С. 54; без заглавия и посвящения. «Флаги» — с заглавием и посвящением И.Одоевцевой.

Разночтения:

16 Только вдали было вовсе не видно земли.

Между 16 и 17:

Облако музыки к нам приближалось безмолвно
Розовый сад появлялся, клонясь на обрыв.
Там в облаках голубело огромное солнце.
Странно мечтал на скале золотой иппогриф.

21–22 Всё отплывало, как музыка в сад, как сочельник.
С башен грустили огромные флаги морей.

Одоевцева Ирина Владимировна (наст. имя и фам. Ираида Густавовна Гейнике; 1895–1990) — поэт, прозаик, мемуарист. Жена Георгия Иванова. С 1922 г. в эмиграции, в 1987 г. вернулась в СССР. Автор семи сборников стихов, нескольких романов и двух книг воспоминаний — «На берегах Невы» (1967) и «На берегах Сены» (1983). В последней книге часто упоминается Б.Поплавский.

Глетчер — горный ледник.

«Девочка возвратилась, ангел запел наугад...» (с. 195). — Впервые: Сборник парижского Союза молодых поэтов — 1. С. 22; без посвящения. «Флаги» — с посвящением М.О.Цетлину. В экземпляре Д.Шрайбман данная фамилия зачеркнута, приписано посвящение Т.Шапиро.

Разночтения:

Между 12 и 13:

В снежном лесу расцветает огнистая елка
Цепи и свечи к ней падают с неба, как снег.
Девочка, где ты услышишь волшебного волка?
Девочка дремлет, приснился ей сон о весне.

13 наст. изд. Тихо в лесу спят под корнями белые зайцы,

Цетлин Михаил Осипович (псевд. Амари; 1882–1945) — поэт, прозаик, переводчик. С 1919 г. в эмиграции. Человек довольно состоятельный, Цетлин был собирателем картин, издателем альманаха «Окно» и одним из редакторов «Современных записок».

Черный заяц (с. 196). — Впервые: Современные записки. 1929. № 39. С. 174; без заглавия и без посвящения. «Флаги» — с заглавием и посвящением Н.Оцупу.

Оцуп Николай Авдеевич (1894–1958) — поэт, критик, мемуарист. С 1922 г. в эмиграции. Основатель и редактор журнала «Числа», вокруг которого группировалась эмигрантская писательская молодежь.

Именно этим стихотворением Поплавский завоевал признание критики. Первым отозвался В.Вейдле, провозгласивший, что Поплавский «дал стихотворение прекрасное, лучшее, вероятно, из до сих пор напечатанных им, и даже если бы он ничего другого не написал, по одному этому стихотворению можно было бы понять, что оно принадлежит подлинному поэту» (Возрождение. 1929. 4 июля. № 1493). Такую же высокую оценку стихотворению дал Г.Адамович: «В нем все бессмысленно и прелестно, ничего

нельзя понять и ничего нельзя забыть. Я очень далек от желания утверждать, что именно так следует писать стихи. Наоборот, я убежден, что стихи лучше писать совсем иначе. Но победителей не судят и с ними не спорят» («Современные записки», кн. XXXIX, часть литературная // Последние новости. 1929. 11 июля. № 3032). Восторженно отозвался и П.Пильский: «Вот настоящий поэт, — окруженный видениями, горящими образами, с прекрасным воображением, вот стихи, где каждая строка блещет» (Сегодня. 1929. 5 августа. № 184).

Hommage à Pablo Picasso (с. 197). — Впервые: Современные записки. 1929. № 40. С. 242; без заглавия, с датой: 1929.

Hommage à Pablo Picasso — посвящение Пабло Пикассо *(фр.)*.

Пикассо Пабло (1881–1973) — французский художник, один из основоположников кубизма.

Снежный час (с. 198). — Впервые: ДНН-65. Вариант: «Дадафония». Включено Поплавским в список «Флагов» 1931 г.

Разночтения («Дадафония»):

7	Высоко в таинственном эфире
17–19	Он стрела ночной зари святой Отраженье чаши золотой Я встаю, ответил мальчик сонно
21–23	Я священный лыжник бедный книжник Грязный друг защитник всякой жизни Только ангел медлил умирая

«Темною весною, снежною весною...» (с. 199). — Публикуется впервые — по авторской машинописи. Включено Поплавским в список «Флагов» 1931 г.

Герольд — в странах Западной Европы в Средние века глашатай, церемониймейстер при дворах королей и крупных феодалов; распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах.

«Скоро выйдет солнце голубое...» (с. 200). — Впервые: Современные записки. 1929. № 40. С. 240–241; без посвящения. В архиве нашлась рукопись данного стихотворения под названием «Странный ангел» и с посвящением И.Одоевцевой (разночтений нет).

Несомненно, стихотворение навеяно воспоминаниями о сестре Б.Поплавского, рано умершей от туберкулеза.

Геката — в греческой мифологии богиня мрака, колдовства и сверхъестественных сил.

Мальчик и ангел (с. 201). — Впервые: Воля России. 1929. № 56. С. 72; без заглавия, с посвящением И.Г.Г. и датой: 1929. «Флаги» — с посвящением Юрию Фельзену.

Разночтения:

3 В голубом своем великолепии

Фельзен Юрий (наст. имя и фам. Николай Бернгардович Фрейденштейн; 1894–1943) — прозаик. Эмигрант. С 1924 г. жил в Париже. Принимал участие в собраниях «Зеленой лампы» и «Кочевья». В 1935 г. был избран председателем Союза молодых поэтов и писателей. В его прозе критики усматривали влияние Пруста.

Гамлет и ангел (с. 202). — Публикуется впервые — по рукописи (копия Д.Шрайбман с правкой Б.Поплавского). В списке Поплавского 1928 г. — под заглавием «Мальчик и ангел II», с посвящением Н.Оцупу; в списке 1931 г. обозначено первой строкой: «Гамлет начал стареть».

В Духов день (с. 203). — Впервые: Числа. 1930. № 1; без заглавия и посвящения. «Флаги» — с посвящением Б.Заковичу.

Разночтения:

1 Голубые карлики на скамьях собора

Закович Борис Григорьевич (1907–1995) — поэт, близкий друг Поплавского. В эмиграции с 1920 г. Публиковал стихи в эмигрантской периодике. Автор поэтического сборника «Дождь идет над Сеной» (Париж, 1984). Сыграл роковую роль в жизни Поплавского, давая ему различные болеутоляющие (наркотические) средства, которые унаследовал от отца, зубного врача. Ему посвящен сборник Поплавского «Снежный час».

В сумраке (с. 204). — Впервые: Воля России. 1929. № 10/11. С. 92; без заглавия и с датой: 1929. Опубликовано Н.Д.Татищевым в ДНН-65. Поплавский включил это стихотворение в список «Флагов» 1931 г.

Под землю (с. 205). — Впервые: «Флаги».

Сергей Кузнецов — товарищ Поплавского константинопольского периода: о нем идет речь на страницах дневника 1921 г. (см. т. 3 наст. изд.).

Лишь музыка тихо сияла из Чаши... — Имеется в виду церковный символ Священного Грааля — чаши, из которой Иисус Христос пил во время Тайной вечери.

Звездный яд (с. 206). — Впервые: Воля России. 1929. № 10/11. С. 93; без заглавия, с посвящением И.Ш. (Иде Шрайбман, в замужестве Ида Карская). «Флаги» — с посвящением И.Г.Карской.

Разночтения:

2 Голубые на столах лежали
7–8 Молодому стройному нубийцу
Придал он загадочную позу.

За строкой 12 следовало:

А профессор черный был на солнце,
Он с него следил и улыбался.
Но стучала ночь к нему в окошко,
Он ложился спать и опускался.

За строкой 16 следовало:

Под дождем к прекрасным приходил,
Приносил звезду в кармане фрака.
Как за ним Ник Картер ни следил,
Он поил их звездным ядом мрака.

22–23 Черные на башне ждали ночь.
Бедный сыщик побледнел, как роза.
30–31 Шоколадный револьвер приставил.
Ангелом он этот мир оставил.

Во «Флагах» в последней строке вместо «мир» — «лик» (опечатка).

Карская Ида Григорьевна (1905–1990) — сестра Дины Григорьевны Шрайбман, жена художника Сергея Карского, близкого друга Поплавского. Впоследствии она стала известным живописцем и графиком. В 1999 г. были опубликованы записи из бесед И.Г.Карской с В.П.Чинаевым, где несколько страниц посвящены Поплавскому. Есть там и ключ к данному стихотворению: «Познакомились мы с Поплавским, когда я еще училась на медицинском факультете. Он часто поджидал меня у выхода. Один раз я повела его даже по классам, и он потом написал остроумное стихотворение, в котором говорилось о Шерлоке Холмсе и Пинкертоне, разоблачавших в анатомическом театре всякие темные дела; в стихотворении было трое собеседников — Поплавский, я и Пинкертон» (Из бесед с В.П.Чинаевым — Ида Карская // Studies in Modern Russian and Polish Culture and Bibliography / Essays in Honour of Wojciech Zaiewski — Edited by Lazar Fleishman. Stanford, 1999. P. 214).

Мориатри (прав. Мориарти) — персонаж рассказа А.Конан Дойля «Последнее дело Холмса».

Ник Картер — сыщик, персонаж популярных в начале XX в. произведений анонимного автора.

«Проза прошла, и небо стало розовым...» (с. 207). — Впервые: Воля России. 1929. № 10/11. С. 94. Вошло в список «Флагов» 1928 г.

Саломея I (с. 208). — Впервые: Воля России. 1929. № 5/6. С. 70–71; без заглавия.

В экземпляре «Флагов» Д.Шрайбман ее рукой приписано посвящение Инне Гликман. София Сталинская, урожденная Гликман (см. стихотворение «Успение»), рассказывала автору этих строк, что Поплавский посвятил ей обе «Саломеи», вдохновительницей которых она и являлась. Возможно, здесь ошибка с именем.

Данный вариант является подлинным авторским, т.к. соответствует корректуре в экземпляре Ю.Иваска.

Разночтения:

2	Вот один еще там погас.
16	Смерть сидела на мачте белой.
20	Смерть махала черной фатой.

Саломея II (с. 209). — Впервые: Числа. 1930. № 1. С. 26; без заглавия и без даты.

В экземпляре «Флагов» Д.Шрайбман ее рукой приписано посвящение Инне Гликман.

Романс (с. 210). — Впервые: ДНН-65. Рукопись стихотворения не обнаружена, возможно, заглавие дано Н.Д.Татищевым.

Саломея... Как похож был твой голос на смерть. — По библейскому преданию, святой Иоанн Креститель был заключен в темницу правителем Галилеи Иродом Антипой за то, что обличал Ирода в сожительстве с Иродиадой, женой брата Филиппа. Во время царского пира дочь Иродиады Саломея так угодила своей пляской Ироду, что он пообещал ей дать все, что она захочет, и Саломея по наущению матери попросила себе в награду голову Иоанна Крестителя (Матф. 14:1–11; Марк 6:14–22).

Ронсеваль — ущелье в Пиренеях, где произошло сражение войск Карла Великого с басками в 778 г. Этому событию уделено значительное место во французском эпосе «Песнь о Роланде».

Розы Грааля (с. 211). — Впервые: «Флаги».

Гарденина Ольга Николаевна — константинопольская знакомая Б.Поплавского (1921). Ей посвящены и два стихотворения из юношеской книги «Пропажа»; ее имя упоминается Поплавским в дневнике 1921 года.

Успение (с. 212). — Впервые: «Флаги».

Успение — церковный праздник в честь преставления Богоматери (28 августа н.ст.).

Сталинская (в замужестве Лаффит) *София Григорьевна* (1901–1979) — парижская знакомая Поплавского, филолог-славист. В 1948–1962 гг. сотрудница Национальной библиотеки, где создала Славянский отдел; впоследствии профессор русской ли-

тературы — сначала в Сорбонне, потом в Университете Париж-X Нантер. Автор содержательных работ о Чехове, Толстом, русских поэтах XIX в., Блоке, она умела привить любовь к русской литературе и культуре своим студентам. Именно на одной из лекций этой замечательной женщины автор данных строк впервые услышала о Борисе Поплавском.

Жалость к Европе (с. 213). — Впервые: «Флаги».

Это стихотворение перекликается со статьей Поплавского «Среди сомнений и очевидностей», где автор, сравнивая Европу 1932 года с Римской империей накануне исчезновения, предсказывает ее гибель.

Слоним Марк Львович (1894–1976) — публицист, литературный критик, переводчик. Занимался также политической деятельностью — был самым молодым депутатом от партии эсеров в Учредительном собрании. С 1919 г. в эмиграции — жил во Флоренции, Праге, Париже. Один из редакторов журнала «Воля России» (1922–1932), активно сотрудничал в «Числах» и ряде других журналов эмиграции.

Дух музыки (с. 214). — Впервые: Воля России. 1930. № 9. С. 714; с разделением на четверостишия и датой: 1929. Во «Флагах» датировано: 1930.

Разночтения:

3	Там жизнь была, и в десяти шагах
9	На зовы труб, над пропастью лазурной.
28	С необъяснимою улыбкой соловьиной.

Энигматический — загадочный *(лат.)*.

Angelique (с. 215). — ДНН-27; без заглавия. Впервые опубликовано: «Флаги».

Разночтения:

26	И у каждой печаль и понос.

Angelique — ангельское *(фр.)*.

В отдалении (с. 216). — Впервые: Воля России. 1929. № 10/11. С. 91; без заглавия.

Разночтения:

10–11	Все, что было, плыло перед ними В роковом сиянье белоснежном

Курзал — помещение на курорте для концертов и собраний.

Зима (с. 217). — Впервые: Числа. 1930–1931. № 4; без заглавия, посвящения и даты.

Разночтения:

4	В парке замерзшем деревьев блестят камыши.
11	Мертвые души с огнями спустились под землю.
16–20	Шествуют желтые, мутные признаки газа. Всё затихает. На башне молчат великаны. Всё изменяется к утренним страшным часам. Мертвое небо белесым большим тараканом В черное сердце вползает нагим мертвецом.

Вспомнить — воскреснуть (с. 218). — Впервые: Воля России. 1933. № 3; без заглавия и разбивки на строфы, с датой: 1925.

Остров смерти (с. 218). — Впервые: «Флаги».

Шрайбман Дина Григорьевна (1906–1944) — близкая знакомая Поплавского, муза многих его стихотворений, впоследствии жена его друга Н.Д.Татищева. Некоторые современники считали ее прототипом Терезы из романа «Аполлон Безобразов».

Дух воздуха (с. 219). — Впервые: Числа. 1930–1931. № 4. С. 19; без заглавия, посвящения и даты. «Флаги» — с посвящением А.Присмановой.

Разночтения:

5	Под березами в мертвом лесу
7–8	Серый заяц стоит над ним Лапой трогает желтый нимб.
13–14	Боже Господи! как глубоко, Как легко, как от земли далеко.
21	Лучше, чем жить в золотом раю.

В экземпляре Ю.Иваска:

21	Слаще, чем жить в золотом раю.

Lumière astrale (с. 220). — Впервые: «Флаги».

В экземпляре Ю.Иваска в 1-й строке исправлено по указанию Поплавского: «Тайна» вместо «Тайно».

Lumière astrale — звездный свет *(фр.)*.

Мистическое рондо III (с. 221). — Впервые: «Флаги».

Морелла I (с. 222). — Впервые: Современные записки. № 42. С. 212.

Разночтения:

2	Привиденье рассвета уже появлялось в кустах.
15	Ты, как черный немой ореол, осеняла судьбу.
18	О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни

В экземпляре Ю.Иваска ст. 18 соответствует варианту «Современных записок»: «орлиные» вместо «огромные».

В экземпляре Д.Шрайбман ее рукой вписано посвящение Иде Шрайбман.

Это стихотворение чаще других воспроизводилось в антологиях русской зарубежной поэзии и цитировалось в статьях о Поплавском. В своих воспоминаниях «Встречи» Ю.Терапиано приводит из него строки, которые считает пророческими: «Ты орлиною лапой разорванный жемчуг катала, / Ты как будто считала мои краткосрочные годы...» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1959. С. 112). В свое время В.Сирин, громя в своей рецензии «Флаги», тем не менее, приводил в качестве удачных стихов именно цитату из «Мореллы I»: «...соблазняет слух мимолетная интонация... прекрасный звук следующей — довольно, впрочем, бессмысленной — строки: "О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни..."...Пафос, рокот, напряжение... Целый день можно повторять...» В конце статьи будущий Набоков, процитировав еще раз этот стих, признаётся: «Вот звучит это — ничего не поделаешь, звучит — а ведь какая бессмыслица...» (Руль. 1931. 11 марта. С. 5).

Морелла — героиня одноименной новеллы Э.По.

Созвездие Лиры — находится в Северном полушарии, наиболее яркая звезда — Вега.

Пэри — в персидской мифологии эфирное существо, наделенное необыкновенной красотой; добрый гений в виде крылатой девы, охраняющий от злых духов.

Морелла II (с. 222). — Впервые: Современные записки. № 42. С. 213.

Серафита I (с. 223). — Впервые: «Флаги». Датируется по спискам Поплавского.

На своем экземпляре Д.Шрайбман приписала над этим стихотворением, а также над стихотворением «Серафита II» посвящение С.Г.Сталинской. Она же исправила в ст. 4 «вспоминаешь» на «вспомнишь», что представляется более логичным.

Серафита (Серафит) — андрогин, персонаж мистического романа О.Бальзака «Серафита».

Тангейзер (ок. 1205–1270) — немецкий поэт-миннезингер. Участвовал в легендарном состязании певцов «Вартбургская война». В XIV в. возникла легенда о пребывании Тангейзера в волшебном гроте древнегерманской богини Хольды.

Серафита II (с. 224). — Впервые: «Флаги». Датируется по спискам Поплавского.

Стоицизм (с. 225). — Впервые: Числа. 1930–1931. № 4. С. 20; с датой: 1928–1930.

Разночтения:

10–11 Под зеленым пологом каштанов
Высыхал гранит бледно-лиловый,
14 Спал на теплых досках император
17 А на башне под смертельным небом
25 И о том как осияв прекрасно
29 Утираясь, фыркали атлеты,

Акведук — сооружение в виде каменного моста, служащее для перевода водопроводных труб, оросительных каналов через глубокие овраги.

Центурион — командир подразделения (центурии) в древнеримском легионе.

«Целый день в холодном, грязном саване...» (с. 226). — Это и следующее стихотворение («Мир был темен, холоден, прозрачен...») впервые опубликованы как одно стихотворение — под заглавием «Воскресенье осенью» и с датой 1931: Последние новости. 1931. 17 января. № 3587. С. 3.

Разночтения («Целый день в холодном, грязном саване...»):

14 Листопад смотрели на бульваре

Разночтения («Мир был темен, холоден, прозрачен...»):

7 Все грустя работают и снова

«Тихо в доме, люди вышли к миру...» (с. 227). — Публикуется впервые — по авторской машинописи. Включено Поплавским в список «Флагов» 1931 г.

Белое сияние (с. 228). — Впервые: ДНН-65. Значится в авторском списке «Флагов» 1930 г.

«Солнце нисходит, еще так жарко...» (с. 229). — Впервые: Современные записки. 1930. № 44. С. 217; без посвящения и даты. «Флаги» — с посвящением Г.Адамовичу

Разночтения:

4 И желтые листья на темной воде.
8 Как быстро, как неожиданно время прошло.
12 Быть может мы летом расстались с Тобой.

Ст. 8 можно считать правильным авторским вариантом. Заменив «лето» на «время», Ю.Иваск приписал на своем экземпляре: «Поплавский не захотел дважды повторить слово “лето”!»

ДОПОЛНЕНИЕ К «ФЛАГАМ»

Девять следующих стихотворений были опубликованы в конце сборника «В венке из воска» (Париж, 1938) под общим заголовком: «Дополнение к “Флагам”». Они встречаются в хронологических списках стихов Поплавского за 1928–1930 гг., чередуются со стихами, вошедшими во «Флаги», но собственно в список «Флагов» не были включены.

«Мальчик смотрит: белый пароходик...» (с. 234). — Впервые: ВВИВ.

В архиве имеется более ранний вариант, рукописный, под заглавием «Солнце судьбы» и с разбивкой на шесть строф (не исключено, что три недостающих строфы были записаны на затерявшемся листе).

Есть следующие разночтения:

1–3	Люди смотрят. Тихо пароходы Ускользают вдоль по горизонту. Каждый думает...
9	«Грустно людям...
13–16	Там умрут матросы в белом море Пар уснет в своей тюрьме стальной, И она столкнется в ясном море С ледяной высокою стеной.

После переработки стихотворение стало ближе к «детским стихам», включенным Поплавским во «Флаги».

В «Дадафонии» опубликован вариант стихотворения:

Мальчик думает а я остался
Снова не увижу Южный крест
Далеко в раю над ним смеялся
Чей-то голос посредине звезд

Милый милый от земли до рая
Простираются миры зари
Острова заката где играют
С ангелами мертвые цари

В океане там двойные зори
В облаках закаты-города
А когда приходит вечер — в море
Розовая синяя вода

Улетаем мы грустить на звезды
Закрываем в дирижабле шторы
А кругом идет блестящий дождик
Из промытых синих метеоров

«Нездешний рыцарь на коне...» (с. 236). — Впервые: ВВИВ. В машинописном варианте указано время сочинения стихотворения: 1925–1934 (это лишний раз подтверждает тот факт, что Поплавский постоянно перерабатывал свои стихи), но посвящение отсутствует.

Paul Fort — Поль Фор (1872–1960), французский поэт-символист.

Мерлен (Мерлин, Мирддит) — волшебник, герой кельтской мифологии, легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

«Темен воздух. В небе розы реют...» (с. 237). — Впервые: Современные записки. 1931. № 46. С. 166–167; с датой: 1931.

СНЕЖНЫЙ ЧАС

Посмертный сборник стихов, подготовленный к печати Диной и Николаем Татищевыми, был издан усилиями друзей погибшего поэта, в частности благодаря значительной финансовой помощи Михаила Ларионова. Из заявлений, помещенных в «Последних новостях» от 5 и 30 января 1936 г., мы узнаем, что «для скорейшего издания произведений, в стихах и в прозе, трагически погибшего поэта Бориса Поплавского, друзья его устроили фонд, основанием которого послужила "выручка от розыгрыша картин, рисунков и эскизов художественной коллекции покойного"», включавшей работы наилучших представителей «парижской школы», среди которых числились Ларионов, Ланской, Пуни, Фужита, Берман, Андре Лотт и многие другие. Помимо уже готового к печати сборника «Снежный час» планировалось издать еще «В венке из воска» и «Дирижабль неизвестного направления». Первый проект удалось осуществить, а вот последний сборник вышел в свет лишь в 1965 г., через тридцать лет после гибели поэта.

В «Последних новостях» от 30 января 1936 г. сообщается, что «Снежный час» «содержит в себе 80 стихотворений», в то время как список Бориса Поплавского включает 183 названия. Стихотворения в нем, как правило, обозначаются первой строкой и выстроены в хронологическом порядке. Далеко не все из них вошли в «Снежный час»: некоторые позже были включены самим поэтом в книгу «Над солнечною музыкой воды», другие изъяты его душеприказчиком Н.Д.Татищевым для различных публикаций.

В этой ситуации нам показалось уместным пополнить сборник 1936 года, содержащий всего сорок семь стихотворений, теми стихами из списка Поплавского, которые удалось найти (список составлен поэтом 22 июня 1934 г. — дата зафиксирована на первой странице после следующих слов: «еб... их мать. Писал для Бога и для [себя?]»).

Второй вышедший из печати сборник стихов Поплавского не заслужил признания критики. Гайто Газданов, например, считал, что «это книга менее замечательная, менее эффектная и почти тусклая по сравнению с прежними стихами Поплавского» (Газданов Г. Борис Поплавский. «Снежный час» // Современные записки. 1936. № 61. С. 465). Во многом он выражал мнение читающей публики, которая, не найдя в «Снежном часе» той атмосферы, которая так пленила ее во «Флагах», решила, что вдохновение и талант поэта иссякли. Однако несмотря на первое впечатление, по выражению Газданова, «тусклости» и «медленного охолодения поэзии», здесь есть «удивительные строчки, которых никто бы не мог написать, кроме него, есть никогда не покидавшая его музыкальность» (Там же).

Газданову возражал Юрий Мандельштам, утверждавший, что в новой книге Поплавский «духовно и душевно сильно изменился и созрел» и находился «накануне полного освобождения от всяких влияний, полного нахождения самого себя» (Мандельштам Ю. Б.Поплавский. «Снежный час» // Круг (Берлин). 1936. № 1. С. 177–179). Николай Татищев также считал «снежные» стихи самыми зрелыми стихами Поплавского. «Музыка преодолена, — писал он в статье "Поэт в изгнании". — Последние стихи сжаты, обнажены, без декораций, словесных и иных. Все, что было им столько раз мучительно обдумано, взвешено на внутренних весах, тысячу раз на разные лады повторено, все самое личное, тайное, скрытое, вдруг стало общим: родился новый, вполне индивидуальный звук... [Поплавский] дошел до конца и родил свою поэтическую личность» (Татищев Н. Поэт в изгнании // Новый Журнал (Нью-Йорк). 1947. № 15. С. 206).

Уход из Ялты (с. 241). — Впервые: ДНН-65. Вошло в список Поплавского от 22 июня 1934 г.

«Снег идет над голой эспланадой...» (с. 243). — Впервые: Последние новости. 1935. 17 октября. № 5320.

«В зимний день на небе неподвижном...» (с. 243). — Впервые: Ллойд-журнал (Париж–Берлин).1931. № 1. С. 10; под заглавием «Снежный час», без даты.

Разночтения:

13–16 отсутствуют

Между 24 и 25:

За стеной, быть может, елка светит.
Там грустят, играют на рояле,
Кашляют и спорят на рассвете,
Может быть, мечтают о Граале.

Так поймем мы голоса во мраке
И, закрыв глаза, запомним муки.
Будем им свидетелями в страхе.
Им о них расскажут наши звуки.

Мы окаменели? Нет, вы воздух.
Вы святыми, вы немыми были.
Помните: вас слушали на звездах,
Плакали и музыку забыли.

«В горах вода шумит; под желтыми листами...» (с. 244). — Первое стихотворение этого цикла впервые: Современные записки. 1932. № 50. С. 230; без разделения на строфы.

Разночтения:

11 И с тем восстал сиянием из праха

«На мраморе среди зеленых вод...» (с. 247). — Впервые: ВВИВ. Вошло в список Поплавского от 22 июня 1934 г.

Фиал — чаша, сосуд.

«Трава рождается, теплом дорога дышит...» (с. 248). — *Сибилла* (Сивилла) — в Древней Греции так называли странствующих пророчиц.

Ектенья (с. 249). — Впервые: ДНН-65; заглавие, по всей вероятности, приписано Н.Д.Татищевым. Вошло в список Поплавского от 22 июня 1934 г.

Ектенья — молитва, читаемая дьяконом или священником.

Бескорыстье (с. 252). — Впервые: ДНН-65. Вошло в список Поплавского от 22 июня 1934 г.

«Над пустой рекой за поворотом...» (с. 254). — Первое стихотворение цикла, впервые: Числа. 1933. № 9. С. 18; без посвящения, даты и разделения на строфы. «Снежный час» — с посвящением Д.Ш. (Дине Шрайбман; о ней см. коммент. к стихотворению «Остров смерти» сб. «Флаги»).

Разночтения:

3–4 Занесло железные ворота
И предместье замело до глаз.
6–7 Чуть пригнутся белые кусты,

Может быть, что я тогда услышу
10 За себя, за счастье не борюсь.
15 Счастлив он, что к жизни не вернется,
19 Сон и снег, молчание и память
21 Знаю, помню, только где забыла
25–26 Сон живет, но утро неизбежно.
Спит земля и слабый свет потух.
28 Закричал и замолчал петух.

«Ранний вечер блестит над дорогой...» (с. 259). — Впервые: Числа. 1932. № 6. С. 17. Вариант значительно отличается — приводим его полностью:

Ранний вечер блестит над дорогой.
Просветлело, и дождь перестал.
Еле видимый месяц двурогий
Над болотною речкою встал.

Слышен лай отдаленной собаки,
В полутьме у ворот голоса.
Всё потеряно где-то во мраке,
Всё во прахе забыло Творца.

Неприветлива чаща сплошная.
Где-то стрелочник тронул свирель,
Осыпает ворона ночная
С облетающих кленов капель.

Ночь, нездешняя ночь над пустыней,
Исполинов сверкающих мать,
В тишине ты не плачешь над ними,
Не устанешь их блеску внимать.

Мне писать и работать нет мочи.
Днем так улицы страшно стучат.
Почему же в сиянии ночи
Не родился я вечно молчать.

В синей бездне гореть бесполезно,
Разорваться и долго потом
Разноситься лучами ко звездам,
Проноситься в пространстве пустом.

Значит, было какое-то дело,
Буду думать, колени склоня,

Ждать, чтоб утром мне птица пропела,
Что хотела судьба от меня.

То, что я понимал на рассвете,
Но забыл, опустившись во зло.
Отчего всем так больно на свете,
Отчего так во мраке светло.

1931

«Печаль зимы сжимает сердце мне...» (с. 268). — Впервые: ВВИВ.

Il neige sur la ville (с. 268). — *Il neige sur la ville* — Над городом идет снег *(фр.)*.

«Ты устал, отдохни...» (с. 271). — Впервые: Числа. 1932. № 6. С. 18; с датой: 1931.

«Ты устал, приляжем у дороги...» (с. 272). — Впервые: Числа. 1932. № 6. С. 19; с датой: 1932. Вошло в список Поплавского от 22 июня 1934 г.

Пан — в греческой мифологии божество стад, лесов и полей.

Цевница — русский многоствольный духовой инструмент типа флейты Пана.

«Всё спокойно раннею весною...» (с. 274). — Впервые: Современные записки. 1931. № 46. С. 167; с датой: 1931.

Разночтения:

Между 16 и 17:
Ты один наплачешься, устанешь,
Отойдешь ко сну, и там, во сне,
Может быть, иное солнце встанет?
Может быть, иного солнца нет?

21 (17 наст. изд.)
Незаметно чахнет воскресенье.

28 (24) Зазвенит печально синема.

Рецензируя 46-ю книгу «Современных записок», Г.Адамович писал: «Поплавский туманен, расплывчат, остроумен, нежен, “неясен, как падающий снег, и, как падающий снег, уводит мечту”, — если воспользоваться давними словами Бальмонта о Блоке» (Последние новости. 1931. 4 июня. № 3725).

В отзыве о той же книге «Современных записок» В.Вейдле отмечал «два чересчур длинных, но проникнутых подлинной поэзией стихотворения Бориса Поплавского, в которых исчезли недостатки, присущие многим недавним его стихам» (цитата, вклеенная Поплавским в свой «пресс-бук»; источник не установлен).

Синема — устаревшее название кинематографа.

«В зимний день всё кажется далеким...» (с. 276). — Впервые: Последние новости. 1931. 31 декабря. № 3935.

Напрасная музыка (с. 280). — Впервые: ДНН-65 (заглавие, вероятно, дано Н.Д.Татищевым). Вошло в список Поплавского от 22 июня 1934 г.

«В сумерках ложились золотые тени...» (с. 280). — Впервые: Ллойд-журнал. 1931. № 1. С. 11; без посвящения, с датой: 1931. Вариант имеет значительные расхождения и приводится здесь полностью:

В сумерках ложились золотые тени.
Рыболов был тихо освещен.
Видели, быть может, сны растенья.
Нищий спал, опершись на мешок.

Загорались лампы в магазине,
И лежал на темной мостовой
Высоты померкшей отблеск синий.
Ласточки прощались с синевой.

Молча гаснут золотые дали.
Тьма лицо скрывает горемыки.
В маленькой квартире мы читали.
В сумерках откладывали книги.

Скоро будем в темноте обедать,
Слушать стекол жалобную дробь.
Может быть, неловко, напоследок,
Перекрестим лоб.

Что ж, никто не знает, кто как жил.
Кто любил, кто ждал освобожденья.
Тихо руки на груди сложил,
Превратился сам в свое виденье.

Не хотел спасения и чуда.
Тише пел, смирялся, уставал.
Сон, как черный неземной Иуда,
В детский лоб его поцеловал.

Высоко у Имени Господня
Дух часов хранит его судьбу.
Звон раздастся. В черной преисподней
Утро вздрогнет в ледяном гробу.

1931

Д.Ш. — Дина Шрайбман — см. коммент. к стихотворению «Остров смерти» (сб. «Флаги»).

«Всматриваясь в гибель летних дней...» (с. 281). — *Сады Гесперид* — см. коммент. к стихотворению «Art poétique» («Поэзия, ты разве развлеченье?..») — в разделе «Дополнение к "Дирижаблю неизвестного направления"».

«Вечер сияет. Прошли дожди...» (с. 282). — *Певец Мореллы* — Эдгар По, автор одноименной новеллы.

«Дали спали. Без сандалий...» (с. 283). — Впервые: Числа. 1934. № 10. С. 276–277; в тексте «Дневник Аполлона Безобразова», без разбивки на строфы и без последних двух строф.

Миро (мирра) — благовонное масло, употребляемое для христианских обрядов.

Флаги спускаются (с. 284). — Н.Д.Татищев писал об этом стихотворении: «Здесь изображено утро после народного праздника в Париже, может быть после 14 июля. Улица, дождь. Восковые бюсты манекенов в магазине мод. Сворачивают трехцветные флаги, сыгравшие свою роль, поэт сравнивает себя с одним из них. Он исполнил свое назначение и благословляет своего неизвестного заместителя на подвиг жертвы» (Татищев Н. Поэт в изгнании // Новый Журнал. 1947. № 15. С. 205).

«Зимний просек тих и полон снега...» (с. 285). — *Магдалина* — Мария Магдалина.

«Тень Гамлета. Прохожий без пальто...» (с. 286). — *Христос, конечно, в Армии Спасения.* — Армия Спасения — христианское благотворительное общество.

Молитва (с. 288). — Впервые: ДНН-65.

«Рождество расцветает. Река наводняет предместья...» (с. 289). — Впервые: Современные записки. 1932. № 49. С. 210; без даты и разделения на строфы.

Разночтения:

4–5 Ровной синею нотой блестит на замерзшем пруде.
Четко слышится шаг, в тишине без конца повторяясь,

9–10 Рождество за окном. Отчего же такое молчанье?
Почему все черно и очерчено четко везде?

13–15 Всё так чисто и пусто, всё так лучезарно на свете,
Всё смирилось судьбе и к луне обратилось давно.
Кратко колокол звякнул. На брошенной кем-то газете

Между 20 и 21:

Значит, где-то не здесь и не в городе счастье родилось,
Значит, где-то в лесу, где под елями снег недвижим,
В абсолютном смиренье впервые в нас сердце забилось
И на миг показалось, что с звездами мы говорим.

26–27 (22–23 наст. изд.)

Всё как будто ждало и что спугана птица шагами
Лишь затем, чтоб напомнить, как призраки жизни
страшны.

В отзыве на 49-ю книгу «Современных записок» И.Голенищев-Кутузов приводит первую строфу данного стихотворения как доказательство того, что «у Бориса Поплавского неприятно поражает расплывчатая муть образов» (Возрождение. 1931. 2 июня. № 2557).

За чтением святого Франциска (с. 290). — Вошло в список Поплавского от 22 июня 1934 г. Публикуется впервые; подготовлено к печати С.Н.Татищевым.

НАД СОЛНЕЧНОЮ МУЗЫКОЙ ВОДЫ

Цикл стихов, навеянных любовью поэта к Наталии Ивановне Столяровой (1912–1984), вошел в посмертный сборник Поплавского «Снежный час» (Париж, 1936). В настоящем издании он по воле Поплавского представлен как отдельная книга, куда включены еще два, по неясным причинам выпавшие из «Снежного часа», но фигурирующие в списке Поплавского стихотворения: «На песке, в счастливый час прибоя...» и «Отцветает земля...».

Поплавский и Столярова, послужившая позднее прототипом Тани из романа «Домой с небес», познакомились в 1931 г.; в 1932 и 1934 гг. они проводили лето в Фавьере, «русском поселке», расположенном на берегу Средиземного моря. «Весь цикл “Над солнечною музыкой воды” вдохновлен открытием, “что, может быть, весенний прекрасный мир и радостен и прав”», — писал В.Варшавский (Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 195).

Однако отъезд Н.И.Столяровой в Россию в конце 1934 г., невозможность последовать за нею и тяжелые условия жизни во Франции в предвоенный, кризисный период не позволили поэту вырваться из плена невроза и обрести желанный душевный покой: 8 октября 1935 г. Борис Поплавский скончался.

«Богу родиться в земном, человеку родиться в небесном...» (с. 294). — *Татищев Николай* Дмитриевич (1902–1980) — поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист; давний друг Поплавского и его душеприказчик. В начале 1919 г. под чужой фамилией вступил в Красную армию, на фронте перешел на сторону Белой армии. В ноябре 1920 г. из Крыма эмигрировал в Константинополь, оттуда — во Францию. В 1933 г. женился на Дине Григорьевне Шрайбман (1906–1940), музе Поплавского. Всю жизнь хранил

архив поэта и передал его своим сыновьям, Борису и Степану Татищевым.

«В ярком дыме июньского дня...» (с. 294). — Впервые: Последние новости. 1932. 26 мая. № 4082.

Эол — в античной мифологии бог ветров.

«Там, где тонкою нитью звеня...» (с. 295). — Впервые: Последние новости. 1932. 30 июня. № 4117.

Д.Ш. — Дина Шрайбман.

«Ветер легкие тучи развеял...» (с. 297). — Впервые: Числа. 1933. № 9. С. 17; без разделения на строфы.

Разночтение:

5 Желтый просвет проходит горами

Затихает душа, замирает, / Забывает сама о себе. — Ср. фрагмент из дневника 1934 г.: «О созерцание, смерть, обморок, утрата и вдруг неожиданное воспарение души, забывающей наконец о себе...» («Неизданное», с. 205).

«Стекло блестит огнем...» (с. 298). — Впервые: Последние новости. 1934. 8 февраля. № 4705.

«Над солнечною музыкой воды...» (с. 299). — Впервые: Современные записки. 1933. № 52. С. 186; без даты.

Разночтения:

7–8 Который раз мне так раскрылся мир
Мучительной, но солнечной забавой.
13 Молчит весна. Всё ясно мне без слов.
21 Покрылось море темной синевою,
24 Поплыло прочь в небесное стекло,
26 С доверьем дивным поручась судьбе,
28 В исчезновении не плача о себе...

Дата 1934 в издании 1936 г. ошибочна. По словам Н.И.Столяровой, стихотворение было написано в 1932 г., что соответствует и спискам Поплавского.

«Разметавшись широ́ко у моря...» (с. 300). — Впервые: Современные записки. 1932. № 50. С. 229; без разделения на строфы.

Разночтения:

19–21 Закрываюсь ладонью от света
У широкого моря в плену.
Там, в немолчном своем разговоре
26 В незаметном скольженье своем —
29 И на ней, в золотом равновесьи

«Сегодня сердце доверху полно...» (с. 301). — Впервые: Последние новости. 1933. 15 июня. № 4467.

«Летний вечер темен и тяжел...» (с. 302). — *Варшавский Владимир* Сергеевич (1906–1978) — прозаик, мемуарист, литературный критик. С 1918 г. в эмиграции. Окончил юридический факультет Парижского университета. Примыкал к группе «Кочевье». Автор книг «Семь лет» (1950), «Незамеченное поколение» (1956), «Ожидание» (1972), «Родословная большевизма» (изд. 1981).

«Чудо жизни в радостном движенье...» (с. 304). — *Н.П.* — Нина Постникова, парижская знакомая Поплавского (о ней см. запись в дневнике поэта от 16.02.1934 в т. 3 наст. изд.).

Домой с небес (с. 305). — Впервые: Встречи (Париж). 1934. № 3. С. 112–113; без посвящения, с датой: 1933.

Разночтения:

6	Ресницами травы пошевелила
15	В дыму дождя оно проснулось вновь,
21	В дыму грозы, темнел закат в пыли
27	Холодным небом, в радостной мольбе
29–30	Домой с небес, в чуть слышный шелест трав, Издалека, в суглинок косогора.
37	Так незаметно радость расцвела

Домой с небес — первоначально Поплавский хотел дать это название всему сборнику стихов: «Домой с небес, или Над солнечною музыкой воды» — «это стихи после “Флагов”, от которых сейчас так несправедливо больно». Но затем заголовок перешел к его второму роману.

«Холодное, румяное от сна...» (с. 306). — Поплавский записал в дневнике 10 марта 1934 г. об этом стихотворении: «...оно вышло полуживое, между двумя жизнями — Ниной и Наташей (имеются в виду Нина Постникова и Наталия Столярова. — *Е.М.*)» («Неизданное», с. 216).

«Жарко дышит степной океан...» (с. 307). — *Эту книгу, что носишь с собою, / Ты читаешь? — Нет, слушаю лес.* Ср. в романе «Домой с небес»: «После обеда Безобразов исчезал с книгою, которую, не читая, вечно носил с собою, ощупью впитывая-вбирая ее содержание».

«На песке в счастливый час прибоя...» (с. 309). — Впервые: Современные записки. 1934. № 54. С. 192.

«Отцветает земля. Над деревнею солнце заходит...» (с. 310). — Впервые: Современные записки. 1935. № 58. С. 22.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИХИ

Весной 1998 г. была разыскана значительная часть архива Б.Поплавского, считавшаяся до тех пор утерянной, в том числе и сборник «Автоматические стихи». Он подготовлен к печати самим поэтом и посвящен Дине и Николаю Татищевым. Стихи эти в основном перепечатаны на машинке, но носят следы авторской правки, встречаются и рукописные варианты. В 1999 г. они были опубликованы мною и А.Н.Богословским отдельной книгой: Поплавский Б. Автоматические стихи / Вступ. ст. Е.Менегальдо; подгот. текста А.Богословского, Е.Менегальдо. — М.: Согласие, 1999. Правда, в то издание не вошло около двух десятков стихотворений, в свое время изъятых Н.Д.Татищевым и помещенных им в ДНН-65. В настоящем издании «Автоматические стихи» впервые публикуются в том виде, как того желал сам автор.

Открытия Зигмунда Фрейда о бессознательных процессах, управляющих человеческой психикой, навели сюрреалистов на мысль о том, что надо писать как бы «под диктовку» бессознательного.

В полном согласии с сюрреалистами Поплавский отмечает, что автоматическое письмо «состоит... в возможно точной записи внутреннего монолога, или, вернее, всех чувств, всех ощущений и всех сопутствующих им мыслей, с возможно полным отказом от выбора и регулирования их, в чистой их алогичной сложности, в которой они проносятся» («По поводу... Джойса»). Благодаря тончайшему записывающему прибору, изобретенному сюрреалистами в их «лаборатории», поэту удается с максимальной верностью и точностью уловить и передать колеблющуюся, неустойчивую стихию внутренних озарений, переживаний, мимолетных ощущений.

Погружение в индивидуальное, в личное — вовсе не «любование своим пупом», а единственный способ приобщиться к сверхиндивидуальному: «Абсолютно индивидуального нет ничего. Абсолютно несимптоматичного, не отражающего целого духовной жизни, нет ни одного поступка, ни одной причуды. И даже в нарочитом чудачестве еще более отражается духовная музыка, как в нарочито измененном почерке еще более явствует то, к чему довлеет человек...» (запись в дневнике Поплавского от 21 декабря 1928 г.).

Именно в этой стихии и зарождается стихотворение. «Поэт говорит из некоего центра, которому трудно дать название. Это не душа, а особая сверхличная нейтральная сфера», к которой человек прикасается в грезах, сновидениях, поэтическом вдохновении, — подтверждает Н.Д.Татищев. По свидетельству Поплавско-

го, «ничего живого нельзя написать, если сперва не увидеть этого во сне... Потому что во сне мое "я" уничтожается, и это и есть начало вхождения в настоящую жизнь. Даже когда во сне главную роль играет одно лицо, а не множество действующих лиц, как в театре, этот единственный герой не совпадает с "я" наяву. Фон сна, его пейзаж, тоже имеет мало общего с городами и комнатами, где мы жили... Ум и память во сне замирают, как бы впадают в обморок, и это полезно для нас» (Татищев Н. Из разговоров с Борисом Поплавским // «Неизданное», с. 229). Поплавский стремился донести до читателя свои чувства и ощущения, создавая «некие "загадочные картины", в которых известное соединение образов и звуков чисто магически вызывало бы в читателе ощущение того, что предстояло мне» («Ответ на литературную анкету журнала "Числа"»).

«У другого, — пишет Н.Д.Татищев, — такой метод писания вылился бы во что-то бледное, неопределенно-расплывчатое, тусклое — в конечном итоге, в пустоту. У Поплавского это жизнь, насыщенная содержанием, кровью, болью... постепенно хаос начинает проясняться и из кажущегося нагромождения образов и сновидений вырастает пейзаж, таинственный, но отчетливый, как вечерние гавани с кораблями Клода Лорена» (Татищев Н. Поэт в изгнании // Новый Журнал. 1947. № 15. С. 199).

В той же манере выдержаны и многие лирические отступления в прозе Поплавского, например в романе «Аполлон Безобразов».

«На аэродроме побит рекорд высоты...» (с. 315). — Впервые: Числа. 1934. № 10. С. 277; в тексте «Дневник Аполлона Безобразова», без разбивки на строфы и с незначительными разночтениями.

«Черное дерево вечера росло посредине анемоны...» (с. 316). — Впервые: ДНН-65; под названием «Мнемотехника» (дано Н.Д.Татищевым).

Мнемотехника — совокупность приемов, помогающих запомнить нужные сведения.

Анемоны — отряд морских кишечнополостных животных класса коралловых полипов. Тело их цилиндрическое, мешковидное, с мускулистой подошвой, при помощи которой животное может медленно передвигаться. На верхнем конце тела имеется рот, окруженный венчиком щупалец. Известны также виды, ведущие плавающий образ жизни. Обычно ярко окрашены.

«Беззащитный сон глубины...» (с. 320). — Впервые: Числа. 1934. № 10. С. 280; в тексте «Дневник Аполлона Безобразова», без разбивки на строфы и с добалением следующей концовки: «Ну, крепитесь, он пал... замрите... Сбылся сон ледяной о вас».

«Святым не надо бессмертия...» (с. 320). — Впервые: ДНН-65; под названием «Комната во дворце далай-ламы» (дано Н.Д.Татищевым).

Далай-лама — первосвященник ламаистской церки в Тибете.

«Это и были Лериды...» (с. 321). — *Лерида* — город на северо-востоке Испании, в Каталонии, в предгорьях Пиренеев, административный центр провинции Лерида.

«Отдаленные звуки неба...» (с. 321). — Впервые: ДНН-65; как первое стихотворение цикла «Весна в аду». Название дано Н.Д.Татищевым.

«От высокой жизни березы...» (с. 322). — Впервые: Числа. 1934. № 10. С. 276; в тексте «Дневник Аполлона Безобразова», без разбивки на строфы.

«Отшельник пел под хлороформом...» (с. 328). — Впервые: Числа. 1934. № 10. С. 281; в тексте «Дневник Аполлона Безобразова», без разбивки на строфы.

«Голоса цветов кричали на лужайке...» (с. 330). — Впервые: ДНН-65; под названием «Рембрандт» (дано Н.Д.Татищевым).

«Пироскаф дымок распускал...» (с. 331). — *Пироскаф* — первоначальное название парохода (от *греч.* pyr — огонь и skaphos — судно).

«Вечный воздух ночной говорит о тебе...» (с. 331). — Впервые: Числа. 1934. № 10. С. 279; в тексте «Дневник Аполлона Безобразова», без разбивки на строфы и с незначительными разночтениями.

«Я живу на границе твоей...» (с. 332). — *Светлана* — героиня одноименной баллады В.А.Жуковского.

Иона в уста поцелуй / В уста Иоанна — Имеются в виду один из двенадцати еврейских малых пророков Иона и Иоанн Креститель — эти святые были беспомощны перед лицом упорного неприятия их миссии на земле.

«Где ты, энигматическое сердце?..» (с. 333). — Впервые: ДНН-65; как второе стихотворение цикла «Дни потопа». Название дано Н.Д.Татищевым.

«Я слушаю: так далеко не слышно...» (с. 336). — Впервые: ДНН-65; под названием «По ту сторону Млечного Пути» (дано Н.Д.Татищевым).

«Страшно было это рождение камня...» (с. 339). — *Нам являлось лицо бледно-синей Медузы...* — Имеется в виду горгона Медуза, в греческой мифологии женщина-чудовище, чей взгляд превращал смотрящих на нее в камень.

«Перекрестный ветер, вечер синий и тревожный...» (с. 340). — *Ушеров дом* — имеется в виду рассказ Э.По «Падение дома Ашеров».

«Тот кто лишается времени...» (с. 341). — *Чаша Пилата* — имеется в виду эпизод с омовением рук, когда прокуратор Иудеи Понтий Пилат дал понять присутствующим, что он не имеет отношения к казни Иисуса Христа.

«Было тихо в Сахаре молчанья...» (с. 345). — *Герострат* — житель греческого города Эфеса, сжегший храм Артемиды (356 г. до н.э.) для того, чтобы, как он сознался во время пытки, его имя помнили потомки.

«Говорили двое в комнате над миром...» (с. 347). — *Мамченко Виктор* Андреевич (1901–1982) — поэт. В 1920 г. эмигрировал из Севастополя в Тунис. С 1923 г. жил во Франции, учился на филологическом факультете Сорбонны (не окончил его из-за недостатка средств). Один из организаторов Союза молодых поэтов и писателей, участник объединения «Круг». Первый его сборник «Тяжелые птицы» вышел в 1936 г.

«Никто никуда не уходит...» (с. 352). — *Плеяды* — звездное скопление в созвездии Тельца.

«Тоска лимонного дерева...» (с. 352). — *Фумарола* — дымящая трещина вулкана.

«Камень сквозь снег проступает...» (с. 355). — Впервые: Возрождение. № 165. 1965. С. 39; под заглавием «Перед ночью», с разделением на четверостишия, с датой: 1931. Вошло в ДНН-65 под названием «Долговременность сквозь мгновение» (дано Н.Д.Татищевым).

Разночтение:

6 Слишком рано усталость приходит

«Как тяжело катить стеклянный шар...» (с. 362). — Впервые: ДНН-65; под названием «В лесу» (дано Н.Д.Татищевым).

Пилат Понтий — римкий прокуратор провинции Иудея в 26–36 гг. н.э. В его правление был приговорен к смертной казни Иисус Христос.

«Голос в страшном отдалении...» (с. 362). — *Озирис* — умирающий и воскресающий бог Древнего Египта, олицетворение увядания и возрождения растительности.

«Слишком жарко чтоб жить...» (с. 366). — Впервые: ДНН-65; под названием «Ледниковый период» (дано Н.Д.Татищевым).

«Статуя читает книгу, спит младенец...» (с. 367). — Впервые: Возрождение. 1965. № 165. С. 39; под заглавием «Классическая музыка» (дано Н.Д.Татищевым).

«Всё что будет завтра...» (с. 373). — Впервые: Возрождение. 1965. № 165. С. 38; под заглавием «Через сто тысяч лет» (дано Н.Д.Татищевым).

«Сон анемоны был темен, был неподвижен...» (с. 373). — Впервые: ДНН-65; под названием «На восток от Кавказа» (дано Н.Д.Татищевым).

«Шум приближался, огонь полыхал за туманом...» (с. 374). — Впервые: ДНН-65; как первое стихотворение цикла «Дни потопа». Название дано Н.Д.Татищевым.

«То что меня касалось было на солнце...» (с. 376). — *Архонт* (*греч.* archon — начальник, правитель) — высшее должностное лицо в древнегреческих городах-государствах.

«Звезды, розы, облака...» (с. 379). — Впервые: Возрождение. 1965. № 165. С. 40; под заглавием «Ярмарка» (дано Н.Д.Татищевым).

Разночтения:

12–17
Не смотрите в небеса
Там заклятье солнце душит.
Не смотрите в облака —
Там погибель слабым душам.
Не кричите в темноте —
В тишине никто не слышит.
Человек отворил балаган,
Улыбаясь взглянул на народ
И сказал:
Кто разгадал, отчего он живет —
Сразу умрет.

«Не смотри в небеса...» (с. 379). — Впервые: ДНН-65; под названием «Близится утро, но еще ночь» (дано Н.Д.Татищевым).

«Солнце светит, снег блестит не тая...» (с. 380). — Впервые: ДНН-65; как первое стихотворение цикла «Орфей». Название дано Н.Д.Татищевым.

«Соколы тихо летят...» (с. 382). — Впервые: ДНН-65; как второе стихотворение цикла «Орфей».

«Кто вы там в лодке?..» (с. 382). — Впервые: ДНН-65; под названием «У парома» (дано Н.Д.Татищевым).

«Время шумит...» (с. 383). — Впервые: ДНН-65; как третье стихотворение цикла «Дни потопа».

«Падаю на солнце...» (с. 385). — Впервые: Возрождение. 1965. № 165. С. 40; под заглавием «Комар летал вокруг свечи» (дано Н.Д.Татищевым).

«Комар летает вокруг свечи». — Источник эпиграфа установить не удалось.

«Ласточки горят, в кафе шумят газеты...» (с. 386). — Впервые: ДНН-65; как первое стихотворение цикла «Путешествие в неизвестном направлении». Название дано Н.Д.Татищевым.

«Слишком рано на яркие звезды...» (с. 386). — Впервые: ДНН-65; как второе стихотворение цикла «Путешествие в неизвестном направлении».

«Стекло лазури, мания величья...» (с. 389). — *Шеллинг* Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) — один из виднейших представителей немецкой трансцендентально-критической философии.

Шар Гесперид — земной шар. Одним из двенадцати подвигов Геракла стало обретение им плодов из сада Гесперид. Никто из живущих на земле не мог войти в их сад и достать яблоки вечной молодости. Геракл узнал, что сделать это может Атлас, держащий земной шар на своих плечах. Геракл пошел к Атласу, взял земной шар на свои плечи, а Атлас принес ему из сада Гесперид золотые яблоки.

«Вечером на дне зáмковых озер...» (с. 393). *Геликоптер* — вертолет.

«Белое небо. Телеги шумят...» (с. 394). — Впервые: ДНН-65; под названием «Лета» (дано Н.Д.Татищевым).

«Шум автомобиля...» (с. 394). — Впервые: ДНН-65; как второе стихотворение цикла «Весна в аду».

«В лесу был шум спадающих одежд...» (с. 400). — Впервые: ДНН-65; под названием «Память» (дано Н.Д.Татищевым).

«В полдневном небе золото горело...» (с. 404). — Впервые: ДНН-65; под названием «Танец Индры» (дано Н.Д.Татищевым).

Индра — в древнеиндийской мифологии бог грома и молнии, «царь богов».

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГИ

В этом разделе печатаются стихотворения, не включенные Поплавским в списки своих книг.

Простая весна (с. 407). — Впервые: «Неизданное».

Стихотворение написано, по всей видимости, в Москве, где в 1917 г. Поплавские жили в Кривоколенном переулке, д. 14, кв. 35.

Уклон в декадентство (с. 407). — Впервые: НС.

Матишишь, кекуок — модные в ту пору южноамериканские танцы.

Азбука (с. 408). — Впервые: НС.

Много было совещаний / Едак с марта... — Имеются в виду последовавшие вслед за Февральской революцией многочисленные заседания комитетов солдатских и рабочих депутатов, а также за-

седания сформированного 16 марта 1917 г. Временного правительства во главе с князем Г.Е.Львовым.

Остров Езев — имеется в виду остров Эзель, входивший в группу Моонзундских островов. Установленная на островах береговая артиллерия и двенадцатитысячный гарнизон не позволяли немцам подойти к Петрограду с моря. В октябре 1917 г. в ходе крупной десантной операции германские войска сумели захватить о. Эзель.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — один из вождей Белого движения.

Украина отделилась... — В апреле 1917 г. прошел учредительный съезд Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР), на котором была принята платформа автономии Украины в федерации с Россией. Впоследствии были образованы еще несколько украинских партий, в том числе и партия социалистов-самостийников, выдвинувшая требование провозглашения самостийности Украины. Однако в 1917 г. большинство представленных в Центральной раде украинских партий не шло дальше требования автономии Украины в составе России.

Каледин Алексей Максимович (1861–1918) — российский военный и политический деятель, один из вождей Белого движения. В декабре 1917 г. вместе с генералами М.В.Алексеевым и Л.Г.Корниловым возглавил Донской гражданский совет, созданный для руководства Белым движением на всей территории бывшей империи и претендовавший на роль всероссийского правительства.

Гимн большевикам (с. 408). — Впервые: НС.

П.Шишков — личность не установлена.

«Вы смотрели на море, смотрели с улыбкою...» (с. 410). — Впервые: НС.

Пародия на известное стихотворение Игоря Северянина «Это было у моря» (1910).

Подражание Королевичу (с. 410). — Впервые: НС.

Как известно, в 1918 г. И.Северянин был избран «королем поэтов».

Стихи под гашишем (с. 410). — Впервые: «Неизданное».

Эта стихотворная исповедь, как и два последующих стихотворения, — весомое свидетельство того, что юный Борис употреблял наркотики. Подтверждение тому находим и в воспоминаниях Андрея Седых: «Долгое время у меня хранилась фотография Поплавского, которую дал мне его отец для газеты. На обороте этой карточки, рукой самого Поплавского, было написано: “Если хочешь, я напал на след кокаина и т.д. (Далее два неразборчивых слова.) Героин 25 фр. грамм, кокаин 40 фр.» (Седых А. Далекие, близкие. М.: Московский рабочий, 1995. С. 263). Запись эта относится, вероятно, к тому периоду, когда у поэта Бориса Заковича,

близкого друга Поплавского, умер отец, зубной врач, у которого имелось большое количество самых разных болеутоляющих средств. О кокаине имеется также прямое признание самого Поплавского. В его константинопольском дневнике можно прочитать следующее: «Я исповедовался священнику. Он отпустил мои грехи. Кок<аин>. Я ему сказал об этом» (запись 6 мая 1921 г.). Аналогичное свидетельство и в дневниковой записи берлинского периода (см. т. 3 наст. изд.).

Гашиш — наркотическое средство, получаемое из индийской конопли.

Буколика — род поэзии, идеализированно изображающий пастушескую жизнь.

Караваны гашиша (с. 411). — Впервые: «Неизданное».

Наталия Поплавская — старшая сестра Б.Поплавского, авангардная поэтесса, автор стихотворного сборника «Стихи Зеленой Дамы» (М., 1917); рано погибла из-за своего пристрастия к наркотикам. Именно она ввела Бориса в мир гашиша и кокаина, как, впрочем, и в мир поэзии. По воспоминаниям их отца, после издания «Стихов Зеленой Дамы» «Борис из чувства соревнования, или скорее подражания, тоже начал писать в ученических тетрадках “свои” стихотворения, сопровождавшиеся фантастическими рисунками» (Поплавский Ю. Борис Поплавский // Новь (Таллин). 1935. № 8. С. 145).

В архиве Поплавского сохранился вариант этого стихотворения — без заглавия и посвящения. Разночтения:

2–4	Приведет через сны подрисованный фат, На четвертый этаж, где в каморке текинца На гвозде в золотых саламандрах халат.
6	И на башне в лесах говорили часы.
10–11	Надо к лампочке трубки — железный чубук. Наверху на полянах без солнца теплыня,
13–15	Самовары и персы, в углу разговор Под пасхальным яйцом у бесцветных икон. Кто-то мне подстелил из лоскутьев ковер —

Опий — сильный наркотик, высушенный млечный сок из незрелых головок мака.

Бэкон Френсис (1561–1626) — английский философ.

«Вот теперь, когда нет ни гашиша, ни опия...» (с. 412). — Впервые: НС.

О.Асеева — вероятно, московская знакомая Поплавского.

«Вот прошло, навсегда я уехал на юг...» (с. 412). — Впервые: «Неизданное».

Ася Перская — вероятно, московская знакомая Поплавского.

В рукописных вариантах есть разночтения:

5–6	Мы ходили с тобой кокаиниться в церкви, Улыбались икон расписные глаза,
8	А, бывало, видений пройдет полоса.
11–12	Где в виденьях моих мне кривили улыбки жестокие Стоэтажных домов декадентские норы.

Ода на смерть Государя Императора (с. 413). — Впервые: «Неизданное».

17 июля 1918 г. последний российский император Николай II был расстрелян большевиками в Екатеринбурге вместе со своей семьей и окружением.

...мытаря... — Мытарь в славянских церковных текстах — название сборщика податей в Иудее, римской провинции; в Евангелии употреблялось как типический образ притеснителя.

...гусистый костер. — Имеется в виду Ян Гус (1371–1415), чешский религиозный реформатор осужденный католической церковью как еретик и заживо сожженный на костре. Известие о его казни вызвало в Чехии взрыв возмущения и положило начало гуситским войнам.

Кондак — в православной церковной службе краткая песнь во славу Христа, Богородицы или святого.

«Дредноуты в кильватерной колонне...» (с. 413). — Впервые: НС.

Чудовская — личность не установлена.

Хотя первая строка — прямая отсылка к стихотворению А.Блока «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...» (1911–1914), само стихотворение насквозь пронизано ритмами и образами, свойственными поэтике футуризма. В ранней юности Поплавский испытал на себе кратковременное, но сильное влияние В.Маяковского и А.Крученых. См. «Воспоминания о сердце», «Поэму о революции», «Герберту Уэллсу».

Сегодня — скатерть Черномория мала / Вместить Галлиполи, утыканный мортирами. — В ноябре 1920 г. Русская армия генерала П.Н.Врангеля — последняя вооруженная сила белых на Юге России — эвакуировалась из Крыма в Константинополь. 150 тысяч россиян на 126 кораблях вынужденно покинули пределы родины. Большинство из них были офицерами и солдатами армии генерала Врангеля. Самый многочисленный 1-й армейский корпус разместился в районе турецкого городка Галлиполи в старых полуразрушенных бараках и простых палатках. Соглашения о перебазировании армии на Балканы были достигнуты только к концу весны 1921 г., а последние «галлиполийцы» покинули Турцию в мае 1923 г.

Баркарола (*ит.* barcarola) — инструментальная или вокальная пьеса, имеющая прототипом песни венецианских гондольеров (от *ит.* barca — лодка).

Воспоминание о сердце (с. 415). — Впервые: НС.

Поэма о революции (с. 416). — Фрагмент поэмы впервые опубликован: НС. В настоящем издании впервые представлены (после отточия) новые фрагменты текста.

Мои стихи о водосвятии (с. 419). — Впервые: «Неизданное».

Водосвятие — православный обряд освящения воды перед праздником Крещения Господня (19 января по н. ст.).

Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1887–1932) — поэт, литературный критик, живописец. До Первой мировой войны подолгу жил во Франции, способствовал сближению русского и французского искусства. После Февральской революции поселился в Коктебеле, где дом его служил культурным центром и убежищем для преследуемых очередной властью. В сборнике «Демоны глухонемые» (1919) разоблачил ужасы братоубийственной войны. В 1919 г. Борис с отцом были в Ялте и, возможно, юный поэт встречался с Волошиным или слыхал о нем.

Тропарь — церковный певчий стих в честь какого-либо православного праздника или святого.

О большевиках (с. 419). — Впервые: «Неизданное».

«Я вам пишу из голубого Симферополя...» (с. 420). — Впервые: «Неизданное».

Вечерний благовест (с. 420). — Впервые: «Неизданное».

Благовест — звон в один колокол для извещения о службе или во время службы.

Мне хочется простого как мычанья... — Отсылка к сборнику стихов В.Маяковского «Простое как мычание» (1916).

К уайльдовской истерике влюбленности. — Английский поэт, прозаик и драматург Оскар Уайльд (1854–1900), чья мать, светская дама, писала стихи и считала свои приемы литературным салоном, вырос в атмосфере аффектированно-театральной экзальтации, что не могло не сказаться на его дальнейшем творчестве и образе жизни.

«И снова осенью тоскую о столице...» (с. 421). — Впервые: «Неизданное».

Герберту Уэллсу (с. 422). — Впервые: Радио: Альманах. Симферополь: Изд-во Таран, [1920]. В этом же альманахе напечатан рисунок В.Маяковского (портрет Вадима Баяна), поэма В.Баяна «Вселенная на плахе» и статья М.Калмыковой «Авангард мирового духа».

В публикации Л.Черткова «Дебют Бориса Поплавского» приведена только вторая часть данного стихотворения («Я сегодня

думал о прошедшем...»), вернее, его первый короткий рукописный вариант с указанием: *Ростов, 1919*, который Л.Черткову удалось обнаружить в Москве.

Разночтения:

5	Только всё примелькается,
7–9	Истерически новому клясться В блесках безумья багрового. Своего Уэллса убили,
13	Строительной гордости истерика,
19	Ну так что же для вас, сумасшедших,

«Март–июль 1919 года, — пишет Л.Чертков, — отец и сын провели в Константинополе, а потом вновь вернулись в Россию, надеясь на успех Добровольческой армии. До конца 1920 года они находились в Ростове-на-Дону. Здесь действовал в то время известный литературный кружок "Никитинские субботники", основанный Е.Ф.Никитиной (женой расстрелянного позднее большевиками бывшего министра Временного правительства меньшевика Никитина). Среди участников этого кружка (В.Маккавейский, В.Эльснер, Л.Голубев-Багрянородный, О.Эрберг, Сусанна Мар-Чохолтян и др.) был и Борис Поплавский. Ближе других он был знаком с известным впоследствии историческим романистом, а тогда автором поэмы "Карма-йога", изданной в 1921 году, Георгием Штормом. Шторм вспоминал, как они с Поплавским посещали библиотеку Мореходного училища, где Поплавский читал Герберта Уэллса. Уэллсу же было посвящено первое известное стихотворение Поплавского, отосланное им в Симферополь, где оно было напечатано в альманахе "Радио" в 1920 году поэтом Вадимом Баяном (Сидоровым). Впоследствии в частном письме В.Баян сообщал, что он несколько отредактировал стихи в соответствии с цензурными условиями при Добровольческой армии. Так, вместо "становится Бог сумасшедшим" он поставил: "мир сумасшедшим", из "светились лохмотья райских долин" сделал: "клочья райских долин"» (Континент. 1986. № 47. С. 375–376).

Уэллс Герберт Джордж (1846–1906) — английский писатель-фантаст, оказавший на Поплавского в юности заметное влияние.

«Я надену схиму и пойду к могиле...» (с. 423). — Публикуется впервые по авторской рукописи.

Схима — монашеское облачение.

...от Луки посланье. — Имеется в виду Евангелие от Луки.

«Сегодня я пою прошедшую веселость...» (с. 424). — Публикуется впервые — по авторской рукописи.

О.Гарденина — Ольга Гарденина, знакомая Поплавского.

Пера (с. 425). — Публикуется впервые — по авторской рукописи.

«Арлекин, мы давно не встречались с тобой.....» (с. 426). — Публикуется впервые — по авторской рукописи.

Октябрь (с. 426). — Публикуется впервые — по авторской рукописи.

Константинополь (с. 427). — Полностью цикл публикуется впервые — по авторской рукописи. Два стихотворения из него — «Кондитеры» и «Об их ремеслах» — были опубликованы в НС.

Галатский мост — мост через бухту Золотой Рог.

Трапезунд — город в Турции.

Анатолийские — здесь: турецкие.

Магон (магуна) — беспалубное парусное судно небольших размеров.

Лаг — морской инструмент, определяющий при погружении в воду скорость движения судна.

Баязет — квартал в Стамбуле. На площади Баязет возвышается мечеть.

Кампанила — в итальянской средневековой и ренессансной архитектуре колокольня в виде башни, чаще всего стоящая отдельно от церкви, собора или ратуши, к которым относится. Поплавский называет кампанилой минарет.

Галата — предместье Константинополя к востоку от Золотого Рога.

Таксим — площадь в центральной части Стамбула.

Марсель (с. 434). — Публикуется впервые — по авторской рукописи.

Риполинный (от *фр.* Ripolin) — известная в то время марка масляных красок для малярных работ.

«Перечисляю буквы я до *ша*...» (с. 435). — Впервые: «Дадафония».

«Копает землю остроносый год...» (с. 435). — Впервые: «Дадафония».

«Никогда поэты не поймут...» (с. 436). — Впервые: Звезда. 1993. № 7. С. 113 (по авторской машинописи).

По сообщению публикатора В.Крейда, «в рукописи на полях этого стихотворения загадочная приписка: "На смерть Александра Гингера"» (там же). А.Гингер умер в 1965 г.

Ars poétique (с. 436). — Впервые: Современные записки. 1940. № 70. С. 124.

Из книги стихов «Орфей в аду». — В архиве Поплавского сохранился проект обложки для задуманного сборника «Орфей в аду. Третья книга стихов. Посвящается: Моисею Блюму, Абраму Минчину, Сергею Ромову. Париж, 1927». Есть также список стихотворений 1925–1926 гг., отобранных для сборника. Впоследствии они

вошли в «Дирижабль неизвестного направления» или в «Дирижабль осатанел».

«Парис и Фауст, Менелай, Тезей...» (с. 437). — Впервые: Звезда. 1993. № 7. С. 114 (по авторской машинописи).

По сообщению В.Крейда, «над этим сонетом рукою Поплавского написана римская цифра III. По-видимому, все три стихотворения представляют триптих, посвященный Александру Гингеру ("Александр строил города в пустыне..." и "Никогда поэты не поймут..."». — *Е.М.*)» (Там же).

Тезей — герой древнегреческих мифов, сын афинского царя Эгея, среди многочисленных подвигов которого — победа над Прокрустом и Минотавром.

«Не тонущая жизнь ау ау...» (с. 437). — Впервые: ПСНС. Вариант этого стихотворения: «Дадафония»; без посвящения, с соблюдением пунктуации.

Разночтения (Дадафония):

5–8 — отсутствуют

9	Чу, занавес плывет, как страшный флаг
11–12	К нам режиссер бежит, подняв кулак, Но сон сквозь трап его хватает быстро.
14	Уж тысяча карет везет останки
26	Сползают замки из папье-маше

Евгения Петерсон — личность не установлена.

Посвящение (с. 439). — Впервые: ПСНС.

На сохранившейся машинописи этого стихотворения из архива И.Зданевича сделана следующая надпись: «Дряхлову. С легким опасением за свою книгу (вероятно, будет гневно разорвана в клочья). Боб П.»

Дряхлов — см. коммент. к стихотворению «На заре» (сб. «Флаги»).

A la mémoiré de Catulle Mendès (с. 439). — Впервые: ПСНС. Вариант этого стихотворения: «Дадафония» — под заглавием «A Catulle Mendès», с соблюдением пунктуации и датой: август 1925.

Разночтения («Дадафония»):

1–2	Я примерять люблю цилиндры мертвецов Их надевать белесые перчатки
8	Как черный леопард, крадется год
17–18	Растет возок, и вот уже полнеба Обвил, как змей, нерукотворный бич
21	Но что скачок, пускай еще скачок

A la mémoiré de Catulle Mendès — Памяти Катюля Мендеса *(фр.)*. Катюль Мендес (1841–1909) — французский писатель, один из основателей «Чудаческого журнала», объединившего первых «парнасцев».

«Fin de siécle» — «конец века» *(фр.)*. Здесь: декадентское поведение.

Поэзия (с. 440). — Впервые: ДНН-65. Вариант этого стихотворения («На желтом небе аккуратной тушью...») опубликован Н.Д.Татищевым в сборнике «Снежный час».

Ночлег (с. 441). — Впервые: ДНН-65.

«Как замутняет воду молоко...» (с. 441). — Впервые: ВВИВ. В списке Б.Поплавского этого стихотворения нет.

«Фонарь прохожему мигнул...» (с. 442). — Впервые: «Дадафония».

«Садится дева на весы...» (с. 442). — Впервые: «Дадафония».

Авиатор (с. 443). — Впервые: ДНН-65. Вариант этого стихотворения: «Дадафония», без заглавия и без знаков препинания.

Разночтения («Дадафония»):

Между 4 и 5:

Она знакома ли тебе
Как это домино как шашки
Как пианино на столбе
Иль синяя карета в чашке

16 По крыше как слепец ей больно

20 Восток, а вот и юг разжиться

23–24 Качнулся дом слегка и вот
Понесся к моему веселью

Между 24 и 25:

Гляжу на землю из окна
Она зеленая танцует
А вдалеке уже видна
Вода где пароход гарцует

25 И осязаю облака

После 32:

Но не желаючи глазеть
На первой простыне газет
Свою наружность пред машиной
Я умираю как мужчина

Я удираю о бебе
Да я не понимаю в шашках

Как пианино на столбе
Как синяя карета в чашке

«Закончено отмщение; лови!..» (с. 444). — Впервые: «Дадафония».

Покушение с негодными средствами (с. 444). — Впервые: ПСНС.

Такое же название носит стихотворение из книги «Флаги» (о названии см. в коммент. к нему).

Ж.К. — вероятно, Жан Кокто (1889–1963) — французский поэт, прозаик, драматург и кинорежиссер.

Розини — Россини Джоакино (1792–1883) — итальянский композитор.

Макс Линдер (1883–1925) — французский актер и кинорежиссер.

Дадафония (с. 446). — Впервые: «Дадафония». По сообщению Н.Желваковой и С.Кудрявцева, «оно перекликается с названием "Dadaphone", которое носил выпущенный в 1920 г. в Париже журнал "Dada", выходивший под редакцией Т.Тцара. Известно, что Поплавский был лично знаком с рядом французских дадаистов и их лидером Т.Тцара» («Дадафония», с. 112).

Немотствуй как Данунцио в Фиуме... — Д'Аннунцио Габриеле (1863–1938) — итальянский писатель и политический деятель. В 1919 г., возглавив итальянский отряд, он самочинно занял г. Фиуме (Риеку) на западе Хорватии и продержался там до 1921 г.

Télégraphie sans fil (с. 447). — Впервые: «Дадафония».

Télégraphie sans fil (фр.) — беспроволочный телеграф.

«В осенний день когда над плоским миром...» (с. 448). — Впервые: «Дадафония».

A Paul Fort — Поль Фор (1872–1960) — французский поэт-символист, автор двадцатитомных «Французских баллад».

Над нею плачет робкий глас Эола... — В древнегреческой мифологии бог ветров. В данном контексте имеется в виду так называемая эолова, т.е. воздушная, арфа — струнный музыкальный инструмент, где резонатором служит узкий деревянный ящик с отверстием, внутри которого натянуты струны различной толщины, настроенные в унисон. Такие инструменты устанавливались на крышах домов. Ветер вызывал колебание струн, издававших различные обертоны общего тона; звучание менялось в зависимости от силы ветра — от тихого и нежного до очень громкого.

Любовь к испанцам (с. 448). — Впервые: «Дадафония».

Не зная о законе Альвогардо... — Поплавский, очевидно, переиначивает фамилию итальянского ученого Амедео Авогадро (1776–1856), открывшего один из основных законов химии, со-

гласно которому в равных объемах различных газов при одинаковых температурах и давлениях содержится одинаковое число молекул. Именно закон Авогадро помог ученым в дальнейшем правильно определить формулы многих молекул и рассчитать атомные массы различных элементов.

«Вино и смерть, два ястреба судьбы...» (с. 449). — Впервые: «Дадафония».

«Ничего не может быть прелестней...» (с. 449). — Впервые: «Дадафония».

«На ярком солнце зажигаю спичку...» (с. 450). — Впервые: «Дадафония».

«Я равнодушно вышел и ушел...» (с. 451). — Впервые: «Дадафония».

Франзоль — булка из пшеничной муки.

«За углом в пустынном мюзик-холле...» (с. 451). — Впервые: «Дадафония».

Променуар (от *фр.* promenoir) — крытая галерея.

«Существующий мир поминутно подвластен печали...» (с. 452). — Впервые: «Дадафония».

Песня первая (с. 453). — Впервые: «Дадафония».

Гуна — в индийской мифологии обозначение трех состояний, связанных с осознанием сущности вещей, — счастье, удовольствие, апатия.

Песня вторая (с. 454). — Впервые: «Дадафония».

Песня третья (с. 454). — Впервые: «Дадафония».

Песня четвертая (с. 455). — Впервые: «Дадафония».

...défense d'afficher... — Плакаты наклеивать воспрещается *(фр.)*.

Dionisus au Pôle Sud (с. 456). — Впервые: «Дадафония».

Русский перевод французского текста:

«Дионис на Южном Полюсе
Пьеса в одном акте
Действующие лица:

Мария — Сольвейг — Елена — Венера — Анна — женское начало в природе

Иисус — Дионис — соотношение активного и пассивного начал

Мария, она же "София"-Сефира, косвенным образом оборачивающаяся Софией Ахамот, душой человеческой

Христос еще не родившийся — человеческое сознание — разум

Ангел

Странствующие

и снобы экс» *(перевод М.Вишневской)*.

А.А.В. — Адресата посвящения (инициалы, возможно, написаны буквами латинского алфавита) установить не удалось.

Одильон Редон (1840–1916) — французский график и живописец, представитель символизма. В своем творчестве добивался эффекта слияния реальности и мистической фантазии.

Сольвейг — героиня драмы Г.Ибсена «Пер Гюнт» (1876).

Дневник Аполлона Безобразова (с. 458). — Впервые: «Числа». 1934. № 10. С. 276–281.

Первый фрагмент впоследствии был опубликован Н.Д.Татищевым в ДНН-65 под заглавием «Учитель», в этот же сборник вошел и седьмой фрагмент («Был страшный холод...»). Восьмой фрагмент — «Дали спали...» — включен Поплавским как отдельное стихотворение в сборник «Снежный час» — с разбивкой на шесть строф (две последние строфы в сборнике являются добавлением). Фрагменты «От высокой жизни березы...», «На аэродроме побит рекорд...», «Вечный воздух ночей...», «Беззащитный сон глубины...», «Отшельник пел под хлороформом...» с небольшими разночтениями и с разбивкой на строки включены Поплавским как отдельные стихотворения в сборник «Автоматические стихи».

Колосс Родосский — гигантская статуя, которая стояла в портовом городе на Родосе — острове в Эгейском море, в Греции. Одно из семи чудес света.

СОДЕРЖАНИЕ

Елена Менегальдо. Монпарнаса русского Орфей 7

В ВЕНКЕ ИЗ ВОСКА

«Как холодны общественные воды...» 53
«Над бедностью земли расшитое узором...» 53
Покушение с негодными средствами 54
«В зерцале дых еще живет, живет...» 55
«Стояли мы, как в сажени дрова...» 55
В венке из воска 56
«Я прохожу. Тщеславен я и сир...» 57
Превращение в камень 57
Неподвижность 58
«Над статуей ружье наперевес...» 58
Отвращение 59
«Вскипает в полдень молоко небес...» 59
«Я Шиллера читать задумал перед сном...» 60
Орлы 60
«Твоя душа, как здание сената...» 61
Двоецарствие 62
«Утром город труба разбудила...» 62
«Разбухает печалью душа...» 63
Волшебный фонарь 63
«Я так привык не замечать опасность...» 64
«Неудача за неудачами...» 64
«Китайский зонт над золоченой рамой...» 65
Оно 66
«Бело напудрив красные глаза...» 67
«Как в ветер рвется шляпа с головы...» 67
«На выступе юлит дождя игла...» 68

ДИРИЖАБЛЬ НЕИЗВЕСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Дождь 71
Реминисценция первая 72

Реминисценция вторая 72
В борьбе со снегом 73
«Труба — по-русски, по латыни — тромба...» 73
«Глаза, как голубые губы...» 74
Борьба со сном 75
Шесть седьмых больше одной 76
Пифон-тайфун 77
Армейские стансы 78
Армейские стансы-2 79
«Листопад календаря над нами...» 80
«Воинственное счастие души...» 81
«Скучаю я и мало ли что чаю...» 82
Подражание Жуковскому 83
Зеленый ужас 84
Сентиментальная демонология 85
Восьмая сфера 86
Астральный мир 88
Искусство пить кофе 89
Жюлю Лафоргу 90
Весна в аду 92
Ручей, но чей? 93
Допотопный литературный ад
1. «Зеленую звезду несет трамвай на палке...» 95
2. «Как лязгает на холоде зубами...» 96
Ангелы ада 97
Морской змей 98
Звездный ад 100
Paysage d'enfer 101
Дон Кихот 102
Артуру Рембо 103
Rondeau mystique 105
Dies irae 106
Профессиональные стансы 107
Юный доброволец 108
«Безвозмездно, беспечно, бесправно...» 110
«Отрицательный полюс молчит и сияет...» 110

ДОПОЛНЕНИЕ
К «ДИРИЖАБЛЮ НЕИЗВЕСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ»

«Друзья мои, природа хочет...» 112
«Сияет осень, и невероятно...» 112
«Мы, победители, вошли в горящий город...» 113
«Жизнь наполняется и тонет...» 113

«Свет из желтого окна...» 114
«Возлетает бесчувственный снег...» 115
«Померкнет день, устанет ветр реветь...» 116
«Идет твой день на мягких лапах...» 116
«Как человек в объятиях судьбы...» 117
«Три раза прививали мне заразу...» 118
«Тэнэбрум марэ — море темноты...» 118
«Глубокий холод окружает нас...» 119
«Как розовеет мостовой гранит...» 119
«Человек очищается мятою сна...» 120
«Было странно с моей стороны...» 121
«Хитро пала на руки твои...» 121
«Как медаль на шее у поэта...» 121
«Летит луна бесшумно по полям...» 121
«Розовело небо, холодело...» 122
«Не буффонаду и не оперетку...» 122
«Бездушно и страшно воздушно...» 122
«Синий, синий рассвет восходящий...» 123
«Он на́ землю свалился, оземь пал...» 124
Art poétique 124
«Я яростно орудовал платком...» 125
«Пришла в кафе прекрасная Елена...» 126
«Томился Тютчев в темноте ночной...» 126
«Напрасным истреблением страстей...» 127
«Я люблю, когда коченеет...» 127
«Александр строил города в пустыне...» 128
«Маляр висит на каменной стене...» 129
«За жалкою балкой балкон тишины...» 129
«Лицо в окне висит, стоит, лежит...» 129
«Ты в полночь солнечный удар...» 130
«Как черный цвет, как красота руки...» 131
«Вознесися, бездумный и синий...» 131
«Ты говорила: гибель мне грозит...» 132
Человекоубийство 132
Музыкант нипанимал 133
«Увы, любовь не делают. Что делать?..» 134
Жизнеописание писаря 135
Клио 136
«Я Вас люблю. Любовь — она берется...» 136
«О неврастения, зеленая змея...» 137
«Кто любит небо, пусть поднимет руку...» 137
«На столе золотая монета...» 138
«О струнной сети нежность! о полон!..» 138

Домик в бутылке 139
«Я пред мясной где мертвые лежат...» 140
«Я чистил лошадь в полутьме двора...» 140
«Была душа отчаянья полна...» 141
«Коль колокол колчан чан этот круглый чан...» 141
«Лесничий лестницы небесной Ты не без...» 142

ДИРИЖАБЛЬ ОСАТАНЕЛ

«Я шаг не ускоряю сквозь года...» 145
«Лицо судьбы доподлинно светло...» 146
«Шасть тысячу шагов — проходит жизнь...» 146
Собачья радость 147
«Мы достодолжный принимали дар...» 147
«Но можно ль небрежи́ть над контрабасом...» 148
«Осёл ребенок выезжает в свет...» 149
Посещение первое 149
Посещение второе 150
Словопрение 151
«Неисправимый орден тихий ордер...» 151
«Мы молока не знаем молокане...» 152
«Дымилось небо, как лесной пожар...» 153
«На! Каждому из призраков по морде...» 154
«Воро́та-воротá визжат как петел...» 154
Musique juive 155
«Запыленные снегом поля...» 155
«Пролетает машина. Не верьте...» 156
«На улице стреляли и кричали...» 157
«Запор запоем, палочный табак...» 158
«На белые перчатки мелких дней...» 158
«Блестит зима. На выгоне публичном...» 160
«Мы ручей спросили чей ты...» 160
«Рука судьбы проворна и грязна...» 161
«Почто, зачинщик, выставляешь дулю...» 162
«На железном плацдарме крыш...» 162
«В серейший день в сереющий в засёрый...» 163
Art poétique-1 164
Борьба миров 164
Art poétique-2 165
«Орегон кентаомаро мао...» 166
«Панопликáс усонатэ́о зе́мба...» 167
«Я желаю но ты не жалеешь...» 167
Art poétique-3 168

«Невидный пляс, безмерный невпопад...» 169
«Летящий снег, ледящий детский тальк...» 170
«Соутно умигано халохао...» 170
Статья в медицинском журнале 171
Петя Пан 171
Бардак на весу 173

ФЛАГИ

Dolorosa 177
Черная мадонна 178
Diabolique 179
Последний парад 180
На заре 181
Жалость 182
«Розовый час проплывал над светающим миром...» 183
«Пылал закат над сумасшедшим домом...» 183
Роза смерти 184
«Смейся, паяц, над разбитой любовью...» 185
«Восхитительный вечер был полон улыбок и звуков...» 185
Лунный дирижабль 186
Рукопись, найденная в бутылке 187
Гамлет 188
Флаги 189
Мистическое рондо I 190
Римское утро 191
Мистическое рондо II 191
Богиня жизни 192
Смерть детей 193
Детство Гамлета 194
«Девочка возвратилась, ангел запел наугад...» 195
Черный заяц 196
Hommage à Pablo Picasso 197
Снежный час 198
«Темною весною, снежною весною...» 199
«Скоро выйдет солнце голубое...» 200
Мальчик и ангел 201
Гамлет и ангел 202
В Духов день 203
В сумраке 204
Под землю 205
Звездный яд 206
«Гроза прошла, и небо стало розовым...» 207

Саломея I 208
Саломея II 209
Романс 210
Розы Грааля 211
Успение 212
Жалость к Европе 213
Дух музыки 214
Angelique 215
В отдалении 216
Зима 217
Вспомнить — воскреснуть 218
Остров смерти 218
Дух воздуха 219
Lumière astrale 220
Мистическое рондо III 221
Морелла I 222
Морелла II 222
Серафита I 223
Серафита II 224
Стоицизм 225
«Целый день в холодном, грязном саване...» 226
«Мир был темен, холоден, прозрачен...» 226
«Тихо в доме, люди вышли к миру...» 227
Белое сияние 228
«Солнце нисходит, еще так жарко...» 229

ДОПОЛНЕНИЕ К «ФЛАГАМ»

«В холодных душах свет зари...» 230
«Древняя история полна...» 231
«Луна моя, Ты можешь снова сниться...» 232
«Голубая душа луча...» 233
«Мальчик смотрит: белый пароходик...» 234
«За стеною жизни ходит осень...» 235
«Нездешний рыцарь на коне...» 236
«Темен воздух. В небе розы реют...» 237
«Вращалась ночь вокруг трубы оркестра...» 238

СНЕЖНЫЙ ЧАС

Уход из Ялты 241
«Снег идет над голой эспланадой...» 243
«В зимний день на небе неподвижном...» 243
1. «В горах вода шумит; под желтыми листами...» 244

2. «Осенью горы уже отдыхают...» 245
3. «Всё так же мир высок и прекрасен...» 245
4. «Ветер гонит тучи...» 245
5. «Ты уснешь и всё забудешь...» 246
«Вечер блестит над землею...» 247
«На мраморе среди зеленых вод...» 247
«Трава рождается, теплом дорога дышит...» 248
Ектенья 249
1. «Во мгле лежит печаль полей...» 249
2. «Тихо светится солнце в тумане...» 250
3. «На холодном желтеющем небе...» 251
«Лунный диск исчез за виадуком...» 252
Бескорыстье 252
«Сумеречный месяц, сумеречный день...» 253
«Полуночное светило...» 254
1. «Над пустой рекой за поворотом...» 254
2. «Ты шла навстречу мне пустынной зимней ночью...» 255
«Город тихо шумит. Осень смотрится в белое небо...» ...256
1. «Не смотри на небо, глубоко...» 256
2. «Позднею порою грохот утихает...» 257
«Поля без возврата. Большая дорога...» 257
«Еле дышит слабость белых дней...» 258
«Как страшно уставать...» 258
«Ранний вечер блестит над дорогой...» 259
«В молчанье ду́ши лампы зажигают...» 260
«Как холодно. Молчит душа пустая...» 261
«В кафе стучат шары. Над мокрой мостовою...» 262
«Шары стучали на зеленом поле...» 262
«Шумел в ногах холодный гравий сада...» 263
«В серый день лоснится мокрый город...» 264
«Прежде за снежной пургою...» 264
«Был высокий огонь облаков...» 265
«За рекою огонь полыхает...» 266
«Лошади стучали по асфальту...» 267
«Печаль зимы сжимает сердце мне...» 268
Il neige sur la ville 268
Снова в венке из воска 270
«На подъеме блестит мостовая...» 270
«Ты устал, отдохни...» 271
«Ты устал, приляжем у дороги...» 272
«В час, когда писать глаза устанут...» 273
«Всё спокойно раннею весною...» 274
«Опять в полях, туманясь бесконечно...» 275

«Слабый вереск на границе смерти...» 275
«В зимний день всё кажется далеким...» 276
«Я видел сон. В огне взошла заря...» 277
«Люди несут огонь...» 278
«Друг природы, ангел нелюдимый...» 279
Напрасная музыка 280
«В сумерках ложились золотые тени...» 280
«Всматриваясь в гибель летних дней...» 281
«На желтом небе аккуратной тушью...» 282
«Вечер сияет. Прошли дожди...» 282
«Дали спали. Без сандалий...» 283
Флаги спускаются 284
«Зимний просек тих и полон снега...» 285
«Тень Гамлета. Прохожий без пальто...» 286
Молитва 288
Рождество расцветает. Река наводняет предместья...» ...289
За чтением святого Франциска 290

НАД СОЛНЕЧНОЮ МУЗЫКОЙ ВОДЫ

«Не говори мне о молчанье снега...» 293
«Богу родиться в земном, человеку родиться
в небесном...» 294
«В ярком дыме июньского дня...» 294
«Там, где, тонкою нитью звеня...» 295
«Под глубокою сенью аллеи...» 296
«Ветер легкие тучи развеял...» 297
«Стекло блестит огнем...» 298
«Над солнечною музыкой воды...» 299
«Разметавшись широ́ко у моря...» 300
«Сегодня сердце доверху полно...» 301
«Летний вечер темен и тяжел...» 302
«Чудо жизни в радостном движенье...» 304
Домой с небес 305
«Холодное, румяное от сна...» 306
«Жарко дышит степной океан...» 307
«На песке в счастливый час прибоя...» 309
«Отцветает земля. Над деревнею солнце заходит...» 310
«Мать без края: “быть или не быть”...» 311

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИХИ

«Сонливость...» 315
«На аэродроме побит рекорд высоты...» 315

«Еще никто не знает...» 316
«Кто знает? Никто здесь не знает...» 316
«Черное дерево вечера росло посредине анемоны...» ...316
«Мы пили яркие лимонады и над нами флаги
кричали...» 317
«Птицы-анемоны появлялись в фиолетово-зеленом
небе...» 317
«Сорок дней снеговые дожди...» 318
«Рокот анемоны спит в электричестве...» 318
«Почему боль не проходит?..» 318
«О колокола...» 319
«Звуки неба еле слышны...» 319
«Беззащитный сон глубины...» 320
«Колёса, локоны, шестипалые руки и фотографии...» ...320
«Святым не надо бессмертия...» 320
«Это и были Лериды...» 321
«Отдаленные звуки неба...» 321
«Высоко на крыше дома...» 321
«Подумайте о вращении...» 322
«От высокой жизни березы...» 322
«Луна играла серенады...» 323
«Кто ты? Я то что тебе непонятно...» 323
«О расскажи взаимное рожденье...» 324
«Карты счастья и карты печали...» 324
«Невозвратимый...» 325
«Был красивый полон удивленья...» 325
«Отрицать мир с четырех сторон...» 326
«Соединенье железа, стекла, зеленого облака...» 326
«Разорвите цепи — железо так нежно дышит...» 327
«Перепробуйте все комбинации...» 327
«Июль прошел, холодный маниак...» 327
«Отшельник пел под хлороформом...» 328
«В черном море пели водолазы...» 328
«Неустрашимый...» 329
«Пели колеса...» 329
«Голоса цветов кричали на лужайке...» 330
«Высоко над жизнью поэта...» 330
«Пироскаф дымок распускал...» 331
«Сто миллионов сфер...» 331
«Вечный воздух ночной говорит о тебе...» 331
«Я живу на границе твоей...» 332
«Фиалки играли в подвале...» 332
«Всё было тихо, улицы молились...» 333

«Где ты, энигматическое сердце?..» 333
«Отпустите чудо...» 333
«Быть совершенно понятным...» 334
«Так голодный смотрит на небо...» 334
«Никого не решайся видеть...» 335
«Золотая рука часов...» 335
«На железной цепи ходит солнце в подвале...» 336
«Я слушаю: так далеко не слышно...» 336
«Там ножницами щелкали вдали...» 337
«Случалось призракам рояли огибать...» 337
«Кости упавших домов...» 338
«Тише, ду́ши, солнце там на крыше...» 338
«Страшно было это рождение камня...» 339
«Серо-синий день погиб случайно...» 339
«Шум непрестанно менялся...» 340
«Перекрестный ветер, вечер синий и тревожный...» ...340
«Очень страшно всё что очень тихо...» 341
«Тот кто лишается времени...» 341
«Бегите, как время проносится время...» 342
«Железо пения усталых...» 342
«В банках машины жевали железное мясо...» 343
«С горячих рук больного музыканта...» 343
«Мы позабыли утро...» 344
«В Африке шумели паровозы...» 344
«Было тихо в Сахаре молчанья...» 345
«Эти скитания звуков...» 345
«Были веки железных лиц...» 346
«Бледнолицые книги склонялись к железным рукам...» 346
«Над различными городами одинаковые звезды...» 347
«Говорили двое в комнате над миром...» 347
«Было страшно тихо в высшем мире...» 348
«Медленно вращаясь к времени...» 348
«Кто помнит сердечный припадок...» 349
«Призраки в сферах молний...» 350
«Страшно думать: мы опоздали...» 350
«Горит желтый зал...» 351
«Под тяжестью белых побед...» 351
«На большой глубине...» 352
«Никто никуда не уходит...» 352
«Тоска лимонного дерева...» 352
«Должно быть в будущей жизни...» 353
«Мне холодно, спокойно газ горит...» 353
«Музыка звучала в подземелье...» 353

«Солнце сжало в железных руках...» 354
«Трубы, трубы и трубы...» 354
«Волей далеких птиц...» 355
«То что всплывало со дна...» 355
«Камень сквозь снег проступает...» 355
«Что с Вами стало?..» 356
«За стеной играли флейты — там учились...» 356
«Конец небесного дня...» 357
«Солнце, очнись от света...» 357
«Отдаленная музыка неба...» 358
«Небо было привиденьем...» 358
«Тяжелый ангел в подземелье спал...» 358
«Никто не знает когда...» 359
«Улицы зажгли свои огни...» 359
«Улицы мокры, огни зажглись в тумане...» 360
«Ночь стояла на белой дороге...» 360
«Никто не мог отрешиться...» 360
«Кто дошел до середины...» 361
«Солнце долго ходило. Устало...» 361
«Как тяжело катить стеклянный шар...» 362
«Голос в страшном отдалении...» 362
«Скольженье белых дней, асфальт и мокрый снег...» ...364
«Всё было тихо, голос драгоценный...» 364
«Молча камень порождает воду...» 365
«На белой поверхности неба...» 365
«Когда устает привиденье...» 365
«Золото качается на башне...» 366
«Слишком жарко чтоб жить...» 366
«Был в закате колокол стеклянный...» 366
«Статуя читает книгу, спит младенец...» 367
«Мерно падали ноты из белой стены...» 367
«Тихо книги в башне говорили...» 368
«Книги говорили: Как мы стары...» 368
«Жизнь отражалась в золотом шару...» 368
«Опять на востоке...» 369
«Комнаты пустые полные стекла...» 369
«Руки колесного города...» 369
«Тихо воду качала вечность...» 370
«Вечность розовых стекол...» 370
«Солнце спокойно...» 370
«Падает солнце в холодную воду...» 371
«В холодный день высóко птицы пели...» 371
«Золотая игла занозы...» 371

«На железной цепи у плотины...» 372
«Маленькая жизнь играла на рояле...» 372
«Электричество горит, читают книги...» 372
«Всё что будет завтра...» 373
«Волны дождя покрывают скелеты деревьев...» 373
«Сон анемоны был темен, был неподвижен...» 373
«Шум приближался, огонь полыхал за туманом...» 374
«Довольно фабрика шумела колесом...» 374
«Золотые дали. Спит туман...» 375
«Шум аэростата...» 375
«Автоматически безумно дух поет...» 375
«Белый снег разлуки...» 376
«То что меня касалось было на солнце...» 376
«Солнечный год был равен лунному году...» 376
«Так рождается страх. Страх рождается от...» 377
«Рвусь к железным законам...» 377
«Тише, горести. Смиряйтесь, звуки снега...» 377
«В сумраке дневной души...» 378
«Берег далек, морская гладь...» 378
«Звезды, розы, облака...» 379
«Не смотри в небеса...» 379
«Братья, братья, будем плакать вместе...» 380
«Солнце светит, снег блестит не тая...» 380
«Нежные весы...» 381
«Царь святых привидений и фей...» 381
«Время горит...» 381
«Соколы тихо летят...» 382
«Кто вы там в лодке?..» 382
«Время шумит...» 383
«Не верьте звукам звезды Нуримая...» 383
«Руки газеты...» 384
«Не мучайся, читай в пыли газеты...» 384
«Падаю на солнце...» 385
«Пой как умеешь...» 385
«Ласточки горят, в кафе шумят газеты...» 386
«Слишком рано на яркие звезды...» 386
«Золото покоя...» 386
«Умершим легко — они не знают...» 387
«Сумерки речи...» 387
«В огромной кожаной книге...» 387
«Мирозданье в бокале алхимика...» 388
«Жарко, судьба на закате...» 388
«Луны и солнца звуки золотые...» 389

«Звуки ночи, усталость...» 389
«Стекло лазури, мания величья...» 389
«Встреча в палате больничного запаха с сном
о смородине...» 390
«Стекловидные деревья рассвета...» 390
«Философия Шеллинга упразднила газету и библию...» 390
«Стекло лазури, мания верблюдов...» 391
«Синюю воду луны качали бессмертные души...» 391
«Звезды читали судьбу по гробам механических
птиц...» 391
«Небо арктических цилиндров было наклонено...» 392
«Ноги судьбы были сделаны из золота...» 392
«Стеклянный шар, магический кристалл...» 393
«Вечером на дне зáмковых озер...» 393
«Белое небо. Телеги шумят...» 394
«Шум автомобиля...» 394
«Стеклянный бег кристалла...» 395
«Белое небо, день жарок и страшен...» 395
«Золотая пыль дождя и вечер...» 396
«Мчится вечер, лето на исходе...» 396
«Шар золотой святой пустой...» 397
«Призрак родился, призрак умрет...» 397
«Солнце не знает...» 398
«Только бы всё позабыть...» 398
«Слабость сильных — это откровенье...» 399
«Глубокое время текло до заката...» 399
«Голубым озерам на вершине...» 400
«В лесу был шум спадающих одежд...» 400
«Азбука скучает в словарях...» 400
«Голос веретён был тонок...» 401
«Верить или не верить...» 401
«Песню о чуде...» 402
«Камень шепнув погрузился...» 402
«Не плачь, пустынник...» 403
«Облака устали пролетать...» 403
«Кто вы, гордые духи?..» 404
«В полдневном небе золото горело...» 404

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГИ

Простая весна 407
Уклон в декадентство 407
Азбука 408

Гимн большевикам 408
«Вы смотрели на море, смотрели с улыбкою...» 410
Подражание Королевичу 410
Стихи под гашишем 410
Караваны гашиша 411
«Вот теперь, когда нет ни гашиша, ни опия...» 412
«Вот прошло, навсегда я уехал на юг...» 412
Ода на смерть Государя Императора 413
«Дредноуты в кильватерной колонне...» 413
Воспоминание о сердце 415
Поэма о революции 416
Мои стихи о водосвятии 419
О большевиках 419
«Я вам пишу из голубого Симферополя...» 420
Вечерний благовест 420
«И снова осенью тоскую о столице...» 421
Герберту Уэллсу
1. «Небо уже отвалилось местами...» 422
2. «Я сегодня думал о прошедшем...» 422
«Я надену схиму и пойду к могиле...» 423
«Сегодня я пою прошедшую веселость...» 424
Пера 425
«Арлекин, мы давно не встречались с тобой...» 426
Октябрь 426
Константинополь. *Цикл сонетов*
1. Вступительный 427
2. Мост 427
3. Решетки 428
4. Кондитеры 428
5. Базар 429
6. Золотой Рог 429
7. Об их ремеслах 430
8. Пустыри 430
9. Кабаки 431
10. Баязет 431
11. Май 432
12. Галата 432
13. Таксим 433
14. Заключительный 433
Марсель 434
«Перечисляю буквы я до *ша*...» 435
«Копает землю остроносый год...» 435
«Никогда поэты не поймут...» 436

Ars poétique 436
«Парис и Фауст, Менелай, Тезей...» 437
«Не тонущая жизнь ау ау...» 437
Посвящение 439
A la mémoiré de Catulle Mendès 439
Поэзия 440
Ночлег 441
«Как замутняет воду молоко...» 441
«Фонарь прохожему мигнул...» 442
«Садится дева на весы...» 442
Авиатор 443
«Закончено отмщение; лови!..» 444
Покушение с негодными средствами 444
Дадафония 446
Télégraphie sans fil 447
«В осенний день когда над плоским миром...» 448
Любовь к испанцам 448
«Вино и смерть, два ястреба судьбы...» 449
«Ничего не может быть прелестней...» 449
«На ярком солнце зажигаю спичку...» 450
«Я равнодушно вышел и ушел...» 451
«За углом в пустынном мюзик-холле...» 451
«Существующий мир поминутно подвластен печали...» 452
Песня первая 453
Песня вторая 454
Песня третья 454
Песня четвертая 455
Dionisus au Pôle Sud 456
Дневник Аполлона Безобразова 458

Поплавский Б.

П57 Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1: Стихотворения / Сост., вступит. ст., коммент. Е.Менегальдо; подгот. текста А.Н.Богословского, Е.Менегальдо. — М.: Книжница; Русский путь; Согласие, 2009. — 560 с.

ISBN 978-5-903081-08-0 (Т. 1)

ISBN 978-5-86884-055-5

Современники называли Бориса Поплавского (1903—1935) «царства монпарнасского царевичем». Его дар высоко ценили Вл.Ходасевич, Г.Иванов, Г.Адамович, Г.Газданов, Н.Берберова, другие видные деятели русского зарубежья. «Если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного достаточно для ее оправдания на всех будущих судилищах», — говорил Д.Мережковский.

Впервые поэтическое наследие «первого русского сюрреалиста» издается в столь полном объеме и так, как это замысливал автор: еще при жизни он сам составил семь своих стихотворных сборников, но опубликовать смог лишь один из них — «Флаги», да и не в том виде, как задумывал.

УДК 882
ББК84(2Рос=Рус)6

Борис Юлианович Поплавский
Собрание сочинений в трех томах
Том первый
Стихотворения

Корректор *О.А. Савичева*
Верстка *П.А. Сандомирский*

Подписано в печать 22.12.2009
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Тираж 2 000 экз.

ЗАО «Издательство "Русский путь"»
109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru
Сайт издательства: www.rp-net.ru
Сайт книжного магазина: www.kmrz.ru
Заказ 1936.

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер, 6

Как лирический поэт Поплавский, несомненно, был одним из самых талантливых в эмиграции, пожалуй — даже самый талантливый.

Владислав Ходасевич

Ни то, что показано в стихах Поплавского, ни то, как показано, не заслуживало бы и десятой доли внимания, которого они заслуживают, если бы в этих стихах почти ежесекундно не случалось — необъяснимо и очевидно — действительное чудо поэтической «вспышки», удара, потрясения, того, что неопределенно называется «неизведанная дрожь», чего-то и впрямь схожего с майской грозой и чего, столкнувшись с ним, нельзя безотчетно не полюбить.

Георгий Иванов

Свобода и каприз — основные черты поэзии Поплавского — толкали его к таким особенным, таким воздушным и сияющим образам, что только совершенно глухой к поэзии человек может не отозваться хотя бы краем души на эти трагические, больные, чем-то экзотические в своей современности стихи.

Нина Берберова

...замечательность стихов Поплавского и впечатление, производимое ими, состоит в том, что он, по существу, был первым и последним русским сюрреалистом.

Юрий Терапиано

ISBN 978-5-903081-07-3
9 785903 081073 >

Борис Поплавский

1